INSPIRIA

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Грэм Макрей Барнет



18+

В переводе Татьяны Покидаевой

INSPIRIA

Случай из практики
Грэм Макрей Барнет

Аннотация
Грэм Макрей Барнет. Случай из практики
Предисловие
Первая тетрадь
  Бретуэйт I: Ранние годы
Вторая тетрадь
  Бретуэйт II: Оксфорд
Третья тетрадь
  Бретуэйт III: «Убей себя в себе»
Четвертая тетрадь
  Бретуэйт IV: Переполох на Эйнджер-роуд
Пятая тетрадь
  Бретуэйт V: Последний побег
Послесловие ко второму изданию
Благодарности

Аннотация

Длинный список Букеровской премии.

Уморительный и очень британский роман-матрешка о безумном мире психиатрии 1960-х годов.

«Я решила записывать все, что сейчас происходит, потому что мне кажется, что я подвергаю себя опасности», – пишет молодая женщина, расследующая самоубийство своей сестры. Придумав для себя альтер-эго харизматичной и психически нестабильной девушки по имени Ребекка Смитт, она записывается на прием к скандально известному психотерапевту Коллинзу Бретуэйту. Она подозревает, что именно Бретуэйт подтолкнул ее сестру к самоубийству, и начинает вести дневник, где фиксирует детали своего общения с психотерапевтом.

Однако, столкнувшись с противоречивым, загадочным, а местами насквозь шарлатанским миром психиатрии 60-х годов, героиня начинает сильно сомневаться не только в ее методах, но и в собственном рассудке.

Грэм Макрей Барнет
Случай из практики

Graeme Macrae Burnet
CASE STUDY

Copyright © Graeme Macrae Burnet 2021

Фотография на обложке:
© Ulas&Merve / Stocksy United / Legion-Media

Перевод с английского *Татьяны Покидаевой*

INSPIRIA

© Покидаева Т., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Предисловие

В конце 2019 года я получил электронное письмо от некоего мистера Мартина Грея из Клактон-он-Си. Он сообщал, что в его распоряжении имеются тетради с записями его двоюродной сестры, которые, с его точки зрения, могли бы послужить основой для интересной книги. Я поблагодарил его в ответном письме, но предложил ему самому взяться за книгу. Мистер Грей возразил, что он отнюдь не писатель и что он обратился ко мне не просто так. Он видел пост в моем блоге, где я писал о Коллинзе Бретуэйте, известном в 1960-х, а ныне напрочь забытом психотерапевте. В тетрадях содержатся определенные заявления касательно Бретуэйта, и мистер Грей был уверен, что они меня заинтересуют.

Мне действительно сделалось любопытно. За пару месяцев до письма мистера Грея я случайно наткнулся на экземпляр «Антитерапии» Бретуэйта в «Вольтере и Руссо», книжном магазине в Глазго, где, как известно, всегда царит хаос. Бретуэйт был современником Р. Д. Лэйнга и считался

enfant terrible [1] антипсихиатрического движения 1960-х годов. Его книга, сборник случаев из психотерапевтической практики, показалась мне непристойной и дерзкой, ниспровергающей все устои и весьма увлекательной. Мой разгоревшийся интерес к ее автору не был удовлетворен скудными сведениями, содержащимися в интернете, и я был достаточно заинтригован, чтобы посетить архив в Даремском университете, в двадцати пяти милях к северу от Дарлингтона, родного города Бретуэйта.

Этот «архив» представлял собой пару картонных коробок, в которых хранились густо испещренные пометками рукописи книг Бретуэйта (с многочисленными рисунками на полях, неприличными, но не лишенными художественных достоинств), несколько вырезок из газет и небольшое количество писем, в основном — от издателя Бретуэйта, Эдварда Сирса, и его бывшей любовницы Зельды Огилви. Собрав по крупицам подробности удивительной жизни Бретуэйта, я задумался о написании его биографии, однако эта идея не встретила энтузиазма у моего литагента и нынешнего издателя. Кто сейчас будет

---

[1] Примечания: 1
Кошмарный, несносный ребенок (*фр.*).

читать, говорили они, о каком-то забытом, дискредитированном психотерапевте, чьи книги не переиздавались уже несколько десятилетий? Я был вынужден согласиться, что это резонный вопрос.

Именно в таких обстоятельствах началась моя переписка с мистером Греем. Я написал, что мне все же хотелось бы взглянуть на тетради, и сообщил ему мой почтовый адрес. Бандероль пришла через два дня. Никаких условий публикации в сопроводительной записке не было. Мистер Грей не хотел никакого вознаграждения и предпочел сохранить анонимность из уважения к частной жизни своей семьи. Он признался, что Грей — ненастоящее имя. Он просит лишь об одном: если тетради мне не пригодятся, отослать их обратно. Однако он был уверен, что этого не случится, и не указал на конверте обратный адрес.

Я прочел все пять тетрадей за один день. Весь мой скептицизм растаял без следа. Автор тетрадей не только рассказывала увлекательную историю, но и сам слог изложения, вопреки ее собственному утверждению, был очень даже неплох. Несколько беспорядочное расположение материала, как мне показалось, лишь добавляло достоверности ее рассказу.

Однако спустя пару дней я пришел к мысли, что стал жертвой розыгрыша. Мистер Грей знал, чем меня соблазнить: набором случайно найденных тетрадей, где описана преступная халатность человека, чью биографию я сейчас изучаю. Но если это была мистификация, она должна была стоить мистеру Грею немалых усилий. Просто сесть и заполнить пять толстых тетрадей — само по себе очень трудозатратно. Я решил провести собственную проверку. Такие тетради (обычные недорогие школьные тетрадки от «Силвин») продавались в то время на каждом углу. Записи не датированы, однако различные указания в тексте дают основания предположить, что описанные события происходили осенью 1965-го, когда Бретуэйт действительно принимал пациентов в доме у Примроуз-Хилл и пребывал на пике своей славы. Страницы из «Антитерапии», вклеенные в первую тетрадь, вырезаны из первого издания, которое позже было уже не достать — из чего заключаем, что тетради и вправду могли быть написаны в середине 1960-х. Многие детали вполне соответствуют тому, что я читал в университетских архивах и газетных статьях того времени. Впрочем, это еще ничего не доказывает. Если тетради — умелая подделка, их автору было

достаточно провести те же самые изыскания, которые провел я сам. В тексте также есть много неточностей. Например, упомянутый в повествовании паб называется не «Пембриджский», а «Пембрукский замок». Однако такие ошибки скорее свойственны человеку, который честно записывает свои мысли, упуская из виду какие-то мелкие подробности, чем хитроумному обманщику, создающему фальшивку. В тетрадях также содержится сцена с участием самого мистера Грея, причем там он представлен в нелестном свете. Вряд ли он стал бы писать о себе что-то подобное, если бы сочинял всю историю из головы.

Плюс к тому оставался вопрос мотивации. Я не смог придумать ни одной причины, по которой незнакомый мне человек взял на себя столько хлопот, чтобы меня обмануть. Вряд ли он имел целью дискредитировать Бретуэйта, чья карьера сама по себе завершилась позором и чье имя теперь если и упоминается в психиатрической литературе, то исключительно в сносках или примечаниях.

Я написал мистеру Грею. Сообщил, что тетради действительно интересны, но я не могу ничего предпринять, не имея убедительных доказательств их подлинности. Он ответил, что

совершенно не представляет, какие именно доказательства он мог бы представить. Он нашел эти тетради, когда разбирал вещи в дядином доме в Мейда-Вейле. Свою двоюродную сестру он знал с детства, стиль изложения в тетрадях — общая лексика и речевые обороты — полностью соответствует ее обычной манере речи. Он мог бы поклясться, что тетради написаны именно ее рукой. Разумеется, он понимает, что это не те доказательства, которые мне нужны. Я попросил мистера Грея о личной встрече. Он отказался, вполне резонно заметив, что личная встреча все равно ничего не докажет. Если я не доверяю его *bona fides* [2], я могу просто вернуть тетради. На этот раз он указал номер почтового абонентского ящика.

Этого я, как очевидно, не сделал. Убедив себя в подлинности тетрадей, я тем не менее не могу поручиться за правдивость их содержания. Возможно, описанные события — просто фантазии молодой женщины с явными литературными амбициями; женщины, которая, по ее собственным утверждениям, пребывала в смятенном состоянии ума. Наверное, не так уж и важно,

---

[2] Примечания: 2
Добросовестность, честные намерения (*лат.*).

происходили ли эти события на самом деле. Как мистер Грей очень верно заметил в своем первом письме, они действительно могут послужить основой для интересной книги. Тетради попали ко мне в тот момент, когда меня увлекла биография Бретуэйта, и такое удачное совпадение можно было принять за знак свыше. Я с еще большим усердием принялся собирать материалы, посетил все места, так или иначе связанные с Бретуэйтом, тщательно изучил все его работы и провел несколько интервью с лично знавшими его людьми — и теперь представляю вниманию читателей слегка отредактированные тетради и результаты моих собственных изысканий.

ГМБ, апрель 2021.

Первая тетрадь

Я решила записывать все, что сейчас происходит, потому что мне кажется, будто я подвергаю себя опасности, и если я окажусь права (что, надо признаться, случается редко), эта тетрадь послужит своего рода уликой.

К сожалению, как станет ясно практически сразу, у меня нет способностей к связному изложению. Я перечитала свою первую фразу и сама вижу, что получилось довольно убого, но если я буду возиться с красотами стиля, то, боюсь, не смогу вообще ничего написать. Мисс Лайл, моя учительница английского, всегда укоряла меня в том, что я пытаюсь втиснуть слишком много мыслей в одно предложение. Она говорила, что это признак неупорядоченного ума. «Сначала надо решить, что ты хочешь сказать, а затем выразить свою мысль максимально простыми словами». Это был ее лозунг, ее девиз — безусловно, правильный и хороший, — но я понимаю, что уже не справляюсь. Я написала, что подвергаю себя опасности, и тут же пустилась в лирические отступления, никак не относящиеся к делу. Но я

не буду начинать сначала, а просто продолжу. Тут главное — смысл, а не стиль; на этих страницах я буду записывать все, что со мной происходит. Слишком гладкое повествование не вызывает доверия; возможно, именно в мелких погрешностях содержится правда. В любом случае у меня все равно не получится следовать доброму совету мисс Лайл, потому что я еще не знаю, что хочу сказать. Однако ради того, кому не посчастливится прочесть эти строки, я постараюсь вести рассказ четко и ясно и выражать свои мысли максимально простыми словами.

Начну с простой констатации фактов. Упомянутая мной опасность исходит от человека по имени Коллинз Бретуэйт. В прессе его называют самым опасным человеком Британии из-за его радикальных идей относительно психиатрии. Однако я убеждена, что опасны не только его идеи. Я уверена, что доктор Бретуэйт убил мою сестру Веронику. Убил не в прямом смысле слова, и тем не менее он виноват в ее смерти, как если бы задушил ее собственными руками. Два года назад Вероника бросилась с моста над железнодорожными путями в Камдене, прямо под поезд, следовавший из Лондона в Хай-Барнет. Вряд ли можно представить себе человека, менее склон-

ного к подобным поступкам. Ей было двадцать шесть лет. Она была умной, успешной и вполне привлекательной женщиной. Однако втайне от папы и от меня, она в течение нескольких месяцев посещала доктора Бретуэйта. Мне это известно с его собственных слов.

Задолго до личного знакомства с доктором Бретуэйтом, я знала его характерную манеру речи с тягучими долгими гласными неотесанного уроженца северных графств. Я слышала его выступления по радио и однажды видела по телевизору в дискуссионной программе о психиатрии с Джоан Бэйкуэлл в роли ведущей [3]. Внешность Бретуэйта оказалась такой же непривлекательной, как и его голос. Он явился на передачу без галстука и пиджака, в рубашке с расстегнутым воротом. Его волосы, достававшие до воротника, были взъерошены, и он постоянно курил. У него были крупные, резкие черты лица, словно их

[3] Примечания: 3

Этот выпуск программы «Вечерние дебаты» (Late Night Line-Up) вышел в эфир на BBC2 в воскресенье 15 августа 1965-го. Помимо Бретуэйта в дискуссии принимали участие Энтони Сторр, Дональд Винникотт и тогдашний епископ Лондона Роберт Стопфорд. Доктор Лэйнг получил приглашение на программу, но отказался делить трибуну с Бретуэйтом. К сожалению, ни одной записи этого эфира не сохранилось, но позже Джоан Бэйкуэлл писала, что Бретуэйт был «одним из самых высокомерных и неприятных людей, которых ей не посчастливилось знать». (*Примечание автора.*)

нарочно утрировал художник-карикатурист, однако даже на телеэкране его лицо притягивало к себе взгляд. Я почти не замечала других гостей в студии. Не помню, что именно говорил Бретуэйт, но хорошо помню манеру речи. Он держался как человек, с которым лучше не спорить. Сопротивление все равно бесполезно. Он говорил строгим и чуть утомленным начальственным тоном, словно беседовал с подчиненными. Участники программы сидели полукругом, мисс Бэйкуэлл занимала место в центре. Все сидели, выпрямив спины, как в церкви, и лишь доктор Бретуэйт развалился в своем кресле, будто скучающий школьник за партой, подпер подбородок ладонью и смотрел на других гостей с этакой смесью презрения и скуки. Ближе к концу программы он неожиданно встал и ушел из студии, пробормотав неприличное ругательство, которое я не буду здесь повторять. Мисс Бэйкуэлл заметно оторопела, но быстро взяла себя в руки и заявила, что ретировавшийся гость, видимо, осознал несостоятельность своих аргументов и решил не вступать в дискуссию с коллегами.

На следующий день все газеты выступили с осуждением поведения доктора Бретуэйта: он воплощает в себе все худшее, что есть в совре-

менной Британии; в его книгах изложены более чем непристойные идеи, а человеческая натура представлена в самых низких ее проявлениях. Естественно, еще через день, едва дождавшись обеденного перерыва, я пошла в «Фойлиз» и приобрела его последнюю книгу под неприглядным названием «Антитерапия». Кассир протянул ее мне так, словно боялся чем-нибудь заразиться, и одарил меня неодобрительным взглядом. В последний раз на меня так смотрели в книжном магазине, когда я покупала скандальный роман мистера Лоуренса [4]. Книга, завернутая в плотную бумагу, пролежала у меня в сумке до вечера, и я развернула ее лишь после ужина, запершись у себя в спальне.

Тут надо сказать, что все мои знания о психиатрии были почерпнуты из кинофильмов, где пациентки лежат на кушетках и рассказывают свои сны бородатым врачам, которые всегда говорят с сильным немецким акцентом. Наверное, поэтому вводная часть «Антитерапии» показалась мне сложной и непонятной. Там было много незнакомых слов, длинные предложения растягивались на полстраницы и были настолько

---

[4] Примечания: 4
Имеется в виду «Любовник леди Чаттерлей» Дэвида Лоуренса.

замысловатыми, что автору явно не помешало бы воспользоваться советом мисс Лайл. Из введения я поняла только то, что Бретуэйт вообще не собирался писать эту книгу. Его «посетители», как он их называет, — это личности, а не «случаи из практики», и их нельзя выводить на потеху почтеннейшей публике, словно каких-то цирковых уродцев. Если он все же решил опубликовать эти истории, то исключительно для того, чтобы защитить свои идеи от пренебрежительных нападок со стороны истеблишмента (это слово он употребляет довольно часто). Он называет себя антитерапевтом: свою задачу он видел в том, чтобы убедить пациентов, что они не нуждаются в терапии, и чтобы ниспровергнуть «убого сколоченную махину» современной психиатрии. Такая позиция показалась мне своеобразной, но, как я уже говорила, я совершенно не разбираюсь в этих вопросах. Эта книга, писал Бретуэйт, может служить дополнением к его предыдущей работе. Она состоит из коротких рассказов об отдельных его пациентах и их проблемах. Разумеется, все имена и обстоятельства изменены, чтобы сохранить конфиденциальность, но все эти люди реальны, как реальны и их истории.

Пробившись сквозь малопонятную вводную

часть, я приступила к самим историям, которые неожиданно оказались пугающе увлекательными. Когда читаешь о людях, по сравнению с которыми бледнеют твои собственные эксцентричные закидоны, это все-таки обнадеживает. Ближе к середине книги я уже ощущала себя нормальной. И только ближе к концу предпоследней главы поняла, что читаю о Веронике. Пожалуй, самым разумным решением будет вклеить эти страницы сюда:

> Глава 9
> *Дороти*
> Дороти – умная, образованная молодая женщина лет двадцати пяти. Старшая из двух сестер, она росла и воспитывалась в семье представителей среднего класса, в большом городе в Англии. Ее родители были бесстрастными и флегматичными англосаксами. Дороти ни разу не видела, чтобы они проявляли какие-то нежные чувства друг к другу. Все споры в семье, как она говорила, разрешались всегда одинаково: ее отец, тихий, покладистый человек, чиновник на государственной службе, почти безропотно уступал

матери. До шестнадцати лет, когда внезапно скончалась мать, детство Дороти не омрачали никакие серьезные травмы, однако, когда я спросил, было ли ее детство счастливым, она затруднилась с ответом. Позже она призналась, что с ранних лет ощущала себя виноватой, потому что росла в благополучной семье и прекрасных условиях, которых лишены многие дети, и все равно не была счастлива. Однако она притворялась счастливой, чтобы сделать приятное отцу, чье счастье как будто всецело зависело от ее собственного. Он постоянно ее уговаривал с ним поиграть, в то время как ей хотелось просто побыть одной. Ее мать, с другой стороны, непрестанно напоминала обеим своим дочерям, как сильно им повезло в жизни, в результате чего Дороти с самого раннего детства научилась проявлять сдержанность, особенно по отношению к «маленьким радостям», которыми ее баловал отец: мороженому, подаркам на дни рождения, конфетам и т. п. Также с самого раннего детства она злилась и обижалась на младшую сестру.

Она утверждала, что это была не обычная ревность старшего ребенка, когда в семье появляется младший и «перетягивает» на себя часть родительской любви и заботы. Ее обижало, что родители относятся к ним одинаково, хотя младшая часто бывает капризной, своевольной и непослушной. Дороти казалось несправедливым, что ее примерное поведение никогда не заслуживает награды, в то время как непослушание сестры всегда остается, по сути, безнаказанным.

Дороти с отличием окончила школу, получила стипендию и поступила в Оксфорд на математический факультет. Она была лучшей на курсе и, даже будучи интровертом, неплохо вписалась в студенческий коллектив. В Оксфорде над ней не довлела обязанность участвовать в общих затеях и делать вид, что ей весело. Она была замкнутой и необщительной. Она говорила, что впервые в жизни у нее появилась возможность «быть собой». И все же, когда сокурсницы и сокурсники ходили на танцы или устраивали спонтанные вечеринки у кого-нибудь дома,

ее брала зависть. По окончании университетского курса она получила диплом с отличием и позже, когда поступила в аспирантуру, познакомилась с молодым человеком из младшего преподавательского состава. Они обручились. Она говорила, что не питала к нему никаких сильных чувств – и уж точно никакого влечения, – но согласилась выйти за него замуж, потому что он казался ей порядочным человеком, которого одобрит ее отец. Однако вскоре жених разорвал помолвку, поскольку, как он объяснил, хотел сосредоточиться на карьере. Дороти говорила, что, как ей представляется, истинная причина разрыва заключалась в том, что у нее было нервное истощение, ей пришлось пройти курс лечения в санатории, и жених, видимо, испугался, что она психически нестабильна. Впрочем, она была только рада прекратить отношения, поскольку сама не чувствовала себя готовой к браку.

В свой первый визит Дороти была скромно одета и представилась в сдержанной, деловитой манере, словно при-

шла проходить собеседование на работу. Хотя день выдался теплый, на ней был строгий твидовый костюм, в котором она выглядела значительно старше своих лет. Она либо вовсе не пользовалась косметикой, либо пользовалась очень умеренно. Вполне обычная тактика для представителей среднего класса. Им хочется произвести благоприятное впечатление; хочется сразу отмежеваться от пускающих слюни психов, которые, как им представляется, буквально толпятся в кабинете у психотерапевта. Но Дороти пошла еще дальше. Она объявила буквально с порога:

– Так что, доктор Бретуэйт, как мы будем работать?

Эта молодая женщина слишком очевидно стремилась держать все под контролем. Я решил ей подыграть:

– Как вам будет угодно.

Она явно тянула время. Сняла перчатки, аккуратно положила их в сумочку и поставила ее на пол у себя под ногами. Затем завела разговор об организационных моментах: частота посещений,

время сеансов и тому подобное. Я дал ей высказаться до конца. Молчание в таких ситуациях – основной инструмент терапевта. Я еще не встречал посетителей, способных противиться искушению заполнить тишину словами. Дороти поправила прическу, разгладила складку на юбке. Все ее движения были тщательно выверены. Она спросила, когда мы начнем.

Я сказал, что мы уже начали. Она было возразила, но сразу же осеклась.

– Да, конечно, – сказала она. – Вы, наверное, изучали мои невербальные сигналы. И, возможно, решили, что я пытаюсь уклониться от самого главного разговора: почему я к вам обратилась.

Я легонько кивнул, как бы подтверждая ее правоту.

– Но вы ждете, что я все-таки разговорюсь и открою вам все свои тайны.

– Вы не обязаны ничего говорить, – сказал я.

– Однако все, что я скажу, может быть использовано против меня. – Она рассмеялась над собственной шуткой.

Работать с интеллектуалами сложно. Им хочется произвести на тебя впечатление своим собственным пониманием проблемы. Они не просто рассказывают о проблеме, но еще и комментируют свой рассказ. «Ну вот, я опять отвлекаю внимание от самого главного, – так они говорят. – Я уверен/уверена, что для вас это весьма показательно». Потому что им хочется доказать, что мы с ними беседуем на равных; что они хорошо представляют, что именно их беспокоит. Но это, конечно же, нонсенс. Если бы они понимали, в чем состоят их проблемы, то не пришли бы ко мне. Они не осознают, что именно их интеллект – их непрестанное стремление объяснить собственное поведение с помощью рациональной аргументации – в подавляющем большинстве случаев и есть корень всех бед.

Однако в случае с Дороти шутка вправду была показательной: она ощущала себя подсудимой в ожидании обвинительного приговора. Она обратилась ко мне по собственной инициативе, однако видела во мне врага. На данном этапе я

не стал высказывать вслух эти мысли, а лишь повторил свой вопрос: как именно мы будем работать?

– Я думала, это вы мне подскажете, – сказала она и добавила с глупым смешком: – Ведь за это я вам и плачу, разве нет?

Очень типично для представителей среднего класса: упоминание о деньгах, неодолимое побуждение напомнить тебе, что ты, по сути, наемный работник. Дороти вошла в кабинет с видом женщины, привыкшей держать все под контролем, но, как только я передал ей контроль, она сразу же от него отказалась. Либо просто не знала, что с ним делать. Так я ей и сказал.

Она рассмеялась.

– Да, конечно, вы правы, доктор Бретуэйт. Вы проницательный человек. Теперь мне понятно, почему все так вас хвалят.

(Грубая лесть: еще один отвлекающий маневр.)

Как бы все это ни было забавно, разговор ни о чем уже начинал утомлять. К тому же нет ничего зазорного в том,

чтобы соответствовать ожиданиям посетителей. Я спросил, что привело ее сюда.

– Так в том-то и дело, – сказала она. – Возможно, поэтому я тяну время. Я просто не знаю, что говорить. – Она замолчала, и я попросил ее продолжать. – То есть я не сумасшедшая. Я не слышу голосов, мне ничего не мерещится. Я не хочу переспать с собственным отцом. Я уверена, что есть много людей куда безумнее меня.

– Нам еще предстоит это выяснить, – сказал я.

– Может быть, мне пройти тест? – предложила она. – Я хорошо прохожу тесты. Может быть, тот, который с чернильными пятнами. Я вам скажу, что они все похожи на бабочек.

– Правда? – спросил я.

Она уставилась на свои руки.

– Нет, не совсем.

Мне совершенно неинтересно проводить с посетителями тест Роршаха. Также я не сторонник пятидесятиминутного часа, столь любимого многими практикующими психотерапевтами. Однако напоминание об уходящих оплаченных

минутах может оказаться действенным стимулом. Можно не сомневаться, что каждый клиент, явившийся на прием к терапевту, неоднократно проигрывал в голове предстоящую беседу и уверял себя, что не уйдет, не коснувшись проблемы, из-за которой, собственно, пришел. Это особенно верно в отношении таких, как Дороти: прагматичных людей с научным складом ума. Будучи по образованию математиком, она, вероятно, решила, что, если опишет мне все симптомы, я просто подставлю их в формулу, и целительное решение сложится само собой. Но вопреки представлениям некоторых теоретиков, единой универсальной формулы человеческого поведения просто не существует. Личность формируется под воздействием совокупности обстоятельств, уникальных для каждого человека. Все мы – сумма этих обстоятельств и наших реакций на них.

Я заметил, как Дороти бросила взгляд на часы у себя на руке. Не изящные женские часики, а практичные мужские часы. Она сделала глубокий вдох.

– Вы, наверное, решите, что я совсем глупая, – медленно проговорила она, – но мне снятся сны, где меня раздавливает. Медленно раздавливает.

Я кивнул и сказал:

– Сны, говорите? Я не уверен, что мне интересны сны.

– Не только сны, – продолжала она. – Мысли тоже. Мысли наяву. Что меня что-то раздавит. Обрушится здание. Собьет машина. Затопчут в толпе. Иногда эти мысли возникают даже в связи с чем-то крошечным и безобидным. Буквально на днях ко мне в спальню залетела муха, и у меня было пугающее ощущение, что если она сядет на меня, то расплющит в лепешку.

Дороти посещала меня дважды в неделю в течение нескольких месяцев. Постепенно она перестала пытаться держать все под контролем. Вскоре ей даже понравилась роль ведомой. Во время пятого или шестого визита она спросила, можно ли ей прилечь на диванчик. Я сказал, что она вольна делать что хочет. Ей не нужно мое разрешение.

– Да, но мне лучше сесть или лечь? – спросила она.

Я не ответил, и она прилегла на диванчик так осторожно, словно он был утыкан гвоздями. Я никогда бы не подумал, что человек может *лежать* до такой степени напряженно, однако уже через пару недель она начала разуваться сразу же по приходе и укладывалась на диванчик если не томно, то близко к тому.

Почти всю необходимую мне информацию о Дороти я получил в первые два-три сеанса. С раннего детства она ощущала, что родители тянут ее в прямо противоположные стороны: отец ее баловал и хотел, чтобы она была счастлива; мать внушала ей чувство вины за любой опыт, связанный с чем-то приятным. Поскольку она не имела возможности соответствовать ожиданиям обоих родителей сразу и при этом стремилась угодить им обоим, она так и не научилась жить в свое удовольствие. Также вполне очевидна причина ее обиды и злости на младшую сестру: та вела себя так, как хотела вести себя Дороти, но считала для себя непри-

емлемым, при том, что младшую за ее поведение никто не наказывал.

В отличие от Аннетт и Джона, чьи случаи описаны в предыдущих главах, Дороти не хотела вернуть свое идеализированное «настоящее я», которое, как казалось тем людям, они потеряли. На самом деле у нее никогда не было четкого ощущения своего «я». Во время седьмого визита Дороти (после долгих увиливаний) призналась, что после смерти матери она испытала невероятное чувство освобождения. Как будто рухнул тоталитарный режим и теперь она может делать все, что захочет. Она в шутку сравнила это событие со смертью Сталина и тут же – за ней водилась такая привычка – отругала себя за такое крамольное сравнение.

Я спросил, как изменилось ее поведение в связи с данными обстоятельствами. Она ответила, что оно не изменилось никак. Было бы странно, сказала она, радоваться смерти матери. Я спросил, что ей хотелось бы сделать по случаю вновь обретенной свободы.

Она не смогла назвать что-то конкретное.

– Мне не то чтобы хотелось сделать что-то определенное. Просто я знала, что, если мне вдруг захочется что-то сделать, мне уже никто не помешает.

Во время учебы в Оксфорде Дороти не предавалась обычным порокам, свойственным студенческой молодежи, вырвавшейся из-под опеки родителей, будь то секс, алкоголь или наркотики. Она даже ни разу не выкурила сигарету. Она утверждала, что не запрещала себе всякие «сомнительные удовольствия», просто ей ничего этого не хотелось.

Я спросил, получала ли она удовольствие от своих достижений в учебе. Она покачала головой. Эти успехи ничего для нее не значили. Однако она призналась, что ей было приятно, когда отец ею гордился. То же касается и ее кратковременной помолвки: ей было приятно, что завидный жених обратил на нее внимание. Я спросил, что ей нравилось в ее избраннике, и она не придумала ничего лучше, чем сказать, что он был

чистоплотным мужчиной и не совершал никаких непристойных поползновений.

Выждав пару недель, я вернулся к нашему первому разговору о страхах Дороти быть раздавленной. Поначалу она попыталась отшутиться.

– Кажется, в тот первый раз я устроила мелодраму, – сказала она. – С тех пор, как я стала ходить на сеансы, у меня больше не было таких мыслей.

И все-таки я настоял на продолжении разговора. Тогда эти мысли были реальны, и она рассказывала о них с явным волнением.

– Да, – сказала она. – Но я хорошо понимаю, что дом не обрушится мне на голову и не погребет меня заживо.

Я уже объяснил Дороти на предыдущих сеансах, что ее привычка все рационализировать происходит от внутреннего нежелания разбираться в собственных чувствах. Факт, что дом не обрушится ей на голову, не имеет значения. Ее страхи, ее реальные переживания – вот о чем мы сейчас говорим.

Я предложил вернуться к истории с

мухой. Она как будто смутилась. Погибнуть под рухнувшим зданием или под колесами автомобиля хотя бы физически возможно. Но муха уж точно не может раздавить человека. Дороти вновь попыталась найти рациональное объяснение: мухи – грязные насекомые, они переносят заразу. Да, сказал я, но раньше вы говорили отнюдь не о страхе заразных болезней. Может быть, муха – лишь символ, предположила она, очевидно, решив, что пришла на прием к психоаналитику. Я объяснил, что символы мне совершенно неинтересны. Мне интересны явления как таковые. Она возразила, что в математике символы, знаки и эквиваленты часто используются для решения задач. На что я ответил, что, если бы ее проблему можно было решить с помощью математики, она справилась бы сама.

Проблема, конечно же, заключалась не в зданиях и не в мухах. Дороти ощущала, что внешний мир давит на нее, что он ее подавляет. Обычно она справлялась с этими ощущениями, внушая себе, что у нее есть все, что нужно, а большего ей и

не хочется. Когда я это озвучил, Дороти начала возражать. Внутренняя система репрессий, которую она выстроила для себя, была настолько отлаженной и эффективной, что полностью выпала за пределы осознанного восприятия. Ей было проще поверить, что у нее нет никаких желаний, чем признаться себе, что она сама их подавляет. Мне было несложно (апеллируя к ее развитому рациональному мышлению) убедить Дороти в том, что внешний мир ее вовсе не подавляет. Гораздо сложнее оказалось убедить ее в том, что давление, которое она ощущает, идет не извне, а изнутри. Она подавляла себя сама, причем так основательно, что все ее бытие-в-мире становилось ответом на воображаемую систему ограничений.

– То есть я стала бы больше собой, если бы была более раскрепощенной?

– Вопрос не в том, чтобы стать *больше* собой, – сказал я. – Ваше «я» – не какая-то отдельная сущность. Ваше «я» и есть вы. Вопрос в том, чтобы стать *меньше* собой или, если угодно, другим собой.

Дороти надолго задумалась. Мне вспом-

нились истории об узниках Освенцима, которые не могли заставить себя выйти за территорию лагеря, когда их освободили солдаты союзников.

– Но если я стану другим человеком, значит, я больше не буду собой.

Я сказал, что, если бы ей было комфортно «быть собой», она бы не обратилась за помощью к психотерапевту.

Я не видел смысла продолжать эту дискуссию. Получилось бы очень «смешно», если бы Дороти – человек, всю жизнь подавлявший свои желания в угоду другим, – вдруг изменила свое поведение лишь для того, чтобы угодить мне. Поэтому я завершил наш сеанс, зная, что, будучи умной и рассудительной женщиной, она сможет самостоятельно сделать выводы.

Во время нашей, как оказалось, последней встречи я попросил Дороти представить, что ей выдали разрешение делать все, что захочется, сроком на двадцать четыре часа. Никто не узнает, что она будет делать, никто ее не накажет, никто не станет ее упрекать, и все ее действия

останутся без последствий. Что она сделает, если получит подобное разрешение? Ее обескуражила сама идея. Она попросила подробнее разъяснить правила, регламентирующие это воображаемое разрешение. После долгих уверений и разуверений она все же задумалась над вопросом. Я заметил, что она покраснела, и спросил, о чем она думает. Она покраснела еще сильнее, подтверждая тем самым, что моя цель достигнута. Мне было не нужно, чтобы она озвучила свои мысли. Главное, что они у нее появились. Для Дороти это был безусловный прогресс. Я попросил ее сосредоточиться на том, о чем она сейчас думает, и спросил, какие будут последствия, если она действительно это сделает.

– Никаких, – сказала она. – Вообще никаких.

Я сказал, что она может делать что хочет и быть кем хочет. Она вздохнула с таким облегчением, словно у нее гора свалилась с плеч. Она сказала, что больше не хочет быть Дороти. Поблагодарила меня и вышла из кабинета таким легким

шагом, какого я никогда прежде у нее не замечал.

Поначалу я лишь удивлялась странному сходству между «Дороти» и Вероникой. Детали, которые изменил доктор Бретуэйт, сбили меня со следа. Вероника училась не в Оксфорде, а в Кембридже; наш отец был инженером, а не госслужащим; отношения Дороти с младшей сестрой никоим образом не походили на мои отношения с Вероникой. Может быть, мы с ней были не настолько близки, как положено сестрам, но Вероника никогда на меня не злилась и уж точно не таила никаких обид. Однако сходство действительно поражало. Я не смогла удержаться от смеха, когда прочитала, как Дороти осторожно и напряженно прилегла на диванчик. Это же вылитая Вероника! Точно так же, как Дороти, Вероника всегда до дрожи боялась ос, пчел, мух и мотыльков. И точно так же, как Дороти, она была ярой сторонницей соблюдения правил. Это могло быть простым совпадением, но в том, что Дороти *и есть* Вероника, меня окончательно убедило одно характерное словечко. В детстве, когда я впадала в неуемный восторг или сильно грустила, Вероника всегда реагировала одинаково.

«И что, обязательно надо устраивать мелодраму?» — говорила она, сморщив нос. Именно это слово употребила Дороти, когда корила себя за глупость. Позже, когда я узнала, что дом Бретуэйта располагается в пяти минутах ходьбы от моста, с которого бросилась Вероника, я уже не сомневалась, что она вышла из его кабинета вовсе не «легким шагом», как он утверждал в своей книге. Она вышла с твердым намерением покончить с собой. Хотя, может быть, именно это решение и придало легкости ее шагам. Но, памятуя о том, что мне неоднократно вменяли в вину слишком бурное воображение, я не стала спешить с выводами и на следующий день вновь пошла в «Фойлиз».

Я подошла к продавцу, серьезному юноше в вязаной жилетке и очках с тонкой проволочной оправой. Он показался мне человеком, который не станет осуждать покупателей за их странные вкусы. Я сообщила ему вполголоса, что недавно прочла «Антитерапию», и спросила, есть ли у них в магазине еще что-нибудь Коллинза Бретуэйта. Продавец посмотрел на меня, как на какое-то допотопное чудо в перьях. «Еще что-нибудь? — переспросил он. — Да уж найдем!» Он сделал мне знак, чтобы я шла за ним, и я пошла, чувствуя

себя чуть ли не заговорщицей из подполья. Мы поднялись на третий этаж, в секцию психологии. Он взял с полки книгу и вручил ее мне со словами: «Зажигательный текст». Я глянула на обложку. Там был нарисован силуэт человека, как бы раздробленного на кусочки. Книга называлась «Убей себя в себе». В тот день на работе я сидела как на иголках, словно у меня в сумке лежала какая-то контрабанда. Я не могла сосредоточиться ни на чем, сказала мистеру Браунли, что у меня разыгралась убийственная мигрень, и отпросилась уйти пораньше. Уже дома, закрывшись в спальне, я распаковала свою покупку. Боюсь, я не смогла в полной мере оценить зажигательность текста, потому что не поняла в нем ни слова. Я не сомневаюсь, что всему виной моя собственная интеллектуальная немощь, но это было какое-то нагромождение совершенно невразумительных фраз, не имеющих смысла и никак друг с другом не связанных. Но название книги меня напугало, и в нем я увидела подтверждение очевидного безумия доктора Бретуэйта.

Разумеется, первым моим побуждением было немедленно обратиться в полицию. Следующим утром я позвонила мистеру Браунли и предупредила, что сегодня приду на работу попозже. Он

спросил, как моя голова. Я ответила, что голова хорошо, но произошло преступление, и меня попросили явиться в полицию в качестве свидетеля. Я ничего не сказала отцу, но за завтраком, намазывая маслом тост, представляла, как я войду в полицейский участок на Харроу-роуд и заявлю, что хочу сообщить о преступлении. Меня попросят предъявить доказательства, и я сдержанно и спокойно положу на стол книги доктора Бретуэйта. «Все, что вам нужно знать, — скажу я, может быть, несколько театрально, — все здесь, на этих страницах».

Я дошла лишь до угла Элджин-авеню. Я представила озадаченное выражение на добром лице полицейского, похожего на персонажа из телесериала «Диксон из Док-Грин». «В чем конкретно суть ваших претензий?» — спросит он. Может быть, он пойдет проконсультироваться с начальством. Или просто скроется за перегородкой и сообщит сослуживцам, что к ним заявилась какая-то малахольная. Я представила, как зальюсь краской, когда услышу их смех. В любом случае я поняла, что в отсутствии убедительных доказательств я все равно ничего не добьюсь и только выставлю себя дурой.

Зато записаться на консультацию у доктора

Бретуэйта оказалось проще простого. Я нашла его номер в городском телефонном справочнике в разделе «Прочие услуги». Позвонила с работы, когда мистера Браунли не было в офисе. Трубку взяла девушка. Видимо, секретарша. Я нервно спросила, можно ли записаться на консультацию. «Да, конечно», — сказала она таким будничным голосом, словно это было самое обычное дело. Она спросила, как меня зовут, и больше ничего. Я записалась на следующий вторник в половине пятого вечера. Ничего сложного. Запись как к стоматологу. И все-таки у меня было чувство, что я совершаю самый отчаянный и дерзкий поступок в своей жизни.

Я приехала на станцию Чок-Фарм за час до назначенного времени и спросила дорогу до Эйнджер-роуд. Молодой парень, к которому я обратилась, пустился в подробные объяснения, но почти сразу осекся и предложил проводить меня лично. Я вежливо отказалась. Мне не хотелось поддерживать светскую беседу и уж тем более — отвечать на расспросы о том, что именно я ищу на Эйнджер-роуд.

— Мне вовсе не трудно, — ответил он. — Я с удовольствием вас провожу. К тому же мне самому надо в ту сторону.

Я присмотрелась к нему повнимательнее. Красивый парень под тридцать с густыми, темными волосами. В «рыбацком» свитере грубой вязки, черном коротком пальто и без шапки. Хоть он и был чисто выбрит, в нем было что-то от битника. Он говорил с легким, приятным для слуха акцентом, который я не смогла распознать. Я сама виновата, что оказалась в таком затруднительном положении. Прежде чем обратиться к нему, я пропустила нескольких вполне безобидных прохожих. Как теперь выкрутиться, я не знала.

— Я обещаю к вам не приставать, — сказал он и добавил со смехом: — Конечно, если вы сами не захотите.

Я представила, как он затащит меня в кусты и подвергнет насилию. По крайней мере, у меня будет отличная тема для разговора с доктором Бретуэйтом. Я ничего не сказала, и дальше мы пошли вместе. Мой провожатый засунул руки поглубже в карманы пальто, словно давая понять, что не намерен их распускать. Он назвал свое имя и спросил, как зовут меня. Поскольку обмен именами — это нормальная практика взаимодействия между людьми, я решила воспользоваться возможностью испытать свою новую личность.

— Ребекка Смитт, — сказала я. — С двумя «т».

Я придумала это имя, пока сидела в «Лионе» на Элджин-авеню. Все остальные изобретенные мной имена казались явно притворными: Оливия Карратерс, Элизабет Драйтон, Патриция Робсон. В них не было убедительности. На улице рядом с кафе стоял фургон с надписью: «Джеймс Смит и сыновья. Установка и обслуживание приборов центрального отопления». Смит — очень распространенная и потому совершенно невинная фамилия, которую никто не подумает взять себе в качестве псевдонима. Для моих целей такая фамилия подошла идеально. Немного подумав, я решила добавить вторую «т». Опять же для убедительности. «Смитт с двумя «т» — так я буду говорить, небрежно взмахнув рукой, словно мне надоело повторять это маленькое уточнение из раза в раз. И мне всегда нравилось имя Ребекка, может быть, из-за романа Дафны дю Морье. Оно хорошо ощущается на языке: три звучных слога с этаким чувственным придыханием на последнем. Мое настоящее имя какое-то пресное. Не имя, а односложный кирпич, подходящий для школьной старосты и отличницы в удобных, практичных туфлях. Почему бы мне не побыть Ребеккой? Может быть, я скажу доктору Бретуэйту, что мои нервные недомогания происходят

от неспособности соответствовать образу, который предполагает подобное имя. Дома я долго тренировалась перед зеркалом подавать руку для рукопожатия — ладонью вниз, пальцы чуть согнуты, — словно подаешь руку для поцелуя, как делают женщины, уверенные в собственной неотразимости. Также я тренировалась кокетливо улыбаться. По крайней мере, на мой собственный взгляд, получалось кокетливо. Мне уже начало нравиться быть Ребеккой. И теперь, когда я впервые назвалась этим именем, Том (или как его звали) даже бровью не повел. Да и с чего бы ему было водить бровями? Он явно не из тех мужчин, кого девушки отшивают, назвавшись *un nom d'emprunt* [5].

— И что привело вас в Примроуз-Хилл, Ребекка Смитт? — спросил он.

Ребекка, как я ее представляла, не стала бы стыдиться подобных вещей, и я честно сказала, что иду на прием к психиатру.

Мой спутник не то чтобы застыл столбом, но посмотрел на меня с новым интересом. И задумчиво выпятил нижнюю губу.

— Прошу прощения, но по вам и не скажешь.

---

[5] Примечания: 5
Вымышленное имя (*фр.*).

— Не скажешь? — озадаченно нахмурилась я.

Том смутился, словно испугался, что невольно меня обидел.

— Вы хотите сказать, что я не похожа на сумасшедшую? — подсказала я.

— Да. То есть, нет. В смысле, вы не похожи на сумасшедшую.

— Уверяю вас, я сумасшедшая, как мартовский заяц, — сказала я за Ребекку, изобразив ее самую ослепительную улыбку.

В этот раз он не смутился.

— Вы самый очаровательный мартовский заяц из всех, кого мне доводилось встречать, — сказал он.

Я никак не отреагировала на комплимент. Девушку вроде Ребекки комплиментами не удивишь.

— А что привело сюда вас? — спросила я.

— У меня здесь студия, — сказал он. — Я фотограф.

— И теперь вы пригласите меня вам позировать? — сказала я.

Как все-таки весело быть Ребеккой!

— Боюсь, я не того рода фотограф, — сказал он. — Я фотографирую не людей, а неодушевленные предметы. Кухонные комбайны, наборы

столовых приборов, консервированные супы, все в таком духе.

— Как интересно! — воскликнула я.

Он пожал плечами:

— Есть чем платить герцогу Диру.

— Что?

Надо сказать, я и вправду опешила. Кто бы мог подумать, что случайный знакомец на улице окажется связан с таким знатным родом.

— Герцогу Диру. За квартиру, — пояснил он, и я поняла, что это просто дурацкий рифмованный сленг лондонских кокни. Однако Тому хотя бы хватило такта смутиться.

Я вдруг осознала, что мы идем по тому самому мосту, с которого бросилась Вероника. Меня пробрал озноб. Я никогда прежде тут не бывала. Какое унылое место, чтобы покончить с собой. Впрочем, наверное, не хуже любого другого.

— Вы замерзли? — спросил Том.

Он явно был человеком заботливым и наблюдательным.

Я поплотнее запахнула ворот пальто и улыбнулась.

— Просто здесь, на мосту, ветер.

Мы свернули на широкий проспект, похожий на главную улицу в какой-нибудь деревеньке.

Том остановился на перекрестке и указал путь к Эйнджер-роуд. Ребекка Смитт протянула ему руку. Том ее пожал и сказал, что был очень рад познакомиться.

— Взаимно, — сказала Ребекка и пошла прочь.

— И все-таки вы не похожи на сумасшедшую! — крикнул Том ей в спину.

Я была почти уверена, что сейчас он догонит меня и попросит номер моего телефона. Но нет. Выждав довольно приличное время (как-то не хочется выглядеть совсем уж отчаявшейся девицей, истосковавшейся по мужскому вниманию), я оглянулась через плечо, но его уже не было на перекрестке.

Эйнджер-роуд оказалась самой обычной улицей с домами стандартной застройки, отделенными от тротуара узенькими, густо заросшими геранью палисадниками, где ржавели детские трехколесные велосипеды. Вдоль тротуара росли какие-то чахлые деревца. Последние ноябрьские листья цеплялись за оголенные ветки, словно знали свою судьбу, но еще с ней не смирились. Повсюду веяло запустением. Дома выглядели мрачными и нежилыми. Нумерация была странной: не как это принято в городах, когда по одной стороне улицы идут дома с четными номерами,

а по другой — с нечетными. Здесь номера шли подряд, как бы образуя петлю, так что напротив первого номера располагался последний. Нужный мне дом не отличался от всех остальных [6]. Видимо, его разделили на две квартиры, потому что у входной двери было два звонка, один под другим. Единственным признаком, что здесь находится кабинет знаменитого лондонского психиатра, была картонная табличка с надписью «Бретуэйт», прикрепленная к дверному косяку. До назначенного мне времени оставалось еще сорок минут, и я решила зайти в кафе, которое приметила на проспекте по дороге сюда.

Кафе называлось «У Глинн». Когда я вошла, над дверью звякнул колокольчик. Внутри было пусто, что неудивительно для четырех часов пополудни в будний день. Вся вероятная здешняя клиентура сейчас вовсю чистит картошку на ужин и готовится встречать с работы мужей. Сидевшая за прилавком дородная женщина средних лет встретила меня кислой улыбкой и проследила, как я усаживаюсь за столик в дальнем углу, где, как мне казалось, я буду не слишком бросаться в глаза. Она подошла ко мне с таким видом, словно

[6] Примечания: 6

Этот дом существует по сей день. Я не указываю точный адрес из уважения к частной жизни его нынешних жильцов. (*Примечание автора.*)

мое присутствие в этом кафе причиняет ей крайнее неудобство. Если это была миссис Глинн, то фамилия очень ей подходила. Было в ней что-то от глиняного голема. Я заказала маленький чайник чая и — в попытке заслужить расположение хмурой хозяйки — булочку с джемом. Над прилавком висела табличка, сообщавшая, что вся здешняя выпечка делается исключительно на сливочном масле, а не на маргарине, «потому что ОН чувствует разницу!». Я понятия не имела, кто такой этот «он», но почему-то задумалась: а почувствовал бы эту разницу Том? Скорее всего, нет. Вернее, его мысли наверняка были бы заняты чем-то поинтереснее, чем ингредиенты для булочек. Тут я с ним солидарна. Я никогда в жизни не пекла булок (не считая того раза на уроке домоводства, о котором лучше не вспоминать) и не собираюсь их печь. В том маловероятном случае, если я все-таки выйду замуж, моему мужу придется обходиться без свежих домашних булочек. Или добывать себе булочки в другом месте, ха-ха. К тому же я совершенно не представляю Ребекку Смитт с ее ухоженными, наманикюренными пальцами перепачканной в муке, хотя если бы ей и пришлось что-то печь, она бы уж точно не опустилась до какого-то плебейского маргарина.

Хозяйка кафе принесла мой заказ. Мои попытки заслужить ее расположение пропали всуе. Она не глядя поставила передо мной чайник и чашку, потом принесла булочку и буквально швырнула тарелку на стол, так что нож упал на пол, и мне пришлось его поднимать. При этом я выжала из себя вежливую улыбку и сказала «спасибо». Я так и не поняла, чем заслужила такое отношение. Видимо, по незнанию нарушила какое-то из правил, действующих в заведении. Или просто была здесь чужой, и со мной можно было не церемониться. Это подозрение подтвердилось, когда над дверью звякнул колокольчик и в кафе вошла старушка в верблюжьем пальто и вязаном шарфе. Она опиралась на трость. На голове у нее красовалась мужская шляпа, утыканная разноцветными перьями. Миссис Глинн преобразилась, словно по волшебству. Она поприветствовала вновь прибывшую — миссис Александр — с таким бурным радушием, что я бы не удивилась, если бы она вышла из-за прилавка и разбросала бы по полу лепестки роз. Старушка уселась за столик у окна, явно зарезервированный за ней на постоянной основе, и заказала чай и кусочек бисквитного торта. Ее заказ, я заметила, был поставлен на стол аккуратно и бережно.

Я достала из сумки книжку. Глупый дамский романчик, недостойный моего внимания. Впрочем, вряд ли у миссис Глинн была склонность к литературному критицизму. Я прочла пару абзацев и задумалась о словах моего нового знакомого: что я совсем не похожа на сумасшедшую. Обычно подобное замечание льстит, но в свете моего сегодняшнего предприятия оно оказалось совсем некстати. Утром я уделила своему внешнему виду гораздо больше внимания, чем обычно, и перед уходом с работы забежала в уборную и поправила макияж. И, похоже, напрасно. Сумасшедшие не стригутся в салонах в элитном Сент-Джонс-Вуде. Не подбирают шелковые шарфы под цвет теней для глаз и не носят чулки из «Питерсона». У сумасшедших нет времени прихорашиваться. Если я приду к доктору Бретуэйту в своем нынешнем виде, он сразу распознает во мне самозванку. Я пошла в туалет в дальнем конце кафе и внимательно посмотрела на себя в зеркало. Сумасшедшие не красят губы, подумала я и стерла помаду тыльной стороной ладони. Потом намочила палец, размазала тушь под глазами и стала похожа на панду, которая страдает бессонницей. Вымыла руки, вынула из прически заколки и растрепала волосы пальцами. Сняла

шарф и убрала его в карман. Потом опустила крышку на унитазе и села. Сердце обливалось кровью (эти чулки стоили 10 шиллингов), но я все равно надорвала ногтем левый чулок чуть ниже колена. Отличный штрих, как мне казалось. Ни одна женщина в здравом уме не выйдет из дома в рваных чулках. Я поднялась и опять посмотрелась в зеркало. Похоже, я все-таки перестаралась. Стала похожа на хрестоматийную сумасшедшую на чердаке. Поскольку мне не хотелось, чтобы меня увезли в ближайшую психушку, я намочила кусок туалетной бумаги и стерла черные потеки туши. Пудру тоже пришлось стереть. Наконец я осталась довольна. Я выглядела изможденной и бледной, или, как говорят шотландцы в их колоритной манере, блеклой-квеклой. Мужчины даже не подозревают, сколько мы, женщины, прилагаем усилий, чтобы навести на себя красоту, но я надеялась, что доктор Бретуэйт оценит мои старания, предпринятые в прямо противоположном направлении.

Я спустила воду в унитазе и вернулась за свой столик. Ножки стула скрипнули по полу, когда я его отодвинула, и хозяйка кафе изумленно уставилась на меня, словно из уборной вышел совершенно другой человек. Мой чай остыл, и мне

совсем не хотелось есть, но я намазала булочку маслом и абрикосовым джемом и сосредоточенно ее съела. Надо быть совсем сумасшедшей, чтобы заказать булочку и оставить ее нетронутой! Я подошла к кассе и, не желая, чтобы меня приняли за простушку, которая не отличит булку на сливочном масле от булки на маргарине, похвалила выпечку миссис Глинн.

Она одарила меня недоверчивым взглядом. Я подумала, что сейчас она что-нибудь скажет насчет моего внешнего вида, но она сдержалась и молча выбила мне чек. Я расплатилась и оставила два пенса на блюдечке для чаевых. В надежде, что ее мнение обо мне все же изменится в лучшую сторону.

На улице уже смеркалось. Теперь Эйнджер-роуд казалась не просто заброшенной и обветшавшей, но какой-то зловещей. Я подошла к дому № — и нажала на нижний из двух звонков. Никто не ответил. Я толкнула дверь, оказавшуюся незапертой, и вошла в узкий коридор. У стены стоял старый велосипед. К перилам лестницы была приколота картонная табличка, направлявшая посетителей на второй этаж. Лестницу покрывала потертая ковровая дорожка. Часть перил была выломана, так что подъем получался коварным.

Самая что ни на есть подходящая лестница, чтобы сбросить с нее человека, а потом заявить, что он оступился сам. Пахло сыростью. На верхней площадке была всего одна дверь со вставкой из матового стекла. На стекле было написано:

А. КОЛЛИНЗ БРЕТУЭЙТ

Меня почему-то пробрал озноб, и моя затея вдруг показалась мне жутко глупой. Только теперь до меня начало доходить, что это совсем не игра. Из-за двери доносился стук клавиш пишущей машинки, ободряюще знакомый звук. Я постучала и вошла в небольшую приемную. Девушка чуть помладше меня подняла голову от стола и приветливо улыбнулась. Это была блондинка в ослепительно-белой блузке. С голубыми глазами, густо накрашенными ресницами и бледно-розовыми губами. Мне стало неловко за свой расхристанный вид, но потом я напомнила себе, что эта девушка, будучи секретаршей у психиатра, наверняка видала и не такое.

— Добрый вечер, — сказала она бодрым голосом. — Вы, наверное, мисс Смитт?

— Да. С двумя «т», — уточнила я безо всякой необходимости.

Она предложила мне сесть. Ее, похоже, совсем

не смутил мой неряшливый вид. У стены под окном стояли три деревянных разнокалиберных стула и столик со стопкой журналов. Разрозненные номера «Панча» и «Частного сыска». Я села и положила ногу на ногу, чтобы скрыть дыру на чулке.

— Так бесит, когда они рвутся, — сказала молоденькая секретарша. — Буквально вчера я испортила новую пару.

Я изобразила непонимание, потом удивленно уставилась на свою коленку.

— Ой, я не заметила. Как неловко!

— У меня есть запасные чулки. Они совсем новые. Если хотите, могу вам отдать, — предложила она совершенно по-свойски. — А вы мне потом принесете другие такие же. Когда придете в следующий раз.

Ее предложение показалось мне неподобающе панибратским. И она явно переусердствовала с макияжем. У моей мамы была собственная шкала определений для женщин, которые, с ее точки зрения, украшали себя сверх меры: размалеванная кукла, Иезавель, блудница и (когда она думала, что нас сестрой нет поблизости) шлюха. Она сама никогда в жизни не пользовалась косметикой и не одобряла наряды, которые не

скрывают фигуру, а выставляют ее напоказ. «Вы когда-нибудь слышали, чтобы мужчина грыз яичную скорлупу, а белок и желток оставлял на тарелке?» — так она говорила. Мамины заявления лишь разжигали во мне любопытство. Если она называла какую-то женщину Иезавелью, это всегда была самая яркая и привлекательная из всех женщин в пределах видимости. Боже упаси, чтобы папа, пусть даже случайно, взглянул на такую Иезавель. Определение «шлюха» относилось, как правило, к французским актрисам, согрешившим вдвойне: мало того, что актрисы, так еще и француженки. Когда я начала подрабатывать по выходным в обувном магазине и у меня появились свои деньги, я тратила их на запретные удовольствия, а именно на губную помаду и румяна. По вечерам я запиралась у себя в комнате, поставив стул спинкой под дверную ручку, доставала припрятанную косметику и превращала себя в Иезавель. А потом ублажала себя перед зеркалом, завороженная своими алыми губами и нарумяненными, как у блудницы, щеками.

Я вежливо отказалась от предложения секретарши и взяла со стола номер «Панча». Рассеянно перелистнула пару страниц, потом положила раскрытый журнал на колени и тупо уставилась

в одну точку. Я рассудила, что мне не пристало интересоваться событиями в мире. У меня вроде как *déprimé* [7]. Стало быть, надо изобразить пустой тусклый взгляд. Без сомнения, мисс Запасны Чулки позже поделится впечатлениями обо мне со своим шефом. Она опять стала печатать. Мне всегда нравился стук клавиш пишущей машинки. Однако здешняя секретарша печатала, увы, неумело и постоянно сбивалась. Видимо, в соответствии с печальной тенденцией нашего времени ее приняли на работу за яркую внешность, а не за канцелярские навыки.

Я сосредоточила внимание на стене над столом секретарши. Безобидный, неброский цветочный узор на обоях предположительно предназначался для успокоения мятущихся душ, вынужденных созерцать эти обои как минимум раз в неделю. Однако вскоре я заметила под потолком, на высоте около восьми футов от пола, крошечный надрыв на обоях размером примерно с ноготь большого пальца. Надорванный кусочек загнулся ушком, и под ним виднелась бумажная подложка. Это было как-то странно. Если обои надорвались во время поклейки, то почему же

---

[7] Примечания: 7
Депрессия (*фр.*).

мастера не исправили недочет? Они же должны позаботиться о качестве своей работы. Возможно, у меня не слишком богатое воображение, но я совершенно не представляла, как этот кусочек мог оторваться сам по себе уже после ремонта. Как бы там ни было, это бумажное «ухо» начало меня раздражать. До такой степени, что у меня сжалось горло и мне стало трудно дышать. Я была рада, что сняла шарф. Меня подмывало сказать секретарше, что надрыв надо заклеить. Если она такая запасливая, что держит в столе запасные чулки, у нее наверняка найдется клей или скотч. Я могу ей помочь. Если кто-то из нас встанет на стол, то легко дотянется до нужного места. Но я ничего не сказала. Мне не хотелось, чтобы меня приняли за совсем чокнутую. Всему есть предел.

Наконец дверь кабинета доктора Бретуэйта открылась, и в приемную вышла стройная женщина лет тридцати в кашемировом платье длиной до колен. Ее темно-каштановые волосы были уложены в модную прическу. На мой взгляд, она совершенно не походила на человека, нуждающегося в психиатрической помощи. Наоборот. Она сняла шубу с вешалки-стойки у двери и неторопливо ее надела. Похоже, ее совсем не смущало, что ее видят в приемной у психиатра.

Она взглянула на меня, но я продолжала изображать легкий ступор. Уже у выхода она сказала:

— До свидания, Дейзи.

Секретарша жизнерадостно отозвалась:

— Ждем вас в четверг, мисс Кеплер.

Меня удивило, что такая роскошная и спокойная с виду женщина ходит к доктору Бретуэйту не раз в неделю, а целых два. Видимо, у нее сложный случай, хотя если бы я встретила ее на улице, то посмотрела бы с завистью.

Я поднялась на ноги, но Дейзи сказала, что доктор Бретуэйт примет меня через пару минут. Я посмотрела на часы. Внутри у меня все сжалось, но, как сказала бы моя мама, я сама постелила себе постель. А раз постелила — ложись. Спустя пару минут, без всякого очевидного знака из кабинета, Дейзи сказала, что мне уже можно входить.

Великий и ужасный доктор Бретуэйт сидел за столом и что-то писал в тетради. Я бы многое отдала, чтобы заглянуть в эту тетрадь! Через пару секунд он посмотрел на меня, закрыл тетрадку и поднялся мне навстречу. На нем была фланелевая рубашка, расстегнутая у ворота, коричневые вельветовые брюки и коричневые ботинки, почему-то с развязанными шнурками.

— Мисс Смитт! — радостно воскликнул он. — Или миссис?

Он подошел ко мне, заранее протянув руку для рукопожатия. Мы поздоровались, и я сказала, что я не замужем, а значит, мисс. В жизни он был совсем не такой безобразный, как на телеэкране. Его глаза, пусть немного навыкате, *dans la vraie vie* [8] были ясными и живыми. Он выглядел гораздо моложе, чем я помнила по передаче, но не зря говорят, что телекамера добавляет и веса, и возраста.

— Прошу садиться. Где вам больше нравится, — сказал он в манере фокусника, предлагающего кому-то из зрителей загадать карту. Его кабинет напоминал захламленную гостиную или, лучше сказать, холостяцкую берлогу. Всю стену за письменным столом и по бокам от двери занимали книжные полки. Стопки книг и газет стояли прямо на полу. Выходившие на улицу окна запотели до такой степени, что по ним текли капли воды. Единственным предметом обстановки, отвечающим рабочему назначению этой комнаты, был металлический архивный шкаф, выкрашенный в зеленый цвет. Верхний ящик с картотекой

---

[8] Примечания: 8
В реальной жизни (*фр.*).

был выдвинут до предела. Меня прямо-таки подмывало подойти и задвинуть его на место. Я посмотрела, куда можно сесть. Выбор был невелик: потертое кожаное кресло, неуютное с виду плетеное кресло с высокой изогнутой спинкой и подоконный диванчик, накрытый трикотажным пледом. У меня по спине побежали мурашки, когда я поняла, что это, наверное, и есть тот самый диванчик, на который, как выразился Бретуэйт в своей книге, укладывалась Вероника «если не совсем томно, то близко к тому» (что совсем на нее не похоже; моя сестра никогда в жизни не делала ничего «томно» и даже близко к тому). В центре комнаты стоял невысокий журнальный столик с переполненной пепельницей, деревянной резной сигаретницей и картонной коробкой с бумажными салфетками. Мне пришло в голову сесть за стол, просто чтобы проверить, как отреагирует Бретуэйт, но я решила, что лучше не надо. В итоге я присела на диванчик, с правой его стороны. Бретуэйт кивнул, словно заранее предположил, что именно там я и сяду. Он вытащил из-за стола стул и уселся напротив меня. Вытянул ноги вперед и скрестил лодыжки. Я обратила внимание, что он без носков. Он сложил руки на животе и спросил:

— Нашли нас без проблем?

Я кивнула. У него было рябое лицо, на висках уже серебрилась первая седина. Я знала, что ему сорок, и именно столько я бы ему и дала, если бы меня попросили определить его возраст наугад.

— И что привело вас сюда, мисс Смитт? — спросил он, и его тон явно предполагал, что пора перейти к делу. Он ждал ответа, не проявляя ни малейшего нетерпения. Он обвел меня пристальным взглядом от растрепанных волос до кончиков туфель. На долю секунды его взгляд задержался на дырке у меня на чулке, его брови чуть шевельнулись, выдав удивление, и я подумала, что не зря выбросила на ветер десять шиллингов.

— Я не знаю, с чего начать, — уклончиво проговорила я.

Он развел руки в стороны и сказал:

— Давайте начнем с того, что вас заставило записаться ко мне на прием.

— Да.

Я знала, что он привык иметь дело с поведением, скажем так, своеобразным. При его профессии этого не избежать. Нормальные люди, пришедшие на платную консультацию, не стали бы тратить зря время, а постарались бы рассказать

доктору Бретуэйту как можно больше, чтобы окупить свои деньги. С другой стороны, нормальные люди и вовсе не стали бы к нему обращаться.

— Наверное, мне было бы проще, если бы вы называли меня Ребеккой, — сказала я.

— Как вам угодно, — ответил он. — А как вам было бы проще обращаться ко мне? — Он секунду помедлил и предложил несколько вариантов на выбор: — Можно «доктор Бретуэйт» или просто «Бретуэйт», если вы предпочитаете общаться на официальной основе. Мать называла меня Артуром, друзья называют Коллинзом, враги… впрочем, тут лучше не углубляться. — Он рассмеялся над собственной шуткой. Как я поняла, все это делалось для того, чтобы меня успокоить. Или сбить меня с толку, чтобы я потеряла бдительность. — Так что же?

У него была странная, какая-то рваная манера речи.

— Если вы называете меня Ребеккой, то я буду вас называть Артуром.

Я посмотрела на свои руки, лежащие на коленях. Вчера вечером я накрасила ногти, и аккуратный маникюр никак не вязался с моим расхристанным видом. Хотя, наверное, так даже лучше. Только совсем сумасшедшая женщина

будет так тщательно следить за ногтями, но при этом выйдет из дома в рваных чулках. Обычно мужчины не замечают подобных вещей, но у меня складывалось впечатление, что от внимания доктора Бретуэйта не укроется ни одна мелочь. Я уже пожалела, что выбрала «Артура». Обращение к человеку по имени предполагает определенную степень близости, в данном случае неуместной. Также мне не хотелось, чтобы он подумал, будто я ассоциирую себя с его матерью или пытаюсь примерить на себя материнскую роль. У меня никогда не было таких устремлений. У меня напрочь отсутствует материнский инстинкт. Я ненавижу детей с их чумазыми лицами, разбитыми коленками и производимым ими адским шумом (почему они вечно шумят?!). И я уже не говорю об ужасах деторождения или грязных постельных утехах, ведущих к зачатию.

Бретуэйт кивнул.

— Итак, Ребекка?

Он был весьма обходителен и любезен (в конце концов, в настоящий момент тратились не его деньги), но я поняла, что мне надо хоть что-то сказать. Странно было бы записаться на прием к психиатру, а потом делать вид, будто с тобой все в порядке.

— В последнее время… — Я обвела взглядом комнату, словно в поиске нужных слов. — Мне как-то тревожно. Меня постоянно одолевает беспричинная тревога. — Я была очень довольна этой последней фразой.

— Тревога! — повторил Бретуэйт. — Как я вас понимаю, Ребекка! Со всем, что сейчас происходит в мире, каждый будет тревожиться. Я сам, знаете ли, постоянно тревожусь.

— Это еще не все, — сказала я. — У меня ощущение, что я потеряла себя.

Он как будто развеселился. Весь просиял, вскочил со стула, подбежал к моему диванчику и принялся театрально переворачивать подушки. Потом опустился на четвереньки и заглянул под диван. Поднялся на ноги, подошел к двери, открыл ее и обратился к Дейзи:

— Мисс Смитт не забыла в приемной себя? Нет? — Он закрыл дверь, не дожидаясь ответа, и обернулся ко мне: — Может, оно у вас в сумке? Содержимое дамских сумочек всегда было для меня загадкой. Даже большей загадкой, чем содержимое женских голов, ха-ха. — Он поднял с пола мою сумочку. На мгновение я испугалась, что сейчас он откроет ее и найдет дохлую мышь, завернутую в салфетку. Но он вручил сумку мне

и сделал знак, чтобы я заглянула внутрь. — Там тоже нет? — спросил он, когда я послушно открыла сумочку.

Он уселся на стул, озадаченно нахмурился и сказал:

— Давайте подумаем. Вы говорите, что потеряли себя. Попробуйте вспомнить, когда и где вы его видели в последний раз.

Мне показалось, что он надо мной издевается. Так я ему и сказала.

— Ни в коем случае, Ребекка. Потеря себя — это очень серьезно. И я спрашиваю всерьез: когда и где вы его видели в последний раз?

Я провела в его обществе считаные минуты, но уже поняла, почему многие им восхищаются. Неопрятная внешность, как ни странно, лишь добавляла ему очарования. Он не нуждался в строгом костюме и галстуке, чтобы укрепить собственный авторитет. Он обладал тем самым качеством, которое обсуждается повсеместно, но редко встречается в реальной жизни: мощной харизмой. Сразу было понятно, что Коллинз Бретуэйт может вертеть тобой, как захочет. Это одновременно пугало и завораживало. Теперь я поняла, почему мисс Кеплер ходит к нему два раза в неделю.

— Я не знаю, — сказала я в ответ на его вопрос.

— Ну и ладно, — бодро проговорил он. — Ничего страшного. Раз оно потерялось, значит, оно не такое уж и замечательное. Может быть, вам без него даже лучше.

Я не знала, что на это сказать. Если он имел целью меня озадачить, то у него получилось.

До конца часа оставалось еще много времени, и я рассказала доктору Бретуэйту о себе. Вернее, о Ребекке. У нас с Ребеккой было много общего, но, чтобы он не догадался о моем близком родстве с Вероникой, мне пришлось изменить некоторые детали. (Тут, наверное, стоит отметить, что внешне мы с Вероникой совсем непохожи. Она была темноволосой, как наша мама, с толстыми щиколотками и, если так можно сказать, грубоватым лицом. Я сама далеко не красавица, но у меня довольно тонкие черты. Если я — вторая леди де Уинтер в исполнении Джоан Фонтейн, то Вероника — миссис Денверс из того же фильма.) Как известно, всему свое время, и сейчас было явно не время говорить всю правду. Я сказала доктору Бретуэйту, что моя мать умерла и теперь я живу вдвоем с отцом, архитектором на пенсии. Я решила, что Ребекка будет единственным ребенком в семье (всегда отчаянно одиноким), но

она, как и я, работала секретаршей в театральном агентстве.

Бретуэйт почти не задавал мне вопросов. Уже потом, задним числом, я поняла, что он вообще говорил очень мало. Зато я говорила не умолкая. Из меня просто лился поток слов. Позже мне стало неловко, что я разглагольствовала о себе, словно была интереснейшей женщиной во всем Лондоне. Но Бретуэйт добросовестно слушал и даже ни разу не посмотрел на часы. Надо сказать, слушать он умел. Мне еще никогда не встречались такие внимательные собеседники. Я мало что помню из того, что говорила. Но помню, что мне стоило колоссальных усилий не выйти из образа. Я забыла об истинной цели своего визита. Я поняла, что мне хочется понравиться Бретуэйту. В какой-то момент он просто молча поднялся со стула, и чары как будто рассеялись. Видимо, он давал мне понять, что время сеанса закончилось. У меня было странное ощущение, словно я впала в транс, и я даже подумала, что Бретуэйт меня загипнотизировал. Я взяла сумочку и пошла к выходу, чувствуя легкую слабость в ногах.

Бретуэйт стоял между диваном и дверью. Когда я шагнула к двери, он чуть сдвинулся, преградив мне дорогу. Я была вынуждена остановиться. Мы

стояли почти вплотную друг к другу, и мне было неловко. Он ко мне не прикасался, он меня не держал, но я все равно чувствовала себя пленницей.

— Было приятно с вами пообщаться, Ребекка, — сказал он. — Если хотите прийти сюда снова, скажите Дейзи. Она вас запишет.

Я слегка растерялась.

— А вы как считаете? — спросила я. — Надо мне приходить или нет?

Бретуэйт махнул рукой, словно бросил монетку уличному беспризорнику.

— Решать только вам.

— Но как вы считаете, вы сумеете мне помочь? — спросила я.

— Вопрос не в том, сумею ли я вам помочь. Вопрос в том, верите ли вы сами, что я сумею помочь. — Он выразительно посмотрел на меня своими выпученными глазами. Я почувствовала себя совершенно беспомощной.

— Я думала, вы сможете меня вылечить, — тихо проговорила я.

Он фыркнул от смеха.

— Мисс Смитт, *Ребекка*. Здесь никто никого не «лечит». Лечением занимаются шарлатаны, и, видит Бог, меня и так уже многие считают таковым. Во-первых, сама идея лечения предполагает, что

вы априори больны, просто вам еще не поставили диагноз. И, во-вторых, если с вами действительно что-то не так, вряд ли оно поддается лечению.

— Но если меня нельзя вылечить, то какой смысл мне сюда приходить?

— Это, опять же, вопрос не ко мне, — сказал он. — Тут решать только вам. Но сам факт, что вы думаете, будто у вас есть проблемы по психологической части, уже предполагает, что вы гораздо разумнее многих.

Он отступил в сторону, освободив мне проход. Я вышла в приемную и записалась на следующую консультацию. Дейзи сказала, понизив голос:

— Значит, ждем вас на следующей неделе.

Может быть, из-за этого «ждем» во множественном числе, может быть, из-за ее почти заговорщического шепота, но у меня было чувство, что меня приняли в какой-то тайный подпольный клуб.

На улице я подошла к первому же фонарному столбу и стала рассматривать проржавевшую краску, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Как будто пыталась прочесть тайные письмена. Я подумала, что доктор Бретуэйт наверняка будет подглядывать за мной из окна. Будь я психиатром, я бы точно подглядывала за пациентами, выходящими после сеанса. Мне

кажется, из меня получился бы неплохой психиатр. Папа всегда говорит, что у меня есть талант выявлять недостатки и слабости других людей.

Я потерла краску пальцем, потом достала из сумочки пилку для ногтей и принялась полировать столб. Если Бретуэйт смотрит, то пусть решит, что я совсем сумасшедшая. Я представляла, что он сейчас думает: «Бедная девочка! Она так старалась казаться нормальной». Может, он даже позвал к окну Дейзи: «Посмотри на нее. Кажется, у нас тут тяжелый случай». Чуть погодя я осмотрела свою работу, кивнула, будто довольная результатом, и убрала пилочку в сумку. Добрела до конца улицы неуклюжей, спотыкающейся походкой, завернула за угол и, убедившись, что никто не идет за мной по пятам, выпрямила спину и пошла дальше уже нормально. Я была рада опять стать собой. Мысленно я поздравила себя с замечательным выступлением. Ребекка, как мне показалось, справилась на «отлично».

Я оказалась на людной улице, идущей вдоль парка. У меня есть привычка — возможно, это мой пунктик — никогда не возвращаться домой той же дорогой, которой я уходила из дома. Если я возвращаюсь по собственным следам, у меня возникает тревожное ощущение, что я запуты-

ваюсь в себе. Когда я думаю о Тесее, выходящем из лабиринта по путеводной нити, я всегда представляю, как эта нить оплетает сперва его стопы, потом — ноги и тело, и вот он уже полностью связан и не может сделать больше ни шагу. Это я объясняю, почему я решила вернуться на станцию другой дорогой. Как ни странно, но я никогда в жизни еще не бывала в Примроуз-Хилл, и мне даже в голову не приходило, что тут и вправду есть холм. По-моему, название «Холм первоцветов» совсем не подходит для парка в Лондоне, а подходит скорее для какой-нибудь деревеньки в Девоне или любой другой сельской глуши (я ненавижу деревню во всех ее проявлениях). Но вот он: Примроуз-Хилл. Я пошла вдоль ограды и в конце концов вышла к воротам.

Было где-то без четверти шесть, и на улице уже стемнело. Из-за непрестанного гула машин казалось, что сам холм тихонько гудит и подрагивает. Он был словно раздутый живот, готовый лопнуть и выплеснуть накопившийся подземный гной. Что-то тянуло меня к нему. Народу в парке было немного, человеческие фигуры равномерно распределялись в пространстве, как будто их нарочно расставили именно так. По тропинке, ведущей к вершине, поднимался мужчина с чер-

ной собакой на поводке. Оба шагали медленно и неохотно, словно всходили на эшафот. Я пошла по дорожке вдоль подножия холма. Недавно был дождь, и асфальт влажно блестел. В сгустившихся сумерках трава казалась серебристой. Все вокруг было каким-то неправильным, скособоченным. Горизонт располагался не на своем месте. Надо мной нависал холм. Мне хотелось сложиться, как лист бумаги.

У края дорожки стоял предмет. Из четырех деревянных досок примерно шести футов в длину. Две доски располагались параллельно земле на высоте около двух футов, еще две доски — под прямым углом к нижним, одна над другой. Вся конструкция держалась на двух боковых крепежах из кованого железа. У каждого было две ножки с распорками. Между парами ножек, ниже горизонтальных досок, проходили железные брусья; видимо, для устойчивости. Конечно, я знала, что это скамейка. Было бы странно не знать. Но в те мгновения она показалась мне неким зловещим, затаившимся в темноте существом вроде гигантского таракана или краба, поджидающего добычу, чтобы схватить ее, утащить в ближайшие кусты и сожрать. Я стояла перед этой скамейкой, наверное, целую минуту. Я не броси-

лась прочь со всех ног. Это была просто скамейка. Будто бы желая проверить свою убежденность, я на нее села. Поставила сумку на землю и прижала ладони к сиденью. Облупившаяся краска была шероховатой на ощупь. Я сделала несколько медленных вдохов и выдохов. Я ощущала, как Лондон пульсирует у меня в венах. Я закрыла глаза и прислушалась к грохоту города. Потом легла на скамейку с ногами и перевернулась лицом вниз, вытянув руки по швам. Скамейка словно давила на меня снизу. Я ощущала губами старую потрескавшуюся краску. Я неуверенно лизнула ее кончиком языка. Вкус был горьким, слегка металлическим. Деревянные доски пахли как сырая лесная земля. Пульсация города стала настойчивее. Я почувствовала, как скамейка отрывается от земли и поднимается в небо. Я еще крепче зажмурилась и схватилась за края сиденья. Огни и улицы Лондона остались далеко внизу. Мы поднялись к облакам по широкой дуге. Это был настоящий восторг. Не знаю, долго ли длился полет, но уж точно несколько минут. Потом я услышала голос. Ощущение было такое, что я крепко спала и меня разбудили. Я открыла глаза. Надо мной склонился какой-то мужчина.

— Девушка, вам плохо? — встревоженно спро-

сил он и, похоже, не в первый раз.

Я села как полагается, опустив ноги на землю. Рядом с мужчиной стоял большой пес, черный лабрадор. Наверное, это был тот же самый мужчина с собакой, которого я видела раньше. Он смотрел на меня с искренним беспокойством.

— Вовсе нет, — сказал я. — С чего бы мне было плохо?

Он указал на скамейку, словно это все объясняло.

— У вас могли украсть сумку.

Тут он был прав.

— Да, верно, — сказала я. — Спасибо.

Я подняла сумочку и положила ее на колени. Мужчина кивнул и пожелал мне хорошего вечера. Я осталась сидеть, пока он не скрылся из виду.

Естественно, я опоздала на ужин, который у нас дома подают ровно в шесть вечера. Миссис Ллевелин молча принесла мне суп, но не ушла из столовой, а прислонилась к буфету и стала смотреть, как я ем. Она даже не потрудилась его разогреть. Она явно меня провоцировала, но я съела все, что было в тарелке. Миссис Ллевелин так же молча забрала пустую тарелку и принесла с кухни кусок запеченной свинины. Видимо,

мясо держали в духовке, потому что оно было теплым. В качестве гарнира мне достались три соцветия брокколи — из всех овощей больше всего я ненавижу брокколи — цвета унылых больничных стен. Лужица подливки напоминала засохшую кровь на простыне. К счастью, миссис Ллевелин не стала стоять у меня над душой, пока я ела второе. Я прожевала пару кусочков мяса, а все остальное, что было в тарелке, стряхнула в сумку, чтобы позже спустить в унитаз. Вернувшись в столовую, миссис Ллевелин не смогла скрыть изумления, что я все-таки съела столь неаппетитное блюдо. Это была моя маленькая победа. В награду я получила порцию бланманже с кусочками консервированных мандаринов. Бланманже — мой любимый десерт. Его даже не надо жевать. Мне нравится подержать его на языке и дать соскользнуть в горло. Я представляю, что это кораблик, выходящий из гавани в открытое море. Кусочки мандаринов я аккуратно выковыряла ложкой и оставила на тарелке. В их текстуре и форме было что-то скабрезное.

Я ушла из столовой, не дожидаясь очередного возвращения миссис Ллевелин, и пошла к папе в гостиную. Он оторвался от своей газеты и ласково мне улыбнулся.

— Добрый вечер, папа, — сказала я.

Да, я знаю, что когда женщина моего возраста обращается к отцу «папа», это звучит по-детски слащаво и вообще странно. Но тут нет никакой многозначительной подоплеки. Это просто привычка, с которой я не хочу расставаться, потому что иначе получится, будто я делаю некое заявление; вроде как расширяю дистанцию между нами. Тем более что нет никаких подходящих альтернатив. Короткое «пап» звучит по-плебейски: серый, пресный на языке слог. «Отец» — как-то уж слишком формально при личном общении; а обращаться к родному отцу по имени — просто вульгарно. У нас тут, хвала небесам, не Америка.

— Вот и ты, милая, — сказал он. — Мы за тебя волновались.

Я ненавижу, когда отец говорит «мы» о себе и миссис Ллевелин, словно они одно целое. И в любом случае я никогда не поверю, что миссис Ллевелин стала бы за меня волноваться. Ничто, как мне кажется, не порадует ее больше, чем звонок из полиции с сообщением, что меня переехал автобус.

— Встречалась с молодым человеком, я так понимаю, — поддразнил меня папа, но я сделала непроницаемое лицо и сказала, что мистер Бра-

унли попросил меня задержаться, поскольку у него была важная встреча и ему требовалось мое присутствие. Мне нравилось делать вид, будто я незаменима, хотя, если по правде, с моей работой справилась бы и мартышка, если научить ее печатать на машинке. Папа выразил надежду, что мистер Браунли платит мне сверхурочные. Я села в кресло напротив него.

Папа снова уткнулся в газету. Он решал кроссворд. Мне нравится сидеть с папой в гостиной по вечерам. Говорить нам особенно не о чем, но нам уютно молчать вдвоем. И все же я знаю, что я для него стала разочарованием. Его любимицей была Вероника. Да, он старался никак этого не проявлять; баловал меня даже больше, чем Веронику, но он никогда не смотрел на меня таким взглядом, каким смотрел на нее. После ее смерти он сам словно утратил вкус к жизни. Я пытаюсь его подбодрить, но пока безуспешно. Он буквально убит горем. Естественно, в его присутствии никогда не произносится слово «самоубийство». Это был несчастный случай. Думать иначе — значит очернить память о Веронике.

Отец сильно подорвал здоровье еще в Индии, где заболел малярией. Он был инженером, и вскоре после того, как они с матерью поженились, его

пригласили работать в Калькутту. Там он курировал строительство моста Ховра через реку Хугли. В Калькутте родилась Вероника, и поскольку она была смуглой и черноволосой, папа называл ее «моя маленькая индианочка». Мама ненавидела Индию и была рада, когда болезнь мужа ускорила их возвращение в Англию. Они вернулись домой в 1940-м, когда мама была беременна мной, так что, наверное, и во мне тоже есть частичка Индии. Мама вечно твердила, что на обратном пути ее мучила страшная тошнота, и она даже не знает, что было хуже: морская болезнь или утренний токсикоз. До конца жизни она обвиняла во всех бедах Индию; встречая на улице человека в тюрбане, она отворачивалась и демонстративно подносила к носу надушенный платок.

Я спросила у папы, не помочь ли ему с кроссвордом.

— Да. Я, похоже, застрял, — сказал он и прочел вслух подсказку.

— Бред как он есть, — сказала я. Это наша с ним шутка. Каждый раз, когда он мне читает подсказки в кроссворде, я говорю эту фразу.

— Восемь букв. Вторая «а», седьмая тоже «а». — Он еще раз прочел подсказку, чуть ли не по слогам: — Фруктовое лакомство, содержит мел.

Он сто раз мне объяснял, в чем прелесть кроссвордов, но с тем же успехом он мог бы говорить со мной по-бенгальски. Все эти кроссворды, пазлы и прочие головоломки всегда казались мне пустой тратой времени. Зимними вечерами папа с Вероникой могли часами сидеть за столом, собирая какой-нибудь пазл. Картинка, которая должна получиться, — неизменно либо старинный замок, либо железнодорожный вокзал, — была напечатана на крышке коробки. Зачем тратить время, соединяя кусочки, если и так уже видно, что это будет? Когда я задавала им этот вопрос, они лишь закатывали глаза и продолжали молча сортировать картонные кусочки. Однажды, когда они оба вышли из комнаты, я схватила со стола три кусочка пазла и на следующий день выбросила их в канаву по дороге в школу. Позже, когда обнаружилось, что пазл неполный, мне стало стыдно. Ни папа, ни Вероника ни в чем меня не обвиняли, но мне кажется, что они сразу поняли, кто виноват.

Папа получает хорошую пенсию и в дополнение к ней пишет книги о мостах. Вернувшись в Англию из Калькутты, он написал свою первую книгу, «Великие мосты Индии», просто для собственного развлечения. Он собрался издать ее как

монографию для узкого круга специалистов, но издатель, к которому он обратился, неожиданно объявил, что подобная литература пользуется спросом у довольно широкой аудитории. Книга имела успех, и, поломавшись для виду, папа поддался на уговоры издателя и написал еще несколько книг той же серии: «Великие мосты Африки», «Великие мосты двух Америк» и так далее. Среди «мостовых» энтузиастов он стал знаменитостью и, конечно, гордится своими успехами, но относится к ним с определенной долей иронии. До недавнего времени он читал лекции для членов любительских инженерно-строительных обществ. Эти лекции — куда отец часто брал нас с Вероникой, когда мы были маленькими, — проходили в обшитых деревом конференц-залах или в церквях, где присутствовали исключительно седовласые дяденьки в твидовых пиджаках. Он не без гордости говорил, что единственной женщиной, которая прочла все его книги, была Вероника. Все его лекции начинались всегда одинаково: «Разница между поэтом и инженером заключается в том, что для инженера мост — это зримое воплощение математических вычислений, а для поэта мост — это символ». Он сам инженер, так говорил отец, и для

него математика — это поэзия. Эту сентенцию неизменно встречали одобрительным гулом, иногда даже аплодисментами, и мне нравилось наблюдать, как отец смотрел в пол и скромно улыбался, принимая признание публики. Однако в последние годы здоровье не позволяет ему выступать с лекциями. Даже подняться по внутренней лестнице у нас в квартире для него уже подвиг. Он клянется, что каждая новая книга будет последней. В любом случае у него уже кончаются части света.

— Мармелад! — вдруг воскликнул отец. — Он содержит *слог* «мел». На самом деле все просто!

— Да, конечно, — сказала я.

Он записал ответ в клеточки и перешел к следующему слову. Я поднялась, поцеловала отца в щеку и сказала, что пойду спать. У нас двухэтажная квартира. На нижнем уровне располагаются прихожая, кухня, кладовка, столовая, гостиная, папин кабинет и туалет. На верхнем, под самой крышей, — три спальни, вторая кладовка и ванная. Миссис Ллевелин сейчас занимает бывшую комнату Вероники. Моя спальня находится между ее комнатой и отцовской. Миссис Ллевелин строго-настрого запрещено заходить на мою территорию, но я все равно запираю дверь, когда

ухожу из дома, и ношу ключ в сумочке. По ночам я оставляю дверь чуть приоткрытой, чтобы быть уверенной, что между ними двумя не происходит никаких шалостей. Свои вещи, предназначенные для стирки, я складываю в плетеную корзину, стоящую в коридоре.

Поднявшись к себе, я переоделась в ночную рубашку и смыла остатки макияжа перед зеркалом на трюмо. В уголках глаз уже появились крошечные морщинки. Я растянула кожу пальцами, чтобы они исчезли. Кажется, я потихонечку превращаюсь в старую клюшку. Я решила, что надо есть больше свежих овощей и фруктов.

Бретуэйт I: Ранние годы

Артур Коллинз Бретуэйт родился в Дарлингтоне 4 февраля 1925 года. Его отец, Джордж Джон Бретуэйт, был довольно успешным местным предпринимателем. Джордж родился в 1892 году в семье железнодорожных служащих. Как все мужчины в его роду, он был коренастым и крепко сбитым. На сохранившихся фотографиях мы видим красивого молодого человека с густыми непослушными кудрями и пронзительными темными глазами. Во время Первой мировой войны он участвовал в боях за Верден, а в 1917-м был ранен шрапнелью и отправлен на лечение в госпиталь в Сассексе. Там он познакомился с медсестрой по имени Элис Луиз Коллинз.

Элис была дочерью викария из соседней деревни Этчингем. Хорошенькая, но совершенно наивная девушка двадцати лет, с нежными карими глазами и светлыми волосами. Джордж развлекал ее рассказами о своих приключениях на фронте и бурной юности в «Дарло». Со стороны они казались странной парой: энергичный, говорливый северянин и застенчивая тихоня из домашнего графства, — но, когда у Элис бывали

выходные, они проводили их вдвоем, гуляя в полях, окружавших деревню. Джордж полностью выздоровел и накануне отправки обратно на фронт сделал Элис предложение. Она так оробела, что не сказала ни «да», ни «нет». Ведь Джордж еще даже не познакомился с ее отцом. На что Джордж ответил: «Какой же отец не одобрит такого зятя?» Так случилось, что война закончилась уже через пару недель, и Джордж, даже не сняв военной формы, прибыл в дом викария в Этчингеме. Ему хватило ума сыграть роль скромного и почтительного будущего зятя, и к тому же героя войны (он был трижды представлен к наградам за отвагу и доблесть, проявленные в боях). Вскоре он получил свой ответ. Через полтора месяца они с Элис поженились. Венчание провел самолично отец невесты.

Новобрачные вернулись в Дарлингтон и сняли крошечный двухэтажный кирпичный домик на Картмелл-Террас. Джордж открыл скобяную лавку в Клакс-Ярде, но уже через два года расширил дело и перебрался на более оживленную улицу Скиннергейт. Он оказался умелым и хватким дельцом и позже открыл филиалы «Бретуэйта» в Дареме, Хартлпуле и Мидлсбро. Первые четыре года жизни Артур спал в детской кроватке в ро-

дительской спальне. Он утверждал, что хорошо помнит себя в эти ранние годы. Их первый дом, как он писал позднее, был «холодным, сырым и темным». По ночам он притворялся, что спит, но ему было слышно, как отец по-звериному пыхтит на супружеском ложе. Маленькому Артуру очень хотелось забраться в постель к матери, но он боялся «чудовища», что лежит рядом с ней.

Артур был младшим из троих сыновей. Его старших братьев звали Джордж-младший (родился в 1919 г.) и Эдвард, или Тедди, как его называли домашние (родился в 1920-м и получил имя в честь отца Элис). Когда Артур пошел в первый класс, семья переехала в двухквартирный дом на Уэстлендс-роуд на окраине престижного района Кокертон. Здесь у Артура появилась своя отдельная комната с окном, выходившим в маленький садик на заднем дворе. Джордж неустанно рассказывал каждому, кто был готов слушать, что, несмотря на свое скромное происхождение, он добился немалого положения в обществе. Он получил членство в местной Торговой палате, вступил в Консервативный клуб и дважды выдвигался кандидатом в депутаты парламента на Общих выборах в 1931 и 1935 годах.

Элис так и не сумела привыкнуть к жизни в

Дарлингтоне. Тихая и замкнутая по натуре, она плохо сходилась с людьми и не завела себе новых подруг. Джордж с утра до ночи занимался своими торговыми точками, а по воскресеньям водил сыновей на долгие прогулки по пустошам Норт-Йорк-Мурс. Элис, чья жизнь в Этчингеме состояла из церковных мероприятий, сельских праздников и тихих радостей чтения по вечерам, пугали суровые северные пейзажи, как и здешние люди с их грубым акцентом. В одном из писем к сестре, отправленных через несколько месяцев после свадьбы, она писала: «Здесь все душное, темное. Я себя чувствую воробушком в стае ворон». Джорджа — человека активного, энергичного и компанейского — начала раздражать необщительность и замкнутость супруги. «Что ты вечно сидишь взаперти? — говорил он. — Уже пора вылезать из норы». Все, чем он так привлекал Элис вначале, теперь стало поводом для размолвок.

Джордж никогда не устраивал себе отпуск. Покупатели, говорил он, не станут ждать, пока он отдохнет. Они уйдут к конкурентам и уже не вернутся. Однако два раза в год Элис ездила на юг повидаться с семьей. С течением лет эти поездки становились все более продолжительными. Летом 1935 года у ее отца случился

инсульт, приковавший его к постели, и у Элис появилась причина задержаться в родительском доме подольше. К семье она так и не вернулась. Десятилетний Артур очень остро переживал расставание с матерью, однако его отец отнесся к сложившейся ситуации со свойственным ему прагматизмом. У них поселилась домработница с проживанием, миссис Маккей, и весь распорядок домашней жизни остался прежним.

Пятилетняя разница в возрасте между Артуром и его старшими братьями не способствовала их сближению. Джордж-младший и Тедди были неразлучны и не горели желанием возиться с младшим братишкой. Если им приходилось брать его с собой на рыбалку или субботние «вылазки в город», старшие ясно давали ему понять, что он для них — нежелательная обуза. К началу 1935 года оба его старших брата бросили школу и стали работать в отцовской фирме, теперь носившей гордое название «Бретуэйт и сыновья». Элис писала слезные письма, умоляя мужа отпустить к ней Артура на школьные каникулы, но Джордж-старший не поддерживал эту идею. «Если ей так уж хочется с тобой повидаться, ей никто не мешает приехать самой» — так он всегда говорил и не желал обсуждать этот вопрос. Артур не спорил

с отцом, но по ночам горько плакал в подушку, одновременно тоскуя по матери и злясь на нее за то, что она его бросила.

У Артура был врожденный лентикулярный астигматизм, так что он с раннего детства носил очки с очень толстыми линзами. В первом классе над ним безжалостно издевались сверстники, но ему было все трын-трава, так что мучителям быстро наскучило над ним глумиться, и после нескольких пар разбитых очков его оставили в покое. Как и его мать, он плохо сходился с людьми, не обзавелся друзьями и стал вроде как одиночкой. Он много читал, ему особенно нравились романы Уильяма Эрла Джонса о похождениях Биггльза и другие книги об искателях приключений. Спустя много лет, когда он увидел Хью Эдвардса в роли Хрюши в фильме Питера Брука «Повелитель мух» 1963 года, ему показалось, будто он смотрит на себя в детстве: «безнадежный изгой, пытающийся вразумить тех, кому совершенно неинтересны разумные доводы». Это очень нелестная самооценка. В реальности, не считая очков с толстыми, как донца бутылок, стеклами, он был довольно красивым ребенком (что подтверждается сохранившимися фотоснимками) со слишком взрослым лицом.

Лишь годам к двадцати его зрелые черты более-менее сравнялись с реальным возрастом.

Как это часто бывает с людьми, добившимися успеха своими силами и трудом, у Джорджа Бретуэйта не было времени получить даже среднее образование, однако Артур усердно учился в школе. Если уж он не мог преуспеть в спорте, то мог хотя бы блистать на уроках. Ему нравилось наблюдать за унижением главных школьных хулиганов, которые не могли с первого раза прочесть элементарное предложение или решить простенькую математическую задачку. Он брал мозгами и на том строил свою идентичность. Артур был единственным из трех братьев Бретуэйт, кто сумел поступить в гимназию. В двенадцать лет он впервые сознательно вышел «из тени» своих старших братьев и стал «сам себе личностью». Если отец и гордился успехами младшего сына в учебе, то никак этого не проявлял. Он только мельком просматривал школьные табели, поскольку «все эти оценки не будут значить вообще ничего, когда ты приступишь к работе в семейной фирме». Эти слова лишь укрепляли решимость Артура самостоятельно выбрать свой жизненный путь. Но пока что у него не было выбора: по субботам ему приходилось работать в

отцовском магазине на Скиннергейт. По крайней мере, так он хотя бы имел пусть небольшой, но свой собственный доход, и на летних каникулах 1939 года смог купить билеты на поезд — сначала до Лондона, потом до Гастингса, откуда до Этчингема было всего-то тринадцать миль, и он добрался туда автостопом. Когда мать увидела, что он приехал, она упала на колени и разрыдалась. Артур, не привыкший к таким проявлениям чувств, просто стоял и смотрел. Мамины слезы, писал он позднее, его смутили. «Видимо, я просто не знал, чего ожидать. Я еще не научился смотреть на мир с точки зрения кого-то другого». Когда мама, все еще стоявшая на коленях, его обняла, он почувствовал, что она «обнимает не меня настоящего, а того меня, которого уже давно нет». И все-таки запах ее волос отчасти вернул его в детство, и пока Артур гостил в Этчингеме, он старательно «играл в малыша», чтобы сделать приятное матери. Для нее он был маленьким мальчиком, и он видел, что ей хотелось, чтобы так оставалось и впредь. Позже он говорил, что «мне было приятно вернуться к детским привычкам и не притворяться, как я притворялся в доме отца, что меня совершенно не задевает его пренебрежительное отношение. Только тогда я

осознал, что и дома тоже играю роль».

Артур заметил, что мать сильно переменилась. Она всегда была худенькой, а теперь стала болезненно тощей: кожа да кости. Она стала забывчивой и рассеянной. Провалы в памяти очень ее огорчали, она писала себе записки с напоминаниями и строго отчитывала неодушевленные предметы, которые стояли не на своих обычных местах. Преподобный Коллинз скончался два года назад. Элис не сообщила об этом мужу. Видимо, потому, что иначе у нее больше не было бы причин оставаться в Этчингеме.

Когда Артур вернулся в Дарлингтон, отец объявил, что больше он не работает у него в магазине. Артур не сильно расстроился. С матерью он уже повидался, и деньги были ему не особо нужны. Книги он брал в общественной библиотеке на Краун-стрит и целыми днями читал в парке неподалеку от Уэстлендс-роуд. Это было счастливое мирное лето, а в сентябре началась Вторая мировая война. Джордж-младший и Тедди сразу же записались в армию добровольцами. Артура призвали в 1943-м, но признали негодным к действительной службе из-за сильной близорукости. Он служил в качестве санитара в военном госпитале. Тедди погиб на Голд-Бич во время высадки

союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Оба Джорджа, старший и младший, как будто винили в этом Артура, словно его брат погиб лишь потому, что он сам не был на фронте.

После войны, к вящему неудовольствию отца, Артур получил стипендию и поступил в Оксфорд на философский факультет. Философию он выбрал исключительно по той причине, что этот абстрактный предмет являл собой полную противоположность отцовскому северному прагматизму. Как и следовало ожидать, он не вписался в компанию мальчиков из Итона и Харроу. Именно в Оксфорде он стал называть себя вторым именем. «Артур Бретуэйт» звучало непоправимо провинциально. «Коллинз Бретуэйт», как ему представлялось, звучало внушительно и солидно. Артур нарочно старался растягивать свои короткие даремские гласные и стал курить трубку вместо дешевых папирос. Разумеется, все это было притворством, но в этом притворстве он обрел определенную степень свободы. В Оксфорде он мог быть кем угодно. Вскоре он понял, что тот человек, которого он считал настоящим собой, — это просто конструкция. Человека нельзя отделить от среды и от прочих людей, с которыми он взаимодействует. Пока что вся его личность

или то, что он считал ею, была лишь реакцией на его окружение, а учеба на философском факультете — лишь слабой попыткой дистанцироваться от отца.

Его первым куратором был Айзая Берлин. В первом семестре Берлин всячески благоволил Бретуэйту, считая его одаренным студентом. Видимо, под впечатлением от его природного ума и бесстрашия. Однако в начале второго семестра Бретуэйт сдал ему курсовую работу по Декарту. Уже с первой страницы Берлину стало ясно, что работа никуда не годится; тезисы были небрежными и бессистемными; Бретуэйт излагал свои собственные, не подкрепленные аргументами мысли, не уделяя внимания собственно тексту. Возможно, со стороны Берлина это была благонамеренная попытка вывести одаренного ученика на новый уровень, но Бретуэйт воспринял критику в штыки. Возможно, Берлин напомнил ему об отце, который тоже всегда его критиковал. Возможно, он попросту не умел слушать, когда ему указывали на недочеты. Выросший с мыслью о своей недооцененной гениальности, он был еще недостаточно зрел, чтобы не раздражаться, когда кто-то оспаривает его мысли. Как бы там ни было, это стало началом конца его первой

попытки получить высшее образование. «Гениальному» Коллинзу Бретуэйту было непросто смириться с тем, что ему как студенту первого курса еще не положено выражать свои собственные, оригинальные мысли. Или, может быть, все было проще (и хуже): он был похож на отца даже больше, чем ему хотелось бы думать, и абстрактное мышление, необходимое для изучения философии, давалось ему с трудом. Кое-как продержавшись в университете полтора года, Бретуэйт бросил учебу. Он не стал сообщать о своем унижении отцу, а поехал в Лондон, где сменил несколько разных работ, не требующих никакой особой квалификации.

В 1948-м он присоединился к разъездной бригаде рабочих и уехал во Францию собирать виноград. После изысканно-чопорной атмосферы Оксфорда ему очень понравился безыскусный физический труд и дух товарищества среди простых работяг. Он быстро заговорил по-французски и вовсю наслаждался беззаботными, ни к чему не обязывающими сексуальными приключениями. Позже Бретуэйт писал, что до поездки во Францию его опыты в сексе были редкими и единичными и все заканчивалось «не посткоитальной сигаретой, а чувством вины и страхом

«быть застуканным». Во Франции никому не было дела до парочек, пылко сношавшихся где-нибудь в кустах или прямо посреди чистого поля. «Только вернувшись в Англию, — писал Бретуэйт с явной досадой, — я с удивлением узнал, что сексом следует заниматься исключительно в помещении». Однако он все же вернулся в Англию.

Он устроился на работу в военный госпиталь в Нетли близ Саутгемптона, где служил санитаром во время войны. Некогда обширный лечебный комплекс на 2500 коек теперь превратился практически в богадельню для травмированных ветеранов с пошатнувшейся психикой. Условия были кошмарными в прямом смысле слова. Пациентов держали в инсулиновой коме. Для профилактики эпилептических припадков в палатах никогда не зажигали электрический свет, так что врачам приходилось ходить с налобными фонарями. Младшему персоналу строго-настрого запрещалось разговаривать с пациентами.

Именно в Нетли Бретуэйт впервые столкнулся с шотландским психиатром Р. Д. Лэйнгом. Лэйнг, конечно, не помнил об их знакомстве — да и с чего бы ему было помнить? — но он произвел неизгладимое впечатление на юного санитара. До тех пор Бретуэйт не особо задумывался, что

и как, и был твердо уверен, что «сумасшедшие есть сумасшедшие, и люди в белых халатах знают, как лучше, и действуют в интересах своих пациентов». Но, наблюдая Лэйнга за работой, он изменил свое мнение: «Лэйнг был совсем не похож на врача; он не ходил как врач; и даже не «крякал» как врач». Подход Лэйнга к лечению психических заболеваний действительно был радикальным. Он разговаривал с пациентами на равных и даже интересовался их мнением о ходе лечения; иными словами, он относился к больным как к самоценным личностям, а не как к живым трупам, лишенным свободы воли. Опыт работы в Нетли определил дальнейшую карьеру и Лэйнга, и Бретуэйта. Позже Лэйнг писал: «Я начал подозревать, что электрошок и инсулин, не говоря уже о лоботомии и самой обстановке в психиатрической клинике, не столько лечат, сколько калечат психику, разрушают людей и сводят их с ума».

Для Бретуэйта больница в Нетли была местом, где «я осознал, что работаю не санитаром в лечебном учреждении, а надзирателем в тюрьме, где заключенных — не повинных ни в каких преступлениях — держат в условиях, которые запросто доведут до сумасшествия даже самого

крепкого разумом человека».

Лэйнг ушел из Нетли в 1953 году. Бретуэйт продержался еще несколько месяцев, пока окончательно не осознал, что тамошняя обстановка подрывает его собственное психическое здоровье. Ему снились кошмары, в которых он сам был пациентом психиатрической клиники. Открытые, солнечные пространства стали казаться ему угрожающими и гнетущими. Опыт работы в больнице вдохновил Бретуэйта вернуться в Оксфорд, где его приняли на факультет психологии, философии и физиологии, учрежденный при кафедре экспериментальной психологии в 1947 году. Учеба на психологическом факультете помогла Бретуэйту увидеть свои отношения с отцом в новом свете. В книге мемуаров «Я сам и прочие незнакомцы» он писал: «Мой отец вспоминал о своем опыте на войне как о веселых мальчишеских приключениях в стиле журнала «Только для мальчиков». Повсюду взрываются снаряды — БА-БАХ! — головы-руки-ноги летят во все стороны; сам бредешь по колено в крови и кишках убитых товарищей; пули свистят у виска. Но даже в детстве я понимал, что вся эта бравада — всего лишь маска, за которой скрывается неизлечимая травма, и что его неспособность усидеть

на месте, даже устоять на месте, — это своего рода бегство от демонов, не дающих ему покоя».

В свой шестьдесят пятый день рождения Джордж Бретуэйт сел в «Ягуар Марк VII» и поехал в Норт-Йорк-Мурс. Выпил виски и пинту биттера в гостинице «Буковый двор» в деревеньке Чоп-Гейт, потом проехал четыре мили до Фангдейл-Бека, где встал на обочине и выстрелил себе в рот из пистолета, который привез с войны его старший сын. Он не оставил предсмертной записки. Джордж-младший тут же продал семейный бизнес, запил по-черному, и через пять лет его тоже не стало. Даже по прошествии десяти лет Бретуэйт не нашел в себе ни капли сочувствия к брату: «Он был грубияном и хамом и слишком поздно сообразил, что прибил свой флаг к мачте тонущего корабля».

Бретуэйт периодически навещал мать. Элис переехала жить к сестре и казалась вполне довольной своей судьбой, однако с течением времени начала забывать сына. Случалось, она не вставала с постели по нескольку дней, а то и недель кряду. В конце концов она перестала узнавать Артура, и он прекратил свои редкие визиты. Если его огорчало нынешнее состояние матери, то он никак этого не проявлял. «Моя мать

фактически была мертва. Если кто-то другой поселился в ее бывшем теле, то что мне за дело до этого чужака?» Элис умерла в 1960 году. Несмотря на настояния тетушки, Бретуэйт не приехал на похороны.

Вторая тетрадь

Когда мне исполнилось десять, на день рождения мне подарили — как до этого Веронике — красивый дневник на пять лет. Маленький толстый блокнот в переплете из красной искусственной кожи с крошечным замочком. Только уже совсем вечером, когда я собиралась ложиться спать и сидела на краешке кровати, взвешивая в руках свой новый дневник, я поняла, что означал этот замочек: я вошла в возраст, когда мне разрешается иметь секреты. Теперь я достаточно взрослая, чтобы иметь право на мысли, которыми лучше ни с кем не делиться. Это, конечно же, полный вздор. Сколько я себя помню, у меня часто бывали противные, злые мысли, но этот замочек как бы давал мне особое разрешение. Теперь у меня появилась тетрадь, куда можно записывать даже самые гадкие мысли.

Кстати, вот что любопытно: насколько я знаю, мальчишкам не дарят подобные дневники. Мальчишки — незамысловатые создания. Они носятся как угорелые, кричат во весь голос, дерутся, гоняют мяч — шумные, неуправляемые *существа*, — а

девочки скромно сидят в сторонке и лелеют свои обиды. Мальчикам не нужны никакие секреты. Из них изливается все и сразу. Девочки почему-то обязаны держать все в себе. Десятилетняя, я уже тогда это осознавала, правда, пока еще смутно. Помню, как я открыла дневник у себя на коленях. Четные страницы были разделены на четыре равные части, нечетные страницы — на три. Место, отведенное для каждого дня моей жизни, было шириной буквально в два пальца. Если мне и разрешалось иметь секреты, никто явно не ждал, что их будет много. Также мне было ясно, что мой новый красивый дневник был ловушкой. Мне его подарили только затем, чтобы я разоблачила себя на этих страницах. Мама наверняка будет украдкой читать мой дневник, как я украдкой читала дневник Вероники (замочек легко открывался заколкой-невидимкой).

Записи в дневнике моей старшей сестры были скучными и неизменно позитивными. Она аккуратно записывала свои школьные оценки (всегда отличные); свои впечатления о прочитанных книгах (всегда положительные); свои размышления о чувствах к родным (всегда самые теплые). Мне ни разу не пришло в голову, что Вероника, возможно, не пишет всей правды; что она тоже

утаивает от мира свои темные, злые мысли. Все дело в том, что Вероника была образцово хорошей девочкой. Я даже и не особенно скрывала, что читаю ее дневник. В своей наивности она, кажется, не допускала и мысли о том, что кто-то хитренький — и уж тем более кто-то из близких — беззастенчиво воспользуется ее доверием. Я не разделяла ее наивности. Мне не хотелось вести дневник, но я знала, что если совсем ничего не писать, то тогда сразу станет понятно, что у меня есть нехорошие мысли, которые нельзя доверить бумаге. Поэтому я уселась за стол, заполнила личные данные на титульной странице и принялась за работу. Вот первая запись в моем детском дневнике:

Суббота, 10 июня 1951 года

Сегодня мой день рождения, мне исполнилось 10 лет, и мне подарили этот дневник, куда я постараюсь правдиво записывать свои мысли и чувства в ближайшие пять лет. Еще мне подарили новое платье, которое я надену завтра. После обеда мы ходили в Ричмонд-парк, и папа купил мне мороженое. Сначала погода была хорошая, а потом пошел дождь, и мы спрятались под деревьями. Мама сказала, что надо было взять зонтик.

И в том же духе еще два года. Каждая запись начиналась с упоминания о погоде. Далее следовал ряд замечаний, вдумчивых и серьезных, на тему того, как прошел школьный день, что мы ели на ужин, а по воскресеньям — куда нас с Вероникой водили гулять. В краткий период моего увлечения орнитологией я записывала всех птиц, которых видела на прогулке. Любой, кто прочел бы эту бессодержательную ерунду, наверняка сделал бы вывод — причем совершенно оправданный, — что я была самой скучной девчонкой на свете. Однако весь мой дневник был одной большой выдумкой. По сути, я создала литературного персонажа — почти как писатель, сочиняющий вымышленные миры, — но для единственного читателя. Я не то чтобы писала неправду. Насколько я помню, все, о чем я писала в своем дневнике, происходило на самом деле. Просто все это, взятое вместе, создавало совершенно ложное впечатление. Настоящая правда заключалась не в том, что я записывала в дневник, а в том, о чем я умалчивала.

В двенадцать лет я окончательно забросила свой дневник. Это было не то чтобы сознательное решение: все, больше я ничего не пишу. По крайней мере, я такого не помню. Думаю, мне

попросту стало скучно. Однажды за ужином мама спросила как бы между прочим, продолжаю ли я вести дневник. Я сказала, что да, зная, что она все равно не сможет мне возразить. «Хорошо, — сказала она. — Очень важно записывать, что с тобой происходит. С возрастом многое забывается». Перечитывая свои детские записи, я совершенно не вижу смысла вспоминать, что 20 октября 1952 года одиннадцатилетняя я увидела на улице птичку пеночку. Записывая в дневник то или иное событие, мы придаем ему некую особую значимость, но в жизни, как правило, не так уж и много по-настоящему значимых событий, и получается, что дневниковые записи — это, по сути, пустое тщеславие и ничего больше.

Однако теперь я думаю иначе. Вовсе не потому, что считаю, будто бы моя жизнь обрела больше важности. Но когда я запираюсь у себя в комнате и открываю тетрадь, мне больше не нужно подвергать свои мысли цензуре. Если я захочу записать неприличное слово или какую-то грязную мысль, я вольна это сделать. Разве не в том заключается смысл личного дневника, чтобы выражать свои мысли свободно и честно? Кстати, перечитав мои записи в предыдущей тетради, я пришла к выводу, что до сих пор сдерживаю

себя из чувства приличия, хотя теперь мне не надо бояться, что мама украдкой прочтет мои откровения. Могу сказать только одно: отныне и впредь я постараюсь ничего не утаивать и писать все как есть.

[Следующие две страницы вырваны из тетради]

Самоубийство близкого человека каждого превращает в мисс Марпл. Невольно ищешь повсюду улики. Разумеется, ищешь их в прошлом, потому что у человека, покинувшего этот мир, нет ничего кроме прошлого. Как я уже говорила, никто не поверил бы, что Вероника способна покончить с собой, хотя бы потому, что она была донельзя скучной. Самоубийцы представляются нам этакими отчаянными, безрассудными, измученными существами с лихорадочным блеском в глазах. Вероника была совершенно другой. По крайней мере, *казалась* другой. Возможно, тот образ, который она являла миру, был таким же вымышленным, как мой персонаж, придуманный для детского дневника. Возможно, существовала еще одна, настоящая Вероника, надежно спрятанная от всех. Когда такой человек, как Вероника, бросается под поезд с моста, он сразу видится в новом

свете. Сразу становится интересным. И когда ты начинаешь вникать в его жизнь и рассматривать под лупой каждую мелкую деталь, даже самые простые события приобретают новую глубину.

Я не горжусь этим признанием, но известие о «нервном срыве» моей старшей сестры я приняла с тайным злорадством. Ей было двадцать три года, она училась в аспирантуре в Кембридже, окончив с отличием основной университетский курс. Она собиралась замуж за младшего преподавателя со своего факультета, с которым у нее сложились до зубовного скрежета гармоничные отношения. Где-то за месяц до срыва она пригласила своего драгоценного Ланка к нам домой на воскресный обед, что само по себе было неслыханно. Но когда Питер спросил у отца, могут ли они переговорить наедине, я поняла, что готовится что-то совсем уж зловещее. Мы с Вероникой молча сидели в гостиной, пока мужчины беседовали в папином кабинете. Я осуждающе поглядывала на сестру, но она избегала смотреть мне в глаза. Миссис Ллевелин выставила на стол праздничные бокалы и хрустальный графин с хересом, который в мирное время хранился в буфете в столовой от одного Рождества до другого. Вот тут я и задумалась. Видимо, папа заранее знал, что сегодня

произойдет, и предупредил миссис Ллевелин. Вряд ли она стала бы распоряжаться хозяйским хересом по собственному почину. Мужчины вернулись в гостиную минут через десять. Вероника поднялась с дивана и вопросительно посмотрела на папу. Он улыбнулся и обнял ее, чего в нашей семье до сих пор не случалось: у нас как-то не принято демонстрировать нежные чувства друг к другу. Он произнес небольшую речь, поприветствовал нового члена семьи в лице Питера и пожелал будущим новобрачным долгих лет счастья. Будущие новобрачные сидели рядышком на диване, словно позируя для снимка в глянцевом женском журнале. Вероника сжимала двумя руками мясистую лапищу Питера. Отец настоял, чтобы миссис Ллевелин тоже выпила с нами хереса. Как положено, поломавшись для виду, она согласилась, после чего сразу умчалась на кухню — следить, чтобы не подгорело жаркое.

Наверное, я должна была радоваться за сестру, но я не могла удержаться от мысли, что все ее достижения происходят единственно из желания показать, что она во всем превосходит меня. Она не только училась в аспирантуре, но еще и умудрилась раздобыть себе жениха многочисленных неоспоримых достоинств. Так что, когда я узнала

о ее «нервном срыве», я, конечно, злорадствовала про себя. И меня вряд ли можно за это винить. Ее безупречная облицовка наконец дала трещину.

Одним погожим воскресным утром мы с папой поехали в санаторий на окраине Кембриджа, где Вероника проходила лечение. По дороге мы большей частью молчали. Папа держал во рту незажженную трубку и вел машину в своей обычной сдержанно-сосредоточенной манере. Он выразил мнение, что Вероника просто переутомилась и что при ее достижениях это неудивительно. Я смотрела в окно на безликие пейзажи Хартфордшира. Мне представлялся хрестоматийный Бедлам, где пациенты, одетые только в халаты, испачканные фекалиями и рвотными массами, сидят, прикованные цепями к каменным стенам, и кровь стынет в жилах от душераздирающих криков, разносящихся по коридорам. Грубые крепкие надзиратели в засаленных кожаных жилетах патрулируют этажи и периодически избивают несчастных психов. Вероника, как мне представлялось, сидит в полном ступоре, пускает слюни и, не обращая внимания на творящийся вокруг хаос, неразборчиво бормочет себе под нос математические формулы. В моих темных фантазиях я тоже была пациенткой, корчилась, туго

связанная смирительной рубашкой, на узкой койке из голых досок; ремень, забившийся между ног, создавал трение для тайного удовольствия. Удовольствия от пленительного усмирения, которого никогда бы не оценила моя сестра.

Сказать, что я была разочарована, когда мы подъехали к клинике Берлингтон-хаус, это вообще ничего не сказать. Это был никакой не Бедлам, а скорее поместье Мандерли. Казалось, что на крыльцо под колоннами сейчас выйдет Макс де Уинтер в окружении своих спаниелей. И все же внешность бывает обманчивой, так я себе говорила. Кто знает, какие ужасы скрываются внутри? Считая свежие фрукты лучшим лекарством от любого расстройства ума, отец заказал большую фруктовую корзину в «Фортнум и Мэйсон» и теперь велел мне забрать ее с заднего сиденья. Мы поднялись на крыльцо, и отец позвонил в дверь. Мы встали чуть поодаль от двери, чтобы нас не приняли за каких-нибудь коммивояжеров. К нам вышла дородная матрона с волосами, собранными в аккуратный пучок. Отец сообщил ей о цели нашего визита. Нас провели в вестибюль с полом, выложенным черно-белой плиткой по типу шахматной доски, и попросили расписаться в книге посещений. Я записалась под вымыш-

ленным именем. Та же матрона сопроводила нас с папой в большую гостиную с окнами во всю стену, выходящую на открытую веранду.

Вероника сидела в кожаном кресле и читала книгу. У меня сложилось впечатление, что она приняла эту позу нарочно в ожидании нашего визита. Увидев нас, она изобразила притворное удивление и поднялась нам навстречу. Она была в кремовой блузке, шерстяной юбке и туфлях на низком каблуке. Увы, никаких следов рвотных масс и фекалий вроде бы не наблюдалось. И все же сестра похудела, как я отметила не без злорадства, и у нее под глазами лежали темные круги.

Она вытянула вперед обе руки и сказала:

— Папа! Тебе не стоило ехать в такую даль. У меня все хорошо. Зачем поднимать столько шума из-за ничего?

Я топталась за спиной у отца, вцепившись в ручку корзины с фруктами.

— И ты тоже приехала! — воскликнула Вероника и протянула мне руку. Я на миг прикоснулась к ее вялым пальцам.

Красавец-жених тоже шагнул нам навстречу. Он пожал руку отцу и расцеловал меня в обе щеки на французский манер.

— Она у нас молодец! — радостно объявил

он. — Уже пошла на поправку, и скоро можно готовиться к выписке.

— Вообще-то мне здесь даже нравится, — сказала Вероника. — Может быть, я нарочно прикинусь больной на всю голову и задержусь тут подольше. — Она высунула язык и закатила глаза, изображая тихое сумасшествие. Мы все рассмеялись.

Затем последовала продолжительная суматоха с перетаскиванием кресел, и наконец мы все уселись вокруг журнального столика, на который я водрузила корзину с фруктами. Вероника принялась перебирать ее содержимое, называя вслух каждый фрукт, точно Ева в Эдемском саду. Можно было подумать, что она никогда в жизни не видела ананас.

— Ты так исхудала, — сказал отец. — Наверное, поэтому все и случилось. — Он обратился к Питеру: — Ты проследишь, чтобы она ела нормально?

— Конечно, сэр, — ответил он, словно она была поросенком, которого надо откармливать на убой.

Я оглядела гостиную. У окна сидел молодой парень в халате поверх пижамы. Он читал книгу, совершенно не обращая внимания на нашу шумную компанию. С виду он был совершенно

нормальным. Если увидишь такого в обычной одежде за столиком в кафе, никогда не подумаешь, что он сумасшедший. Пока папа расспрашивал Питера о здешнем питании, я потихонечку встала, обошла комнату по кругу, как бы случайно остановилась с ним рядом и заметила:

— Вам бы стоило выйти на улицу.

Меня саму покоробил собственный назидательный тон. Так могла бы сказать моя мама.

Парень медленно поднял голову и посмотрел на меня, хотя мне показалось, что скорее *сквозь* меня.

— Сегодня такая чудесная погода, — добавила я для разъяснения.

Он рассеянно глянул в окно.

— Да, наверное.

Я подтянула к окну стул и села спиной к своему семейству. Ни папа, ни Вероника, кажется, и не заметили, что я покинула их компанию. Парень наклонился вперед, словно хотел прошептать что-то мне на ухо. Его книга упала на пол. Она была на французском. Как интересно! Он был совсем не похож на душевнобольного, и я постеснялась спросить, от чего он тут лечится. В нем было что-то от поэта-романтика. Может быть, он страдал от разбитого сердца.

Я сказала ему, как меня зовут.

— Это моя сестра, — сообщила я шепотом. — У нее был нервный срыв.

— А, Вероника, — ответил он, заметно оживившись. — Она хорошая.

— Да, — сказала я, — но совершенно безумная.

— Она вроде бы учится в Кембридже.

— Она так сказала? — Я печально покачала головой. — Не верьте ни единому ее слову.

Парень взглянул в сторону столика, где проходила семейная встреча.

— А ее жениху? — спросил он. — Ему тоже не верить?

— Ее жениху? Это ее врач. Личный врач. Наш отец — миллионер.

Он посмотрел на меня совершенно пустыми глазами.

— Вы не сказали, как вас зовут, — заметила я.

— Вы медсестра? — спросил он с подозрением.

— Нет. Я вообще не отсюда.

— Я Роберт.

— Скажите мне, *Робер*. — Я произнесла его имя на французский манер. — Не хотите ли выйти со мной на веранду?

Он оглянулся через плечо.

— Кажется, это запрещено.

Я резко поднялась.

— Тогда я *сама* прогуляюсь.

Я думала, что он все-таки пойдет за мной, но он остался сидеть на месте и поднял с пола книгу. Я подергала ручку стеклянной двери. Она была заперта. Я пару секунд постояла и дернула ручку еще раз. Мне было лень возвращаться в вестибюль, выходить наружу и огибать здание по кругу лишь для того, чтобы доказать, что уж мне-то никто не мешает пройтись по веранде.

— Все равно, кажется, собирается дождь, — сказала я, пожав плечами.

Роберт как будто меня и не слышал. Он опять углубился в книгу, которую держал вверх тормашками. Я вернулась к своему семейству, и когда села в кресло, никто даже и не посмотрел в мою сторону. Пока меня не было, к ним пришел врач, импозантный мужчина под шестьдесят, с красным лицом и порезом от бритвы у одного уголка рта. Он объявил, что Веронике не нужно никакое лечение, кроме хорошего долгого отдыха. Месяца через два-три она полностью придет в себя. Что-то подобное часто случается с молодыми женщинами, которые слишком усердствуют в жизни. Было не совсем ясно, что означает «что-то подобное», но я не стала уточнять, и папа тоже не

стал. Вероника улыбалась блаженной улыбкой, словно гордилась своим излишним усердием в жизни.

На обратном пути, по настоянию папы, мы пообедали в ресторане в придорожной гостинице. Папино настроение заметно улучшилось. Он съел стейк, пирог с почками и выпил полпинты пива. Я заказала свиную отбивную с гарниром из молодого картофеля, так щедро сдобренным сливочным маслом, что лишнего фунта жира на бедрах было не избежать. Не считая нескольких брошенных вскользь замечаний об окружающей обстановке, мы ели молча. Нам с папой особенно не о чем говорить — и так было всегда, — но именно это молчание нас и роднит. Мы не испытываем потребности проводить наше время вдвоем за бессмысленной болтовней. Оглядев зал, я подумала, что посторонние люди, возможно, принимают нас с ним за любовников.

В то время я как-то не слишком задумывалась о нервном срыве Вероники. Как и предсказывал Питер, она быстро поправилась и уже через пару недель вернулась в Кембридж. Дома мы это не обсуждали. Но после ее смерти я поневоле задумалась: может быть, тот нервный срыв был предвестником грядущей беды. Как я понимаю,

всем людям свойственно просеивать прошлое в поисках объяснения для настоящего. Я совершенно не разбираюсь в психиатрии, но, кажется, эти копания в прошлом составляют самую суть и основу темных психиатрических искусств. Именно в прошлом скрываются засекреченные подсказки, которые могут расшифровать только невозмутимые, бородатые доктора.

У доктора Бретуэйта не было бороды, и пока что он не проявлял никакого особенного интереса к скрытым сокровищам моего прошлого. Честно признаюсь, что после первого визита я считала себя жутко умной и ужасно собою гордилась. Ребекка, как мне показалось, заморочила голову Бретуэйту, и он даже не заподозрил подвоха. Но за неделю, прошедшую между первым и вторым сеансом, я поняла, что мой план никуда не годится. Да, я на собственном опыте убедилась, насколько сильна его личность, но не узнала ничего существенного о Веронике, ради чего, собственно, все затевалось. Похоже, Ребекке Смитт надо вооружиться чем-то потяжелее смутного ощущения тревожности. Я решила, что у нее будет склонность к саморазрушению. Всю неделю я мысленно репетировала нашу будущую беседу. Я засыпала и просыпалась с мыслями о Коллинзе

Бретуэйте, он снился мне каждую ночь.

Я решила, что хватит актерствовать. Никаких больше рваных чулок и растрепанных волос. Отныне и впредь я буду, насколько возможно, придерживаться правды. Я не без удовольствия готовила Ребекку к следующему визиту. Шелковый шарф был извлечен из кармана пальто. Ее макияж был безупречен. Я тщательно рассмотрела себя в зеркале в туалете на лестничной площадке рядом с кабинетом мистера Браунли и пришла к выводу, что Ребекка выглядит идеально. Настоящая светская девушка. Не будь моя цель настолько серьезной, я бы, наверное, веселилась вовсю.

В поезде по дороге на станцию Чок-Фарм мне улыбнулся мужчина в светло-сером костюме. Я не отвела взгляд, как сделала бы обычно, а посмотрела ему прямо в глаза. Именно так поступила бы Ребекка. Мужчина ничуть не смутился. С виду вполне респектабельный джентльмен. Лет сорока, может, чуть больше, с намечающейся сединой на висках.

В левой руке он держал сложенный плащ, перекинутый через локоть, в правой — сегодняшний номер «Таймс». Его взгляд задержался на моих коленках, потом неспешно поднялся вверх. Он

смотрел на меня в упор. У него на губах играла лукавая улыбка. Он приподнял одну бровь. Я поднесла руку к лицу, чтобы скрыть румянец смущения. Я уставилась в дальний конец вагона, но всю дорогу чувствовала на себе его взгляд. Может быть, именно так начинаются тайные связи? Поезд уже приближался к моей остановке. Я украдкой взглянула на того мужчину. К моей вящей досаде, он увлеченно читал газету и, похоже, совсем обо мне позабыл. Он даже не посмотрел в мою сторону, когда я выходила. Наверное, я как-то не так сыграла свою роль в этой игре. Тем не менее я испытала определенное возбуждение, словно мы с ним заключили негласную тайную договоренность. Возможно, позже, засыпая рядом с женой, он вспомнит Ребекку и будет думать о ней.

Никаких наводнений, пожаров и прочих непредвиденных катастроф, на которые я заложила время, так и не случилось, и я опять оказалась в окрестностях Эйнджер-роуд гораздо раньше назначенного часа. Как и в прошлый раз, колокольчик над дверью кафе возвестил о моем приходе. Единственным посетителем, кроме меня, была молодая женщина в шляпке-таблетке, уныло глядящая на недоеденный шоколадный

эклер у себя на тарелке. Было не очень понятно, из-за чего она так грустит: то ли из-за того, что от эклера осталась всего половинка, то ли из-за того, что она уже съела одну половину и теперь сожалеет о потребленных калориях. Столик у окна был свободен, но я села за свой прежний столик в глубине зала. Как в прошлый раз, я заказала маленький чайник чая и булочку с джемом. Мне совсем не хотелось есть, но если уж я похвалила здешнюю выпечку, то было бы странно не взять ничего в этот раз. Когда миссис Глинн принесла мне заказ, она выжала из себя вялую улыбку и сумела поставить тарелку на стол, не уронив на пол столовые приборы. Кстати, мое желание сесть за столик, который я про себя называла столиком миссис Александр, возникло вовсе не из стремления смотреть в окно. Просто я втайне надеялась, что Том (или как его звали) пройдет мимо кафе по дороге в свою фотостудию. Тут надо честно признаться, что я, конечно, не думала, что на пути к Бретуэйту меня задержит пожар, наводнение или вспышка чумы. Я приехала раньше, потому что надеялась на встречу с Томом. Я через силу жевала булочку, не сводя глаз с окна, но он так и не появился. Может, и к лучшему. Все равно я не знаю, что стала бы делать, если бы он

прошел мимо кафе. Женщина в шляпке-таблетке поднялась и ушла. С моего места мне было не видно, доела она эклер или нет. Но, наверное, доела, хотя бы лишь для того, чтобы не навлечь на себя недовольство грозной миссис Глинн. Уже близилось время сеанса. Я расплатилась по чеку и оставила два пенса на чай, как в прошлый раз.

Когда я собралась перейти улицу, кто-то окликнул Ребекку по имени. Причем дважды. На второй раз я обернулась. Ко мне бежал Том, подняв в приветствии правую руку.

— Ребекка, — повторил он, остановившись передо мной. Не уверенная, правильно ли я запомнила его имя, я лишь улыбнулась в ответ. Я надеялась, что миссис Глинн наблюдает за нами в окно.

— Значит, вас не отправили в дурдом? — спросил он.

— Очевидно, что нет, — сухо ответила я.

Он секунду помедлил и проговорил:

— Как удачно мы встретились. Это просто подарок судьбы. Я тут подумал… раз уж нас снова свела счастливая случайность, может быть, вы не откажетесь со мной выпить? — Он выпалил эти слова так, словно они не давали ему дышать, застряв в горле, а тут какой-то прохожий внезап-

но хлопнул его по спине.

Я смотрела на него, словно бы удивленная его дерзостью. Он и вправду был очень хорош собой. Он провел рукой по подбородку, заросшему темной щетиной. Кажется, он сегодня не брился. Мой отец неукоснительно бреется каждый день. Когда я была маленькой, он ставил меня на табурет в ванной, давал мне помазок, похожий на аккуратно подстриженный хвостик пони, и разрешал намылить ему щеки. Он кривил лицо, чтобы натянуть кожу, а мне казалось, что он корчит рожи, и я повторяла за ним, наблюдая с нарастающим напряжением, как он водит бритвой по горлу. Если ему случалось порезаться, он только цокал языком и просил передать ему чистую тряпочку, чтобы промокнуть ранку. Потом он умывался, и вода в раковине становилась розовой, как ополаскиватель для рта в стоматологическом кабинете. Я много лет думала, что это и есть вода с кровью, и отказывалась полоскать рот, когда меня водили к зубному врачу.

— Так что? — спросил Том.

— Почему бы и нет? — ответила я, стараясь выдержать небрежный тон.

— Отлично, — сказал он. Мы договорились встретиться в пабе «Пембриджский замок», на

этой же улице. — В половине седьмого вам будет удобно?

Я лишь молча кивнула, поскольку уж точно не стала бы признаваться, что никогда в жизни не бывала в пабе. Вернее, кивнула не я, а Ребекка.

— Значит, до вечера, — сказал он, словно все это было в порядке вещей. Он пошел прочь, держа руки в карманах пальто. Как я поняла, он уже думал о чем-то своем.

Дейзи радушно меня поприветствовала. Она была из тех редких непробиваемо жизнерадостных созданий, которым неведомы тревоги и горести остальных смертных. В ней воплотилась та самая безобидная, девчоночья непосредственность, которая так нравится мужчинам в молоденьких девушках, и это сказано ей не в упрек. Если у меня когда-нибудь будет подруга, мне бы хотелось, чтобы она была такой, как Дейзи. Дейзи не станет надо мной насмехаться или ставить меня в неловкое положение. Она будет одалживать мне чулки, не требуя ничего взамен. Если мы соберемся в кино, она позволит мне выбрать фильм, а если мы пойдем в кафе, то она обязательно скажет, что каждый платит за себя. Я представила нас двоих в образе семидесятилетних старушек — так никогда и не вышедших

замуж — в какой-нибудь обветшавшей сельской гостинице, где мы делим счет пополам и ругаем себя за то, что растратили друг на друга свои драгоценные жизни. Мне заранее стало смешно. Тем не менее, памятуя о своей главной цели, я могла бы попробовать заручиться ее поддержкой. Мне вовсе не помешает союзница в лице секретарши доктора Бретуэйта. Вот почему я похвалила ее кардиган (который, если по правде, был мятно-зеленым и совершенно кошмарным). Дейзи оторвалась от пишущей машинки и вопросительно посмотрела на меня. Похоже, за стуком клавиш она не услышала, что я сказала. Я повторила свой комплимент.

Она поблагодарила меня за добрые слова, но не продолжила разговор о кардигане. И не похвалила в ответ мой наряд, как это принято у вежливых людей. Но я все равно проговорила:

— Вы, наверное, купили его в «Хитоне»?

Никаким «Хитоном» там даже не пахло, но мое замечание привело к желаемому результату.

— Божечки, нет, — ответила Дейзи. — Я связала его сама. По схеме из журнала.

— Какая вы молодец!

— Могу дать вам схему.

— Я совсем не умею вязать, — сказала я и за-

чем-то добавила: — Может быть, если бы я умела вязать, мне бы и не понадобилось лечить голову.

Дейзи улыбнулась, но в ее взгляде явно сквозила жалость. Она ничего не сказала и продолжила печатать. Я утешила себя мыслью, что, если я изображаю психически ненормальную, от меня, в общем, и ждут маразматических замечаний. И все же мне было стыдно, что я низвожу Ребекку до своего уровня. Такая разумная, уравновешенная девушка, как Дейзи, никогда не подружится с такой недотепой, как я. Ее предложения одолжить мне чулки или схему вязания происходят отнюдь не из дружеских чувств. Просто она рассудила, что я буду ходить к доктору Бретуэйту еще очень долго, и, стало быть, у меня будет много возможностей их вернуть.

Надрыв на обоях над столом Дейзи так никто и не подклеил. Я рассматривала его и пыталась понять, не стал ли он больше. Свисающий вниз бумажный треугольник напоминал бледный язык. Поскольку я еще в самом начале решила ничего не скрывать, я должна записать мысли, которые приходили мне в голову, пока я смотрела на этот «язык». Я читала о практиках (эротических практиках, я имею в виду), подразумевающих стимуляцию половых органов

языком. Не знаю, правда это или выдумка. Лично мне было бы неприятно и даже страшно касаться губами и языком чьих-то чужих гениталий. Но иногда, когда я ублажаю себя рукой, я облизываю кончик среднего пальца и представляю, что это не палец, а крошечный влажный язычок. Доктор Бретуэйт наверняка пришел бы в восторг, если бы я рассказала ему об этом; психиатры, как известно, зациклены на сексе. Эта мысль меня рассмешила, и я тихонько хихикнула. Дейзи на миг оторвалась от пишущей машинки и улыбнулась все той же жалостливой, снисходительной улыбкой. Как мы знаем, безумцам свойственно смеяться без всякой причины.

Открылась дверь кабинета, и в приемную вышла мисс Кеплер. Снимая с вешалки шубу, она повернулась ко мне лицом. Наши взгляды встретились, но ее выражение не изменилось. Как я понимаю, в приемной у психиатра не принято вести светские беседы, и, будучи здесь неофитом, я не хотела нарушить одно из неписаных правил. Как и в прошлый раз, мне пришлось подождать еще пару минут, прежде чем Дейзи сказала, что мне уже можно пройти в кабинет.

Доктор Бретуэйт сидел на подоконном диванчике, точно по центру: руки раскинуты по спинке,

ноги расставлены до неприличия широко. Он радушно со мной поздоровался, но не встал мне навстречу. Он обвел комнату широким жестом, мол, не стесняйтесь, садитесь. Я осталась стоять где стояла. Бретуэйт не сводил с меня пристального взгляда, и у меня появилось ощущение, что меня подвергают какому-то испытанию.

— Что-то не так? — спросил он через пару секунд.

— Вы сидите на моем месте, — ответила я.

— Что, правда? — проговорил он с невинным видом.

— А то вы не знаете, — сказала я. — Вы нарочно сели на мое место, чтобы сбить меня с толку.

Я решила, что Ребекка — такой человек, который высказывает все, что думает. В этом смысле она была моей полной противоположностью. Я привыкла держать свои мысли при себе. Иногда из соображений приличий (есть вещи, о которых просто не говорят вслух), но чаще, чтобы не раскрывать карты; если ты открываешься перед людьми, то становишься более уязвимой. В любом случае, как я давно поняла, окружающим все равно, что я думаю. Когда мистер Браунли убегает на важную встречу (он вечно всюду опаздывает) и спрашивает у меня, хорошо ли он выглядит, он

не хочет услышать, что его рубашка совсем не подходит к костюму или что его галстук испачкан в соусе. Он хочет услышать, что замечательно выглядит, и именно так я ему и говорю. Но Ребекка Смитт не стала бы щадить его чувства. Она сказала бы прямо, что он похож на неопрятного нищеброда. Впрочем, Ребекка никогда бы и не стала работать на мистера Браунли.

— Сбить вас с толку, — задумчиво проговорил Бретуэйт. — Интересная фраза. Можете объяснить поподробнее, что именно вы имеете в виду?

Я продолжала стоять в центре комнаты.

— Сначала я хочу сесть на свое место, — сказала я.

Он чуть поморщился, словно был раздосадован моим упрямством, потом поднялся с диванчика и указал на него рукой, мол, садитесь, пожалуйста. Когда я уселась, он повторил свой вопрос. Я ответила, что, по-моему, и так очевидно, что именно я имела в виду, и если он будет и дальше придираться к каждому моему слову, то мы никогда ни к чему не придем.

— А к чему вы хотите прийти? — спросил он.

Он сам остался стоять и по-прежнему не сводил с меня глаз. Я достала из сумочки сигареты и

закурила. Он уселся в неудобное с виду плетеное кресло. Только теперь я заметила, что он был босиком. Он сидел, скрестив лодыжки, и молча ждал.

— Честно сказать, я не знаю, — наконец произнесла я.

— Но вы все же хотите к чему-то прийти?

— Иначе я не обратилась бы к вам.

— И все же, когда вы вошли, вас возмутило, что я занял место, которое вы считали своим лишь на том основании, что сидели там в первый раз. Любой другой на вашем месте наверняка был бы рад сесть в другом месте, но вам захотелось вернуться туда, где вы уже были раньше. — Он секунду помедлил и поднял руки, словно сдаваясь. — Ладно, признаюсь вам честно. Я и вправду пытался сбить вас с толку, Ребекка. Так сказать, выбить из колеи. Собственно, в этом и заключается моя работа. Вы жаловались на тревожность. Но если вам хочется избавиться от тревожности, значит, надо что-то менять. Однако вы не пытаетесь что-то менять. Вы держитесь за свои устоявшиеся привычки, хотя наверняка понимаете, что они-то и делают вас несчастной. И чем дольше вы держитесь за эти привычки, тем крепче они будут укореняться. Я не верю, что вам так уж понравился этот диван

— на самом деле он чертовски неудобный, — но вам все равно хочется сесть на знакомое место вместо того, чтобы попробовать что-то новое.

Это правда. Диванчик был на редкость неудобным. Сиденье продавлено: как ни садись, все равно в ягодицы упрутся пружины. Бретуэйт поднялся с кресла и дал понять, что мне тоже надо бы встать. Я осталась сидеть. Меня задели его слова, но если бы я начала возражать, то тем самым признала бы его правоту. Ребекка Смитт не из тех, кого можно шпынять. Я сказала, что мне очень даже удобно.

— Откуда вы знаете, что на другом месте не будет удобнее?

Он смотрел на меня в упор, но я не отвела взгляд.

— Я вас поняла, — сказала я. — Но вы вряд ли чего-то добьетесь, если заставите меня пересесть.

Доктор Бретуэйт ответил, что он меня не заставляет. Он всего лишь предлагает мне выбор. Если я не хочу им воспользоваться, это, как говорится, моя проблема. Через пару секунд он пожал плечами и уселся на пол по-турецки. Насмешливо посмотрел на меня, но ничего не сказал. В такой ситуации даже две-три секунды покажутся вечностью. А без часов так и вовсе было непо-

нятно, сколько прошло времени. Я очень остро осознавала каждую деталь: пучок темных волос, торчащих из носа у Бретуэйта; облупившуюся краску на дверном косяке у него за спиной; пятно в форме моркови на потертом ковре; тихий шипящий свист, похожий на звук закипающего чайника и, видимо, исходивший от батареи; едва уловимый травяной аромат, поднимавшийся из нижней квартиры. Я даже подумала, что Бретуэйт меня гипнотизирует. Может быть, именно так ощущается гипноз: как всеобъемлющее замедление времени. Я прямо чувствовала, как моя воля слабеет и покоряется ему. Когда я снова скользнула взглядом по его лицу, он почти незаметно поджал губы. Я знала, что это значит. Он давал мне понять, что не сдвинется с места и будет молчать, сколько потребуется. До тех пор, пока я не решу пересесть. Мы оба знали, что эта пауза будет длиться ровно столько, сколько продержится мое упрямство.

Я сама не стала бы сопротивляться, но Ребекка Смитт никому не позволит на себя давить. Она сама кого хочешь переупрямит. Однако в данном случае у меня не было никакой альтернативы. Я поднялась и обвела взглядом комнату. Сначала я думала пересесть в плетеное кресло, но решила,

что лучше не надо. Плетеное кресло — олицетворение уюта. Мне не хотелось, чтобы Бретуэйт интерпретировал мой выбор как попытку устроиться поудобнее. Так что я выбрала наименее привлекательный вариант: стул с прямой спинкой, на котором сидел Бретуэйт в нашу первую встречу. Теперь я оказалась у него за спиной, вернее, за правым плечом. Я думала, что он поднимется с пола и сядет на подоконный диванчик, который я освободила, но он попросту развернулся ко мне лицом и уселся у моих ног, как ребенок в ожидании сказки. Я поняла его хитрость. Именно такого результата он и добивался. Поначалу я ощутила свое превосходство, потому что сижу как бы на возвышении, но потом до меня дошло, что теперь он может запросто заглянуть мне под юбку (к чему он, видимо, и стремился, когда с помощью манипуляций заставил меня пересесть на стул). Я еще плотнее сдвинула ноги и наклонила их вправо.

— Ну вот, мы оба удобно уселись, — сказал Бретуэйт, — а теперь давайте сыграем в игру.

— Я не люблю игры, — ответила я.

— Эта игра вам понравится, — твердо проговорил он. — Вы мне расскажете о своем самом раннем воспоминании, а я расскажу вам о своем.

— А если мне неинтересны ваши воспоминания?

Он выразительно посмотрел на меня. Я поняла, что мне надо хоть что-то ему рассказать, чтобы не выбиваться из роли пациентки с проблемной психикой. Странно было бы платить пять гиней в час и вообще ничего не говорить. Люди, посещающие психиатров, — как правило, законченные нарциссисты, — им только дай рассказать о своих детских переживаниях.

— Я не пытаюсь капризничать, — сказала я примирительным тоном. — Но как вообще можно определить, какое именно воспоминание самое раннее? Первые детские воспоминания, они всегда очень путаные, разве нет?

— Важно не то, точно ли это самое раннее воспоминание. Как вы верно заметили, выявить первое воспоминание в принципе невозможно. Важно то, что какое-то событие из детства накрепко врезалось в вашу память. Я вижу, вы уже знаете, о чем рассказать. Так что давайте не будем тянуть кота за яйца и займемся делом.

Я сделала вид, что меня не шокирует его лексикон. Ребекка — опытная, искушенная женщина. К тому же он, как обычно, был прав. Мне уже вспомнился один отвратительный случай. Мне

не хотелось рассказывать о себе слишком много, но, поскольку у меня нет таланта к притворству, я вряд ли сумела бы выдумать что-нибудь на ходу. В любом случае доктор Бретуэйт наверняка сразу раскрыл бы обман.

Мне тогда было года три или четыре, начала я. Мы с мамой пошли в «Вулворт». Когда мы проходили мимо прилавка с конфетами, я попросила купить мне пакетик фруктовой помадки. Мама сказала «нет». Мы еще не обедали, и конфеты испортят мне аппетит. Она повела меня дальше. Наверное, дело было зимой. Я помню, что была в красных резиновых сапогах и в теплом пальто. Из рукавов свисали варежки на резинке и хлопали меня по ногам. Линолеум под ногами был грязным и скользким. Когда мы пришли в отдел принадлежностей для шитья, я разрыдалась. Мне очень хотелось фруктовой помадки. Никогда в жизни я ничего не хотела так сильно, как эту помадку, и мамин отказ представлялся мне жуткой и беспричинной жестокостью. Я закатила истерику. От обиды, что мне не купили конфет. И чтобы все покупатели в магазине узнали, что моя мама — злая и бессердечная женщина. На нас оборачивались. Мама, которая ненавидела скандалы в общественных местах, наклонилась ко мне и

принялась уговаривать, чтобы я успокоилась. Голос у нее был ласковый, но при этом она больно щипала меня за руку. Я разревелась еще громче. Рядом с нами остановилась какая-то женщина и спросила, все ли в порядке. Мама ущипнула меня еще больнее. Я поняла, что мне не выиграть эту битву, и перестала реветь. Мама принялась рассматривать книгу с выкройками, а я стояла рядом с ней и растирала саднящую руку.

Вскоре я от нее ускользнула и вернулась к прилавку с конфетами. Встала на цыпочки, схватила пригоршню фруктовой помадки и быстро запихнула в рот. Потом схватила еще горсть и ссыпала ее в карман. Я, наверное, считала себя невидимкой. Когда я потянулась к помадке в третий или четвертый раз, ко мне подошел какой-то дяденька. Сперва я увидела его ноги. Потом подняла глаза. Дяденька строго на меня смотрел. Он спросил, собираюсь ли я заплатить за конфеты, которыми втихаря набиваю карманы. Возможно, он выразился по-другому, я точно не помню. Но смысл был такой. Я ничего не ответила. Только скорее запихала в рот те конфеты, которые держала в руке. Почти все упали на грязный пол. Я присела на корточки, чтобы их собрать. Дяденька взял меня за руку и поднял на ноги. Он спросил,

где моя мама. Я сказала: «Не знаю». Потом, видимо, понадеявшись на его жалость (его голос был вовсе не злым), я сказала, что я сирота. Он снова взял меня за руку и отвел в кабинет в глубине магазина, где были служебные помещения. В кабинет в дальнем конце коридора, где пахло сырыми опилками. У меня было чувство, что я уже никогда не выйду оттуда на волю. Дяденька поднял меня и усадил на высокий стул горчичного цвета. Там был стол, заваленный бумагами. Вдоль стен стояли пустые картонные коробки. Дяденька спросил, как меня зовут. Я была совсем маленькой и еще не умела врать. Я ответила ему правду. Он куда-то ушел. Я пыталась придумать, как можно сбежать. Там было маленькое окошко, высоко над столом. Если вскарабкаться на коробки, я, наверное, сумела бы протиснуться наружу. Но я знала, что далеко мне не уйти. Меня быстро найдут и поймают. Так что я просто сидела на стуле и ждала своей участи. Я ни капельки не сомневалась, что меня отправят в тюрьму и я уже никогда не увижу свою семью.

Через пару минут в кабинет вошла мама вместе с тем же дяденькой, который ее и привел. Она принялась горячо извиняться за беспокойство, которое я причинила сотруднику магазина. Она

взяла меня за руку и стащила со стула, видимо, полагая, что инцидент исчерпан. Но нет. Дяденька объяснил моей маме, что я украла конфеты, и велел мне вывернуть карманы. Мне вдруг ужасно захотелось по-маленькому, и я плотно сдвинула ноги, прижав колени друг к другу. Дяденька протянул мне ладонь, и я безропотно выгребла все, что было у меня в карманах. Я не решалась посмотреть на маму. Кубики фруктовой помадки, вынутые из карманов, были все в пыли и крошках. Мама вновь принялась извиняться. «Моя дочь никогда раньше такого не делала», — сказала она. Потом больно сжала мне руку и потащила к двери. Дяденька преградил ей дорогу.

— Прошу прощения, но вам придется заплатить за испорченный товар, — сказал он. — Вряд ли мы сможем продать эти конфеты после того, как они побывали в грязных карманах вашей дочери, верно? — Он слегка хохотнул.

Мама оскорбилась до глубины души. Как кому-то могло прийти в голову, что у ее дочери грязные карманы?! Она молча достала из сумочки кошелек и отдала строгому дяденьке два пенса, которые он с нее требовал. Еще он сказал, что должен забрать у нее соответствующую продуктовую карточку. Мама принялась

возражать, но дяденька был непреклонен: одно дело — обычное магазинное воровство, и совсем другое — незаконная торговля на черном рынке. Администрация «Вулворта» не допустит, чтобы их компанию обвинили в чем-то подобном. Мама отдала ему продовольственную книжку. Дяденька поискал ножницы, чтобы вырезать нужную карточку. Ножницы он не нашел и вернул книжку нетронутой, но мама все равно чувствовала себя совершенно униженной. Когда мы вышли из магазина, она завела меня в переулок и отшлепала по попе. В тот вечер за ужином она рассказала обо всем отцу, особо подчеркивая, как ей было за меня стыдно. Отец меня не ругал, только сказал мягким голосом, что я должна постараться не огорчать маму. На следующий день перед сном я нашла под подушкой маленький пакетик фруктовой помадки.

Вскоре после этого случая мама приобрела детскую шлейку. Эта была конструкция из тонких белых кожаных ремешков, которая надевалась мне на грудь, а к ремешкам на спине крепился поводок наподобие конской уздечки. Я уверена, что мама купила эту шлейку вовсе не из-за страха, что я убегу и потеряюсь. Просто ей не хотелось вновь испытать то унижение, которое

ей пришлось пережить в «Вулворте». Еще много лет, желая предостеречь меня от необдуманных поступков, она говорила мне так: «Нам не нужен еще один «Вулворт», верно?» Со временем эта присказка так прочно вошла в наш семейный жаргон, что никто уже даже не помнил, откуда она появилась. Она превратилась в универсальное предостережение против всякого действия, грозящего неприятными последствиями. Только когда мои школьные подруги начали поглядывать на меня с недоумением, если я произносила при них эту фразу, я поняла, что больше так никто не говорит.

Но я надолго запомнила эту шлейку. Если мама хотела меня наказать, то результат получился прямо противоположным. Мне нравилось ощущение ремешков на груди, и на прогулках я нарочно старалась отбежать подальше от мамы, чтобы натянуть поводок, и тогда ей приходилось сердито подтаскивать меня к себе, бормоча что-то насчет «еще одного «Вулворта». Когда меня так укрощали, я чувствовала приятное покалывание между ног, как бывает, когда хочется по-маленькому в туалет, но еще не очень сильно. Тогда я не знала слова «возбуждение», но это было именно оно.

Но прошло время, и мама вдруг объявила, что больше не будет водить меня на шлейке. Потому что я уже не малышка. «Если захочешь сбежать и попасть под автобус, значит, так тому и быть», — сказала она. Даже тогда я подумала, что она вовсе не так равнодушна к моей судьбе, как старается показать. Просто ей хочется лишить меня удовольствия от полюбившейся мне уздечки.

Я полностью погрузилась в пересказ этой глупой истории. Бретуэйт слушал очень внимательно и, кажется, даже не шевелился. Он не сводил с меня глаз, но я не чувствовала никакого стеснения. Зато, когда я дошла до конца, у меня появилось странное ощущение, будто бы я очнулась от глубокого обморока. Теперь мне стало понятно, почему разумные с виду люди охотно платят пять гиней в час за общение с доктором Бретуэйтом. История, которую я выбрала для рассказа, не имела для меня особенного значения. Как только я «пришла в сознание», я сразу так и сказала. У меня было чувство, что я слишком открылась и что Бретуэйт наверняка найдет в моих словах всякие скрытые смыслы. Смыслы, которых там нет. Но тут я ошиблась. Он попросил меня рассказать чуть подробнее о шлейке.

— Мне больше нечего рассказать.

Я не стала ему говорить, что она до сих пор висит на крючке в кладовой. И что в детстве, уже после того, как меня перестали водить на шлейке, я еще несколько лет приставала к Веронике с просьбами поиграть со мной в лошадку. Именно для того, чтобы надеть на себя эту шлейку. Честно сказать, я и теперь не отказалась бы сыграть в лошадку.

Бретуэйт не стал на меня давить. Его прежний задиристый тон сменился вкрадчивой мягкостью. Даже его голос стал не таким резким.

— Но вы сказали одну интересную фразу, — проговорил он. — «Удовольствие от уздечки». Да, весьма интересная фраза. Вам действительно нравится, когда вас держат в узде?

— Я не говорила, что мне это нравится, — ответила я. — Я рассказывала о своих детских переживаниях. В них нет никакого особенного значения.

— И все же вам вспомнился именно этот случай, — сказал он.

Я вдруг почувствовала себя беззащитной и голой.

— «Лишить меня удовольствия от полюбившейся мне уздечки», — повторил он. — Прекрасная формулировка, осмелюсь заметить. Вы не про-

бовали записывать свои мысли? Вести дневник или что-то вроде того?

Втайне мне было приятно, что он одобрил мой слог.

— У меня нет никаких литературных амбиций, — сказала я и предложила ему использовать эту фразу в его следующей книге с описанием случаев из практики.

Он пропустил это колкое замечание мимо ушей.

— Я говорю не о том, что кому-то захочется читать ваши записи, — сказал он. — Просто это могло быть полезно лично для вас.

Я достала из пачки сигарету, закурила и медленно выдохнула дым.

— Насколько я понял, у вашей матери был сложный характер, — сказал он. — Вы с ней были близки?

— Разве у маленького ребенка есть выбор? — ответила я.

Бретуэйт заметил, что это весьма интересный ответ.

— Мне было пятнадцать, когда она умерла, — сказала я.

— Вы не хотите об этом поговорить?

Я поняла, что мы ступаем на опасную почву, и

заметила, что мой час, наверное, уже закончился. Бретуэйт сказал, что он не из тех терапевтов, кто считает каждую минуту.

Я не могла сказать правду об обстоятельствах маминой смерти, поскольку они были настолько невероятны, что сразу раскрыли бы мою связь с Вероникой. Это случилось во время отпуска в Девоне. Папа называл этот курорт Английской Ривьерой, из-за чего тот казался еще более унылым. У нас с матерью было совсем мало общего, но мы обе искренне ненавидели поездки на отдых. Меня раздражали настойчивые призывы отца «заняться чем-нибудь интересным», а мама всегда ко всему придиралась: от еды в гостиничном ресторане до свежести простыней в номерах и цен на порцию чая со сливками. Папа старательно не замечал ее непрестанного ворчания, а я притворялась, что хорошо провожу время. Просто чтобы сделать папе приятное.

В тот день было солнечно, но очень ветрено. Мы спускались с утеса Баббакомб. Вероника с папой ушли вперед и скрылись за поворотом на узкой тропинке. Они обсуждали геологические особенности рельефа, и я нарочно замедлила шаг, чтобы не слышать их разговор. Мама, которая ненавидела все виды активного отдыха, шла ярдах в

пяти впереди меня. Когда идешь следом за кем-то по узкой горной тропинке на крутом склоне, невозможно не думать о том, чтобы столкнуть его вниз. Я как раз воображала, как это будет (двумя руками — и в спину), и тут мама вдруг обернулась ко мне, чтобы убедиться, что я никуда не пропала, и оступилась. Несколько долгих секунд она балансировала на краю обрыва, размахивая руками в тщетной попытке сохранить равновесие, и упала спиной вперед. Прямо на острые камни внизу. У нее на лице не было выражения страха, только усталой досады, как бывало, когда я позорила ее на людях. Удивительно, сколько мыслей проносится в голове за какие-то доли секунды, но в тот коротенький промежуток между мгновением, когда она оступилась и когда начала падать, я успела о многом подумать и пришла к выводу, что если я попытаюсь ее удержать, то, скорее всего, упаду вместе с ней. Поэтому я просто застыла на месте и наблюдала, что будет дальше. Дело даже не в том, что у меня сработал инстинкт самосохранения. Просто мне не хотелось умирать такой неэстетичной смертью. В воображении мне рисовалось вовсе не мамино переломанное тело, а мое собственное: юбка задралась до пояса, трусы видны всякому ухмыляющемуся школяру,

которому случится пройти мимо. Тогда у меня был период страстного увлечения Китсом, и я, подобно своему кумиру, была мучительно влюблена в Смерть. Я собиралась покончить с собой до двадцати пяти. Но это должно было произойти в другом месте, в другое время, которое я назначу себе сама. Я уж точно не намеревалась прерывать свою жизнь неуклюжим падением с утеса в Девоне (где тут поэзия, где упоение небытием?). Нет, когда придет время, я войду в море — медленно, но решительно — с карманами, набитыми камнями, вонзив взгляд в горизонт. И ничего от меня не останется. Ничего. Лишь бирюзовый шелковый шарф будет качаться на волнах прибоя.

Я еще немного постояла на месте, потом огляделась по сторонам. Видел ли кто-нибудь, что сейчас произошло? На тропе было пусто. Я осторожно шагнула вперед и заглянула за край обрыва. Мама лежала внизу на камнях. Лежала на спине, вытянув руки по швам. Не будь она полностью одетой, можно было бы подумать, что она загорает (хотя она ненавидела загорать). Она была определенно мертва. Позже все отмечали, что я повела себя очень спокойно. Я не стала звать на помощь. Какой в этом смысл? Я не бросилась сломя голову вниз по тропинке, рискуя собственной жизнью.

Я просто пошла вперед быстрым шагом. Отец с Вероникой ждали нас на скамейке. Когда я подошла, папа спросил, где мама. Я сказала как есть. Он с недоверием посмотрел на меня и помчался обратно по горной тропинке, позабыв о всякой осторожности. Я чуть не крикнула ему вслед, что уже незачем торопиться. Когда папа вернулся, у него в лице не было ни кровинки. Он схватил нас с Вероникой за руки и повел прочь. Он сжимал мое запястье так крепко, словно винил меня в произошедшем. Вероника расплакалась. Я тоже начала всхлипывать, но лишь потому, что того требовали обстоятельства. В полиции, когда я рассказала свою историю, никто не стал задавать мне вопросов. Позже, в ходе расследования, я повторила свои показания (к тому времени эти слова уже сами отскакивали у меня от зубов), и мировой судья, женщина средних лет, которая могла быть вполне привлекательной, если бы не ее жуткие старомодные очки в роговой оправе, сказала, что я повела себя образцово и ни в коем случае не должна винить себя в том, что случилось. Я опустила глаза и серьезно кивнула.

После каникул, когда мы с Вероникой вернулись в школу, я обнаружила, что мой статус среди одноклассниц значительно поднялся. Теперь

ко мне относились с таким же восторженным пиететом, с каким обычно относятся к девушкам, утверждающим, что они уже занимались «этим самым». Директриса, мисс Осборн, вызвала нас с Вероникой к себе в кабинет и сказала, что, если нам надо будет уйти с уроков, она заранее дает разрешение, но нам все же не стоит забрасывать учебу под предлогом горя в семье. Тут она посмотрела на мою сестру и добавила: «Особенно тебе, Вероника, ведь на тебя возлагают такие большие надежды».

Стоит ли говорить, что дома мы это не обсуждали. Отец вел себя так, словно ничего не случилось. В шкафу до сих пор висит мамина одежда, ее вещи на трюмо остались нетронутыми. Будь моя воля, я бы все собрала и сожгла, но папа, казалось, обретал в этих предметах некое меланхоличное умиротворение. Пару раз я наблюдала через щелку в двери, как он сидит перед трюмо и рассеянно трогает ее вещи. Я смотрела на него и чувствовала себя ужасно виноватой, как будто его несчастье — моих рук дело.

Поскольку говорить правду было нельзя, я сказала доктору Бретуэйту, что маму задавил автобус на Оксфорд-стрит. Седьмого маршрута. Я понятия не имела, ходит ли по Оксфорд-стрит

автобус седьмого маршрута, но мне казалось, что эта деталь придает достоверности моим словам. Бретуэйт был не похож на человека, который пользуется общественным транспортом.

— Седьмого? — переспросил он.

— Я не уверена, что именно седьмого. Меня там не было. Насколько я знаю, она выскочила на дорогу, не глядя по сторонам, ну и вот.

— Вы как будто не сильно горюете.

— Это было десять лет назад, — сказала я.

— А тогда? — спросил он.

— Что — тогда?

— Тогда горевали?

— Да, наверное. Я не помню.

Бретуэйт долго смотрел на меня. Он наверняка не поверил ни единому моему слову. Да и кто бы поверил?

Потом он резко поднялся на ноги, как марионетка, которую резко дернули за невидимые нити. Я решила, что так он дает мне понять, что сеанс окончен. Я взяла сумку и вышла из кабинета. Бретуэйт не сказал мне ни слова. Он, похоже, ни на секунду не сомневался, что я вернусь на следующей неделе.

В этот раз, выйдя на улицу, я не чувствовала необходимости повторять свое глупое представ-

ление, как на прошлой неделе. Я и так сделала более чем достаточно, чтобы убедить Бретуэйта, что у меня плоховато с головой. Однако я все же помедлила, чтобы осмотреть свое творение. Сняла перчатку и провела пальцами по фонарному столбу в том месте, где в прошлый раз обработала его пилкой. Оно было приятно гладким. И тут улица вдруг покачнулась. Поначалу она лишь слегка всколыхнулась, словно по тротуару прошла волна, еле заметная, но все равно ощутимая. Я прижалась ладонью к столбу и чуть шире расставила ноги, чтобы удержать равновесие. Потом крен стал сильнее. Улица качнулась сначала влево, а затем вправо. Мне пришлось обнять столб, обхватив его двумя руками. Я закрыла глаза и прижалась щекой к холодному металлу. Не паникуй, твердила я себе. Сейчас все пройдет. Так и вышло. Волнение улеглось так же быстро, как и началось. Я открыла глаза. Какая-то грузная тетка поперек себя шире сверлила меня неодобрительным взглядом. Видимо, при таких мощных габаритах ей была не страшна никакая качка. Я отпустила фонарный столб и пожелала ей доброго вечера. Она не ответила. Наверное, решила, что я пьяна.

Я пошла в сторону Примроуз-Хилла. Вопреки

маминому убеждению, что на улице курят только шлюхи, я достала из сумочки сигареты. Я обожаю курить. Сигаретный дым, он как вуаль. Как завеса тайны. Сам процесс доставляет огромное удовольствие, начиная с того, как вытягиваешь сигарету из пачки, не снимая перчатки. Металлический щелчок зажигалки. Резкий запах бензина. Первая глубокая затяжка и синеватый шлейф выдыхаемого дыма. Вызывающе бесстыдное пятно от помады на фильтре. Дымящаяся сигарета, изящно зажатая между средним и указательным пальцем. Мне нравится наблюдать за курящими женщинами. Женщина с сигаретой не одинока; она сама по себе. Она чувственная, искушенная, интересная. Мужчины не умеют красиво курить. Курение для мужчин — чисто практическое занятие, как посещение уборной или ожидание автобуса на остановке. Это не самоценное действо, а всегда приложение к чему-то еще. Я ни разу не видела Тома (или как его звали) курящим. Почему-то мне кажется, что если он курит, то должен курить либо тонкие русские папиросы, либо трубку, как это принято в определенных кругах молодых мужчин, полагающих себя прогрессивными интеллектуалами. Впрочем, Тому не нужна никакая претенциозность. Как он

там говорил? Счастливая случайность. Подарок судьбы. Он произнес эти слова так естественно, словно они вертелись на кончике языка, дожидаясь лишь подходящего случая. Договорив до конца, он посмотрел мне прямо в глаза. У меня в голове словно сработал звоночек. Точно ли наша встреча была случайной? Или он дождался меня специально, заранее вооружавшись сладкозвучными, обольстительными словами? Какая женщина устоит перед дарами судьбы?

На углу стояла телефонная будка. Я позвонила домой, предупредила, что не приду к ужину. Как обычно, трубку взяла миссис Ллевелин. У нас дома два телефона, один — в папином кабинете, второй — в прихожей. Но где бы ни находилась миссис Ллевелин, она всегда умудряется взять трубку сразу после второго звонка. Я попросила ее передать папе, что не успеваю на ужин, пусть он не ждет и садится за стол без меня. Конечно, эта информация была более актуальной для самой миссис Ллевелин, поскольку именно она готовит еду и накрывает на стол, но я получала какое-то детское, злорадное удовольствие от того, что обращалась с ней, как с бессловесной мебелью. Она, наверное, обижалась, но меня это нисколечко не волновало. Меня больше тревожило, что вече-

ром мне придется объяснять папе, почему я так поздно пришла домой. Я прямо представляла, как он говорит: «Прекрасно, милая, просто прекрасно», — словно я годовалая малышка, успешно сходившая на горшок. Он наверняка примется аккуратно расспрашивать, «как все прошло». Папа вечно интересуется, не познакомилась ли я с «приятным молодым человеком», и меня задевает его отношение. Ему как будто не терпится сбыть меня с рук.

Только когда я повесила трубку на место и стерла с нее свои отпечатки пальцев, мне вдруг подумалось: а как «это самое» происходило бы с Томом? Время еще оставалось, и я решила пройтись вокруг парка. Я приняла приглашение Тома, не задумавшись о последствиях. А теперь мне представлялись всякие ужасы. Слева тянулись густые кусты, и мне рисовалось в воображении, как Том тащит меня туда и пытается раздвинуть мне ноги. Такому красавчику, безусловно, уже не раз доводилось раздвигать женщинам ноги, а некоторые особенно разбитные девицы наверняка раздвигали их сами. Я думала о бедняжке Констанции Чаттерли, унижающейся перед Меллорсом. Я так не смогу, потому что всему есть предел. Девочки в школе частенько вели

оживленные разговоры о пенисе, в основном о его идеальных размерах. Мне не всегда удавалось избежать этих дискуссий, а потом еще выбросить из головы порожденные ими картины. Мне самой искренне непонятно, как женщина может хотеть, чтобы в ее сокровенное местечко вторгался грубый мужской член, независимо от размера. Мне кажется, этот этап полового акта существует исключительно для удовольствия мужчины, а затем уже женщина сама доводит себя до вершин наслаждения.

Но об этом я побеспокоюсь потом, если что-то такое возникнет. Ведь сначала еще предстоит разговор, и еще неизвестно, что хуже. Как я уже говорила, я совсем не умею вести светские беседы. Иногда, бывая в общественных местах, я стараюсь подслушивать разговоры других людей и хоть чему-нибудь научиться. Потом, запершись у себя в комнате, я повторяю подслушанные фразы, как ребенок, упорно играющий гаммы, но в голове все равно ничего не откладывается. Я виню в этом маму. Она постоянно твердила, что «пустой горшок гремит громче полного», и я подспудно усвоила этот урок. О разговорчивых людях мама всегда отзывалась презрительно, называла их словоблудами, что для моих юных

ушей звучало как верх неприличия.

Завершив обход парка по кругу, я уже очень жалела, что приняла приглашение Тома. Я дошла до скамейки, на которой летала над городом на прошлой неделе. Как бы пристально я на нее ни смотрела, я не видела ничего, кроме обычной парковой скамейки. Она явно не собиралась взмывать в поднебесье или скрываться в кустах. Это был самый обыкновенный неодушевленный предмет. Ребекка высмеяла меня за глупые мысли. «Это просто скамейка, дурында», — насмехалась она. Я с ней согласилась. Да, я дурында. Я давно поняла, что, если кто-то тебя обзывает, надо с ним согласиться, и он, скорее всего, сразу отстанет. Мы с ней уселись на скамейку. Ребекка сказала, что с Томом она разберется сама. Ведь он пригласил на свидание не меня, а ее. Мне нужно просто сидеть и помалкивать, чтобы ничего не испортить. Я серьезно кивнула. Если кто-то в ближайшее время раздвинет ноги, это будет Ребекка, не я.

Асфальт на дорожке блестел, как разлитые чернила. Я представляла, как шагну в эту черную реку, провалюсь с головой, и от меня не останется и следа. Подошел человек с черной собакой на поводке, остановился прямо перед нами. Собака

задрала заднюю лапу у кованой ножки скамейки, к моим ногам потекла тонкая струйка мочи.

— Ну что, нам уже лучше? — спросил человек.

Ребекка ответила ему такими словами, которые я постыдилась бы произнести вслух. Человек покачал головой и пошел прочь, что-то бормоча себе под нос.

Когда я подошла к «Пембриджскому замку», на часах было без двадцати семь. Том не уточнил, где мы встретимся — снаружи или внутри, — но, поскольку я нарочно опоздала на десять минут, а он не ждал меня у входа в паб, я рассудила, что он ждет внутри. Мне уже доводилось бывать в питейных заведениях, но только при тихих сельских гостиницах в Девоне или Хартфордшире. Лондонский паб представлялся мне этакой картиной Иеронима Босха, где толпятся проститутки, портовые грузчики, запойные пьяницы и лица нетрадиционной сексуальной ориентации, все пьяные в дым и занятые всяческими непотребствами. Но независимая современная женщина вроде Ребекки Смитт совершенно спокойно заходит в такие места. Я сделала глубокий вдох, расправила плечи и толкнула дверь.

Внутри горел неожиданно яркий свет. Мебель и панели на стенах были сделаны из темного дере-

ва. За столиком справа от двери сидел мужчина в кепке. Перед ним стояла пинта пива и лежала раскрытая газета. Еще двое мужчин — в костюмах в тонкую полоску — стояли у барной стойки, пили виски и увлеченно о чем-то беседовали вполголоса. Трое парней в рабочих спецовках сгрудились у какой-то колонны в глубине зала, каждый держал в грязной лапище кружку с пивом. Тома не было видно нигде. Бармен за стойкой читал газету. Когда я вошла, никто не обратил на меня внимания. Еще не поздно было отступить и подождать Тома снаружи. Но я забыла придержать дверь, она громко захлопнулась у меня за спиной, и бармен все-таки посмотрел в мою сторону. У него на лице не отразилось никаких эмоций, как будто в его заведение постоянно заходят женщины без спутников мужского пола и ничего необычного в этом нет. Почему-то невозмутимость бармена меня успокоила, как и его белая рубашка, чистая и безупречно отглаженная, — по крайней мере, такой она показалась мне издали. Чувствуя на себе его взгляд, я посмотрела на часы и уселась на банкетку, идущую вдоль стены сбоку от барной стойки. Я поставила сумку на пол и, желая создать впечатление расслабленного спокойствия, неторопливо сняла перчатки. Теперь мне было

слышно, о чем говорили мужчины у стойки. О покупке какой-то недвижимости в этом районе. У того, который пониже ростом, было румяное, круглое лицо. На его выпирающем животе поблескивала золотая цепочка карманных часов. Я сидела почти напротив, и он легонько кивнул в мою сторону. Его собеседник оглянулся через плечо, посмотрел на меня и вскинул брови, словно давая понять, что одобряет увиденное. Он повернулся обратно к приятелю и что-то сказал. Я не расслышала, что именно. У меня по спине пробежал холодок. Возможно, они решили, что я высматриваю клиентов, и то, что я сняла перчатки, тут считалось прозрачным намеком на грядущий стриптиз. Выждав пару минут, бармен театрально надул щеки, поднял крышку стойки и подошел к моему столику.

— Что будем пить, мисс? — спросил он. В его голосе не было ни дружелюбия, ни враждебности.

Я сказала, что жду приятеля.

Он ответил, что это питейное заведение, а не зал ожидания.

— Да, конечно, — кивнула я и заказала джинфиз. Как я понимаю, именно этот коктейль пьют в Париже.

Бармен хохотнул и спросил, сойдет ли обычный

джин-тоник. Я сказала, что да, вполне. Мужчины у барной стойки с интересом следили за нашей беседой. Когда бармен вернулся на место, румяный толстяк принялся подтрунивать над его неумением смешать джин-физ.

— В Англии запрещено подавать джин-физ, — отозвался бармен. — Согласно закону о лицензированных помещениях от одна тысяча девятьсот второго года. Статья девятнадцать, параграф второй.

— А подлить жаждущим виски тоже запрещено? — спросил толстяк, приподняв свой опустевший бокал.

Все это произносилось в преувеличенно комических тонах, словно они исполняли номер в мюзик-холле. Бармен подлил виски мужчинам у стойки, потом смешал мне джин-тоник и с демонстративно торжественным видом принес мне бокал на подносе.

— С вас два шиллинга и шесть пенсов, Леди Муть, — объявил он. Как я полагаю, он давал мне понять, что я удостоилась особенного отношения, но при этом он не собирался особенно это демонстрировать. Когда тебе дают прозвище, пусть и такое нелестное, это значит, что тебя приняли в компанию. Раньше мне никогда не

давали прозвищ, и я была очень довольна собой. Я дала бармену три шиллинга и сказала, что сдачи не надо.

— Вот спасибо, — ответил он. — Если так и дальше пойдет, я, глядишь, и сподоблюсь вам на джин-физ.

У меня потеплело на сердце. Мне представилось будущее, в котором я стану завсегдатаем «Пембриджского замка», всем известной как Леди Муть. Бармен будет смешивать мне джин-физ, и этот коктейль вскоре переименуют в «Леди Муть», сначала только в «Пембриджском замке», а потом по всему Лондону. Меня пригласят вести колонку в «Женском журнале», назовут ее «Леди Муть пишет», и я буду щедро делиться с читательницами мудрыми мыслями о хороших манерах, искусстве и моде. Меня завалят приглашениями на театральные постановки и кинопремьеры, я буду обедать с Лоуренсом Оливье [9], и по городу пройдет слух, что у нас с ним *une liaison* [10].

Я наблюдала, как в моем бокале поднимаются и

---

[9] Примечания: 9

Лоуренс Оливье (1907–1989) — английский актер и режиссер театра и кино. Оливье был одним из самых востребованных актеров на лондонской театральной сцене в середине XX века.

[10] Примечания: 10

Роман, любовная связь (*фр.*).

лопаются пузырьки тоника. Если бы рядом была Вероника, она объяснила бы этот процесс с точки зрения физики. Заметив, что бармен за мной наблюдает, я осторожно отпила глоточек. Сначала почувствовала только тоник, пузырьки — как мурашки на языке. Потом появился острый, едкий привкус, как у переваренной брюссельской капусты, и уже при глотке горло обожгло огнем. Ощущение было весьма неприятное, и я даже закашлялась. И все-таки я гордилась собой: вот она я, сижу в лондонском пабе и пью джин-тоник без всяких катастрофических последствий (пока что).

Постепенно паб заполнялся народом. Бармен налил еще пива троим работягам, чей акцент выдавал в них валлийцев. Пока они ждали у стойки, один из них, самый крупный, бесстыдно таращился на меня. Это был настоящий великан, больше шести футов ростом, широкоплечий, с большим животом, нависавшим над ремнем брюк. Он смотрел на меня, опустив голову на грудь и приоткрыв рот, как сенбернар. Я отвернулась. Каждый раз, когда открывалась дверь, я мысленно проклинала Тома, ведь именно по его милости я оказалась в компании таких неотесанных грубиянов. Уже было ясно, что ра-

но или поздно кто-то из них совершенно точно попытается ко мне «подкатиться». Однако куда унизительнее будет, если даже в отсутствие других женщин, никто из них не попытается отвесить мне какой-нибудь сальный комплимент.

Работая секретаршей в агентстве у мистера Браунли, я кое-что о себе поняла: со мной не флиртуют, потому что я недостаточно страшненькая и недостаточно красивая. Мужчины заигрывают с дурнушками, потому что жалеют их, бедненьких, и еще потому, что доподлинно знают: дурнушкам хватит ума не принимать их комплименты всерьез. Некрасивые девушки знают, что они некрасивые, и не питают никаких иллюзий на собственный счет. А с красотками мужчины флиртуют, чтобы испытать свою храбрость. Они не ждут ничего, кроме вежливого — и хорошо, если вежливого, — отказа. Но зато годы спустя, когда они обзаведутся семьей: средненькой, ничем не примечательной женой, средненькими, ничем не примечательными детишками, — они смогут утешиться мыслью, что в свое время хотя бы попытались. Лучше попробовать и обломиться, чем жалеть, что вообще не попробовал. Но как некрасивые девушки знают, что они некрасивые, так и красавицы знают, что они красотки. У

дурнушек нет выбора, кроме как хватать первого парня, чьи ухаживания делаются не в шутку, но и у красавиц есть свои проблемы. Например, избалованная красотка, предполагающая, что поток женихов никогда не иссякнет, будет привычно отказывать всем соискателям, а потом вдруг окажется, что ей уже тридцать, ее красота подувяла, и у нее есть все шансы остаться разочарованной, озлобленной на весь мир старой девой. У мужчин таких проблем нет. Как красивые девушки знают, что они красотки, так и красивые парни знают, что они красавцы. Зато страшненькие мужчины, кажется, не понимают, что они уроды. Я не раз наблюдала, как настоящие квазимодо заигрывают с ослепительно красивыми девушками, даже не осознавая, что тем самым нарушают естественный порядок вещей. Это было бы смешно, если бы не тот факт, что мы, женщины, сами их поощряем. Я видела много красивых девушек под ручку с невообразимо уродливыми гомункулами. И ни разу не видела, чтобы было наоборот. Тому есть объяснение: над всякой красавицей довлеет проклятие. Ее априори считают глупенькой. Предполагается, что для привлечения кавалеров ей не нужно делать вообще ничего, кроме как быть красивой. Но мой опыт подсказывает, что

между умом и красотой нет никакой корреляции. Я встречала красавиц, способных блистательно поддержать любую интеллектуальную беседу, и дурнушек, тупых как бревно. Красавица под ручку с гомункулом декларирует миру, что она не только красива, но еще и умна. И мир глядит в восхищении на них обоих: на нее и на него. Хотя лично мне представляется верхом глупости выбирать себе в спутники уродца, когда есть возможность выбрать красавца. С другой стороны, наблюдая красавца под ручку с уродиной, мы глядим на него с жалостью. А на нее — с возмущением и злостью, мол, хватило же наглости захапать то, чего она недостойна по всем параметрам.

Но я сама не красавица и не дурнушка. Я совершенно обычная, что называется, средняя. С такими, как я, заигрывать неинтересно. Это не будет ни уничижительной шуткой, ни дерзновенным полетом Икара к солнцу. К тому же, флиртуя с совершенно обычными девушками, мужчина сильно рискует: ведь мы, вероятно — и даже скорее всего, — воспримем ухаживание всерьез. А там не успеешь и глазом моргнуть, как случится нежданная беременность, и пора будет спешно устраивать свадьбу.

Вот почему поведение Тома по отношению ко мне представлялось загадочным. Стоит ли говорить, что я уже миллион раз прокрутила в голове наши прошлые разговоры, и вывод напрашивался сам собой: Том и вправду заигрывал. Его настойчивое предложение меня проводить еще можно было бы, хоть и с натяжкой, принять за обычную вежливость. Но когда он сказал, что обещает ко мне не приставать, тут уже был намек. Если он сделал подобное заявление, значит, какие-то мысли о том, чтобы пристать, у него все-таки были. Он мог бы вообще ничего не говорить — мало ли что придет в голову! — но он все-таки высказался, хитроумно прикрывшись якобы искренним уверением, что у него даже в мыслях такого нет. Разумеется, это было сказано как бы в шутку. Шутка — отличный инструмент для флирта, если применяется обоюдно. Но у меня нет чувства юмора. Я не умею с ходу придумывать остроумные реплики для поддержания шутливой беседы, и у меня есть дурацкая склонность принимать шутки за чистую монету. Если бы я хоть немного практиковалась в искусстве флирта, я бы ответила — разумеется, этак игриво, — что была бы только рада, если бы ко мне пристал такой видный мужчина. Мы бы весело

рассмеялись, давая понять, что оба шутим, но при этом сразу стало бы ясно, что мы заключили некий негласный договор.

Кажется, я поняла, почему Том со мной флиртовал. Он, безусловно, красивый мужчина (чем больше я о нем думаю, тем красивее он становится), а я самая обыкновенная девушка. Но дело вот в чем: Том заигрывал не со мной. Он заигрывал с Ребеккой, а Ребекку уж точно не назовешь обыкновенной девушкой. Ребекка из породы красавиц. Она привыкла, что с ней постоянно флиртуют. И, разумеется, никто и не ждет, что она воспримет ухаживания всерьез.

Я достала из сумочки пудру с зеркальцем и помаду. Из глубин сумки повеяло чем-то затхлым. Я быстро поправила макияж. Если уж я сегодня красавица, то придется соответствовать. Я заметила краем глаза, как один из валлийцев подтолкнул локтем другого. Я повернулась к открывшейся двери. Нет, снова не Том. Небольшая компания из трех человек: два парня и девушка с модной стрижкой. Девушка в полосатой сине-белой широкой блузке и облегающих коротких брючках была самой обыкновенной, из той подгруппы, где невзрачная внешность компенсируется нарочито шутливым, мальчишеским поведением.

Все трое громко смеялись, с явным намерением продемонстрировать всем и каждому, какие они веселые, компанейские ребята. Они поздоровались с барменом, обратившись к нему по имени (Гарри), заказали напитки и уселись за соседний столик, рядом со мной. Девушка села ко мне лицом. Один из ее спутников кивнул мне в знак приветствия, и мне показалось, что в его глазах промелькнула жалость. Я сидела прямая, как палка, глядя на свой почти нетронутый бокал. Интересно, что хуже, подумала я, когда тебя принимают за тихую, пьющую в одиночестве алкоголичку или за унылую девицу, явившуюся на свидание, на которое ее кавалер уже, видимо, не придет? Я решила, что все же второе. Мои соседи болтали друг с другом так весело, что я чуть не расплакалась. Как я завидовала их раскованности! Как я желала им всяческих бед и несчастий! Я с трудом удержалась, чтобы не подойти к этой девушке и не шепнуть ей на ухо, что сейчас она, может быть, и популярна, но ни один мужчина не женится на такой мелкой потаскушке. Она умрет, превратившись в иссохшую шелуху, как почти все мы.

А потом появился Том. Я испытала такое огромное облегчение, что даже не возмутилась, что он

так задержался. Он не извинился за опоздание, лишь объявил, что умирает от жажды. Спросил, что я пью, и сам же ответил на свой вопрос:

— А, джин! Мамина погибель. «Давай-ка напьемся с тобою вдвоем», да?

Никакого раскаяния не было и в помине, и я уже начала сомневаться, не ошиблась ли я сама насчет времени нашей встречи. Хотя, наверное, все объясняется проще: в богемных кругах, где, несомненно, вращался Том, пунктуальность считается безнадежно «мещанским» качеством. Но я не буду вести себя как мещанка. Ребекка Смитт — не мещанка. Главное, что он пришел. Наше свидание не сорвалось, и теперь у меня есть защита как от нежелательных знаков внимания в исполнении грубых валлийцев, так и от жалостливых взглядов веселой компании за соседним столом.

Когда Том отошел к барной стойке, я отпила еще капельку джина. Я очень редко пью алкоголь, мама всегда называла его бесовским пойлом. Она и на пьяных мужчин смотрела с неодобрением, а пьяная женщина являлась для нее чистым воплощением упадка нравов и в ее глазах не заслуживала никакого сочувствия, поскольку сама навлекла на себя все несчастья. Мама не то

чтобы совсем не брала в рот спиртного (убежденные трезвенники не менее подозрительны, чем запойные пьяницы), но, если ей приходилось выпить рюмку хереса на каком-нибудь светском мероприятии, она всегда говорила: «Мне немножко», — с непременным упором на первое слово и многозначительным взглядом в сторону моего папы. После маминой смерти папа стал позволять нам с Вероникой по крошечной рюмочке хереса на Рождество. Мне до сих пор не совсем ясно, как эта тошнотворная мерзопакость может быть связана с каким бы то ни было бесом.

Второй глоток оказался не таким противным, как первый, но мне все равно было не очень понятно, что заставляет людей добровольно вливать в себя эту гадость. Том вернулся за столик с пинтой пива для себя и — к моему вящему ужасу — вторым джин-тоником для меня. Он поставил напитки на стол и уселся напротив. Мы подняли бокалы и чокнулись.

— Ну, будем здоровы, — сказала я.

— Будем здоровы, — повторил он с такой интонацией, что сразу стало понятно: его рассмешил мой комично-старомодный тост. Я мысленно поздравила себя за нечаянную шутку. Том с такой жадностью присосался к пиву, словно весь день

проработал в полях. Я исправно пригубила джин. Завершив эти подготовительные мероприятия, он поставил на стол наполовину опустевший бокал и наклонился поближе ко мне, как будто мы собрались плести заговор.

— Ну, что же, Ребекка Смитт. Расскажи мне о себе.

Он подпер подбородок руками и выгнул бровь. Волосы у него были темные и очень густые. На нижних костяшках пальцев кудрявились черные волоски. Если бы кому-то потребовалось описать его внешность полиции, в описании наверняка прозвучали бы слова «смуглый» и «волосатый». Я даже подумала, что в нем, наверное, есть немалая часть греческой крови.

Первым моим побуждением было промямлить, что рассказывать особенно нечего. Но Ребекка Смитт никогда не дала бы такой вялый ответ. Она лихо глотнула джина и сказала:

— Ну, ты уже знаешь, что я сумасшедшая.

— Да, как мартовский заяц.

— И апрельский, и майский. В общем, круглогодичный, — сказала Ребекка.

Я сама никогда не додумалась бы до такой остроумной реплики.

— Больше зайцев, хороших и разных! — объ-

явил Том.

Я так и не поняла, то ли он продолжает просто шутить, то ли снова заигрывает. В разговоре возникла пауза. Обычно я заполняю такие неловкие паузы банальными замечаниями о погоде — просто, чтобы не молчать, — но Ребекка велела мне держать язык за зубами. Пусть Том сам изворачивается, чтобы поддержать разговор. Я потихонечку приступила ко второму бокалу джина. Его вкус уже не казался таким уж противным. Я закурила, прислонилась спиной к стене за банкеткой и медленно выдохнула дым.

— Но ты же не круглосуточно сходишь с ума, — сказал Том. — Чем еще ты занимаешься?

Поскольку прямой вопрос требовал прямого ответа, Ребекка принялась рассказывать о своей работе в театральном агентстве. Разумеется, она беззастенчиво приукрашивала действительность. Ее жизнь была бесконечной чередой премьер и вечеринок. Упомянув Лоуренса Оливье, она назвала его Ларри и сказала, что он просто душка. Буквально позавчера, сообщила Ребекка, она была на вечеринке в компании Ричарда Бёртона и Клер Блум, и они все курили «траву». Позже обычная вечеринка переросла в настоящую оргию, и Ребекка вернулась домой

только под утро, чуть не заблудившись в Гайд-парке. Она говорила без умолку, делая паузы лишь для того, чтобы глотнуть джина. Когда поток ее бреда и джин в бокале иссякли, мне стало стыдно, что я имею какое-то отношение к этой женщине. Но ее речь, кажется, произвела впечатление на Тома. Мне снова подумалось, что он очень красивый мужчина. Его карие глаза блестели, словно подернутые влажной пленкой. Я заметила, что разбитная девица за соседним столом поглядывает на него с восхищением. Он был гораздо красивее обоих ее ухажеров.

Меня с детства учили, что хорошие девочки не пялятся на людей и не задают вопросов. Однако с возрастом я поняла, что, как минимум, последнее вовсе не так оскорбительно, как меня убеждали с младых ногтей. В некоторых ситуациях социального взаимодействия вопросы не только вполне допустимы, но и почти обязательны. Поэтому я не стала стесняться и спросила у Тома:

— А ты чем занимаешься? Расскажи о себе.

Он пожал плечами. Это был его характерный жест, который мог означать что угодно. Конкретно сейчас он означал: «Ну, это не так уж и интересно, но раз ты спросила…» Том рассказал, что родился в маленьком городке в местах, ко-

торые он называл Черной страной [11]. Его отец погиб на войне. Его мама работала школьной учительницей. У него есть две младших сестры. Когда ему было двенадцать, ему подарили дешевый, простенький фотоаппарат, и с тех пор он мечтал стать фотографом. Поэтому он и приехал в Лондон. Его нынешняя работа — отнюдь не работа мечты, он хотел заниматься совсем другим, но любая работа все-таки лучше, чем вообще никакой. Он спросил, видела ли я рекламу миксера от «Санбим». Не моргнув глазом Ребекка соврала, что видела в «Женском журнале». Он снова пожал плечами, на этот раз вроде бы пренебрежительно, но все равно было видно, что он гордится собой.

— Я делал им фотографии, — сказал он.

— Потрясающе, — отозвалась Ребекка.

— И для рекламы супов «Бонвиван».

Надо сказать, он меня впечатлил. Сама мысль, что я познакомилась с человеком, который фотографирует товары (пусть даже скучные консервированные супы) для рекламы в журналах, была очень волнующей.

---

[11] Примечания: 11

Черная страна — неофициальное название промышленного региона близ Бирмингема, известного угольными шахтами и сталелитейными заводами.

— На следующей неделе у меня будет встреча по поводу съемок для журнала мод, — сказал он. — Там уже крутятся настоящие деньги.

— И красивые девушки, — игриво заметила Ребекка.

Том допил пиво. В пабе уже собралась настоящая толпа. Люди кружились, как на карусели. Гул разговоров оглушал. Том отодвинулся вместе со стулом и поднялся из-за стола.

— Повторим, — сказал он, указав пальцем на мой бокал. Это был не вопрос, а скорее утверждение. Впрочем, после второго бокала джин уже не казался таким отвратительным, как вначале. Возможно, со временем он мне даже понравится.

Пока Том ходил за напитками, я воспользовалась возможностью поправить макияж. Лицо, глянувшее на меня из зеркальца в пудренице, было не таким уж и жутким. Я растянула губы пошире и аккуратно нанесла помаду. Захлопнув пудреницу, я заметила, что один из парней за соседним столом наблюдает за мной. Ребекка одарила его ледяным взглядом, и он поспешил отвернуться.

Том вернулся, уселся за стол, отпил пива и слизнул пенные «усы» над верхней губой. Кончик его языка на миг задержался в уголке рта,

а потом спрятался, как испуганный мышонок. Когда он снова заговорил, его голос звучал очень серьезно:

— Ну, и как он тебе?

Мне сразу стало ясно, кого он имеет в виду, но я сделала вид, будто не поняла.

— Кто?

— Бретуэйт, — сказал Том. — Великий и ужасный Коллинз Бретуэйт.

У меня было чувство, что меня обманули. Словно вся предыдущая беседа была просто вступлением, а теперь Том наконец подошел к настоящей причине, по которой пригласил меня на свидание.

— А почему ты спросил?

Том объяснил, что периодически видит Бретуэйта на улице.

— Любопытный тип. Чего только о нем не болтают.

— Например?

Том снова пожал плечами.

— Ну, в общем, все как обычно: женщины, пьянки, наркотики.

Ребекка состроила скучающую гримасу, словно все это ее нисколько не занимает.

— Если он тебе так интересен, то сходи к нему

сам, — сказала она.

Том уставился в свою кружку. Он что-то пробормотал, но осекся на полуслове. Потом отпил пива.

— Что ты сказал? — спросила Ребекка.

— Да мне вроде как незачем к нему ходить.

— В смысле, ты не сумасшедший, как я?

— Ты тоже не сумасшедшая. Не настоящая сумасшедшая, — сказал он. — В смысле, сейчас это модно: ходить по всяким психотерапевтам и рассказывать о своих снах. Особенно, если психотерапевт — сам Бретуэйт.

— Он считает, что сны — это полная ерунда, — сказала я. Мне почему-то хотелось защитить Бретуэйта.

— Да? — оживился Том. Он явно хотел получить больше сведений. — А что для него не ерунда?

— Я не знаю. Но он действительно уникальный. Я таких еще не встречала. — Меня раздражало, что наш разговор отклонился куда-то в сторону, разрушив непринужденную дружескую атмосферу, установившуюся между нами. Я отпила еще джина. — Кажется, он тебя интересует даже больше, чем я.

— Вовсе нет, — возразил он. — Что может быть интереснее тебя, Ребекка?

Я закурила и выдохнула дым прямо ему в лицо.

Том еще раз сходил за напитками. Он, видимо, рассудил, что безопаснее всего говорить о вещах, которые он фотографирует для рекламы. В частности, о пылесосах, наборах столовых приборов и котлах центрального отопления. С котлами было непросто, признался он. Сложно заснять котел так, чтобы он выглядел интересно. К тому времени мне уже было трудно сосредоточиться. И трудно все время держать в голове, что мне положено быть Ребеккой. Быть Ребеккой оказалось гораздо сложнее, чем быть собой. Приходилось прилагать немало усилий. Но если бы все зависело лишь от меня, меня бы и вовсе здесь не было. Именно так поступают нормальные люди: сидят вечером в пабе, пьют пиво и джин, разговаривают друг с другом. Слушают, что говорит собеседник, делают вид, будто им интересно. Ждут своей очереди заговорить. Мне было трудно понять, в чем тут смысл. Я ни капельки не сомневалась, что тем же валлийцам совершенно неинтересно вести беседы. Они пришли сюда исключительно для того, чтобы выпить пива, но даже они ощущали необходимость поддерживать некое подобие разговора. Оживленный разговор за со-

седним столом был не более чем поединком двух молодых людей, пытавшихся завоевать расположение девушки, сидящей между ними, как приз в лотерее на церковном празднике. Мужчина за столиком у двери по-прежнему читал газету. Все это время он молча сидел в одиночестве с одним и тем же бокалом пива. Я ему позавидовала.

Я уже совершенно не понимала, что говорит Том. Его губы двигались, но слова тонули в общем гуле голосов. Я решила, что мне надо в уборную, и поднялась. Том указал на дверь в дальнем конце зала. Я направилась туда на нетвердых ногах. Ощущение было такое, будто меня долго били по голове. По телу разлилось какое-то странное онемение. Меня заметно пошатывало. Я не раз видела на улице пьяных, которых болтало из стороны в сторону, но я всегда думала, что на самом деле они не пьяны, а по каким-то своим непонятным причинам просто изображают пьяных. Я была не права. Потому что теперь меня тоже качало из стороны в сторону. Я с ужасом осознала, что напилась в дым.

Кое-как я сумела открыть дверь в женский туалет. Там была одна-единственная кабинка и маленькая раковина. Мне вдруг показалось, что я теряю сознание. Я оперлась о стену, чтобы не

упасть. Потом меня замутило и вырвало прямо на блузку. Не то чтобы сильно. Немножко желтой слизи и кусочки булочки, которую я заставила себя съесть в кафе у миссис Глинн. Я схватилась за раковину. На крючке рядом с ней висело крошечное полотенце. Тихо радуясь про себя, что я еще что-то соображаю, я намочила его под краном и принялась оттирать блузку. Кусочки булочки стерлись сразу, но слизь только размазалась по ткани. Блузка, за которую я отдала один фунт и пятнадцать шиллингов, была безнадежно испорчена. Меня опять замутило, и рвота хлынула в рот. Ее было немного, и я все проглотила, но от этого меня затошнило еще сильнее. Когда в уборную вошла разбитная девица в полосатой рубашке, я стояла, склонившись над раковиной, изо рта у меня текла струйка вязкой слюны. Ее деловитость оказалась достойной восхищения. Она сообщила, что я долго не возвращалась, и мой парень попросил ее сходить и проверить, все ли у меня хорошо. Даже в таком жалком состоянии я ощутила прилив восторга. Она назвала Тома моим парнем! Девушка помогла мне распрямиться, вытерла мне рот и сказала, что я изрядно изгваздалась. Я печально кивнула и тихо расплакалась. Она сказала, что плакать не надо. Такое случается

даже с лучшими из людей. Я стояла, как растерянный ребенок. Она расстегнула мою блузку и заставила меня ее снять. Вывернула наизнанку и велела надеть обратно. Застегивать пуговицы изнутри было не очень удобно, но вдвоем мы управились довольно быстро.

— Никто ничего не заметит, — сказала она. — Мужчины не замечают таких вещей.

Она поправила мне прическу и сказала, что ничего страшного не случилось. Мне стало неловко за свои прошлые недобрые мысли об этой девушке. Она взяла меня за руку и проводила до самого столика. Том спросил, все ли в порядке. Я сказала, что да, но уже поздно, и мне надо домой. Он залпом допил свое пиво, взял меня под руку и повел к выходу. Мы попрощались, он усадил меня в такси, а потом бросился следом за отъезжавшей машиной и постучал в окно. Таксист притормозил. Хоть и не без труда, но я все же сумела опустить стекло. Том забыл спросить мой телефон. Я послушно дала ему номер. Ох уж эта Ребекка, подумала я. Та еще штучка.

Бретуэйт II: Оксфорд

Именно на втором сроке в Оксфорде личность «Коллинза Бретуэйта» сложилась уже окончательно. Двадцативосьмилетний Бретуэйт был старше и опытнее большинства своих сокурсников. Он пожил во Франции, повидал жизнь и, самое главное, имел опыт работы в психиатрической клинике. Он уже не испытывал потребности вписаться в среду своих сверстников, получивших элитарное частное образование. Наоборот, он хотел выделяться и начал нарочно подчеркивать свой просторечный северный говор и грубоватые манеры. Как раз в это время у него сформировалась весьма любопытная манера речи, которую многие отмечали впоследствии. Выступая на семинарах и зачитывая вслух тексты, он делал акценты на вспомогательных, неважных словах вроде предлогов или союзов и держал долгие паузы. «Его предложения, — говорил один из его бывших преподавателей, — продвигались, шатаясь, от точки к точке, как пьяный по длинному коридору». Эффект получался «одновременно комичным и гипнотическим». Разумеется, это было чистейшей воды лицедейство: изменив

привычную манеру речи, Бретуэйт нашел легкий способ завораживать своих слушателей. Психология наряду с английской литературой в то время считалась «легким» гуманитарным предметом, и девушек на факультете было значительно больше, чем юношей. Бретуэйт умел соблазнять и вовсю этим пользовался. Строгие послевоенные нравы неуклонно ослабевали, и студентки Оксфорда потихонечку начали отстраняться от родительских представлений о сексе и классовом разделении.

Бретуэйт с самого начала оказался в центре внимания. Ему даже не нужно было стараться, чтобы обольщать девушек. Будучи северянином и представителем рабочего класса, он мог позволить себе пренебречь традиционными ритуалами ухаживания. Девушки сами вешались ему на шею, привлеченные его грубой харизмой, бывшей для них в новинку. Одной из тех, кто попал под его сомнительное обаяние, была Сара Чизем, позже ставшая известным продюсером на радио «Би-би-си». «К женщинам он относился пренебрежительно и равнодушно, — вспоминала она. — Но, как ни странно, это лишь добавляло ему привлекательности в их глазах»

[12]. Однажды, под конец одной особенно бурной студенческой вечеринки, проходившей на съемной квартире кого-то из сокурсников, Бретуэйт предложил Саре завалиться с ним в койку. «Он сказал по-другому, — пояснила она. — Употребил очень грубое слово. Я впервые услышала, чтобы кто-то произносил такие слова вслух. Но я, конечно же, пошла с ним. Тогда это казалось предельной свободой. Он бросал тебе вызов, мол, давай, докажи, что ты выше всей этой глупой романтической сентиментальщины, выдуманной средним классом, которую родители вбили в твою хорошенькую головку. После он сразу же давал понять, что ты ему безразлична, но ты все равно возвращалась к нему вновь и вновь, потому что наверняка знала, что за тобой стоит очередь из распаленных девиц, готовых прыгнуть к нему в постель». Она также призналась, что он знал, как доставить женщине удовольствие в постели. С ним она никогда не испытывала той досадной застенчивой неловкости, которой неизменно сопровождались интимные встречи с молодыми людьми «из приличного общества».

Сара Чизем встречалась с Бретуэйтом чуть

---

[12] Примечания: 12

В телефонном интервью с автором 17 января 2020 г. (*Примечание автора*.)

больше года, хотя они никогда не считали себя парой. Позже она поняла, что их отношения балансировали на грани насильственного принуждения, но, пока все не закончилось, она была полностью им очарована. «Всем — и женщинам, и мужчинам — хотелось держаться к нему поближе».

Раз в две недели, по воскресеньям, Бретуэйт устраивал у себя в комнате студенческие собрания. Клуб Вагстаффа получил свое название в честь персонажа Граучо Маркса в фильме «Лошадиные перья». Назначенный президентом колледжа Хаксли, Вагстафф поет песенку «Что бы там ни было, я сразу против» и откровенно высмеивает убеленных сединами профессоров. Каждая встреча Клуба завершалась торжественным исполнением этой песни при участии Бретуэйта и всех остальных, кто еще был в сознании. Название песни полностью соответствовало бретуэйтовскому интеллектуальному настрою, который по своей сути был категорически деструктивным и оппозиционным. Какие бы доводы ни выдвигали его оппоненты, Бретуэйт занимал либо противоположную, либо еще более экстремальную позицию. Его точка зрения могла радикально перемениться уже на следующей

встрече Клуба, но он никогда не стеснялся сам себе противоречить. Поэтому никто не знал, во что он верит на самом деле. Но если по правде, то он не верил вообще ни во что. Единственное, во что стоит верить, утверждал он, — это наш непосредственный опыт, переживаемый здесь и сейчас, то есть в тех категориях, которые по природе своей мимолетны и непостоянны. Из чего следует, что само существование надо признать бессмысленным и эфемерным. Все остальное — самообман.

Каждая встреча Клуба Вагстаффа строилась на обсуждении текста, выбранного Бретуэйтом. На собраниях присутствовали студенты любых факультетов и даже младшие преподаватели. Тексты брались из философии, литературы или психологии, в зависимости от того, чем на данный момент увлекался Бретуэйт. Пиво и виски лились рекой, дискуссии продолжались до поздней ночи. Бретуэйт зачитывал вслух избранные отрывки и приглашал присутствующих к обсуждению. Девушки тоже ходили на сборища, но, по словам Сары Чизем, никто не ждал, что они будут высказывать свое мнение. Им полагалось внимательно слушать и серьезно кивать. Бретуэйт терпеливо выслушивал все точки зрения,

после чего выносил свой вердикт, который всегда принимался за неоспоримую догму. Вклад участников в обсуждение считался успешным в той мере, в какой их аргументы соответствовали окончательным выводам самого Бретуэйта. Как отмечала Чизем, все это было «довольно уныло».

Несмотря на восторженное окружение, у Бретуэйта почти не было настоящих друзей. Самым близким ему человеком был Стюарт Макадам, сын врача из Данфермлина. Он учился на факультете английской литературы и был единственным из всех знакомых Бретуэйта, с мнением которого тот считался. Позже Макадам издаст два романа (в первом из них, «Жизнь затворника», есть весьма колоритный персонаж, явно «списанный» с Бретуэйта) и займет должность преподавателя в Сент-Эндрюсском университете. Как и Сара Чизем, он испытывает очень противоречивые чувства по отношению к Бретуэйту. Я встретился с ним в его доме в Анструтере в феврале 2020 года. «Безусловно, он был грубияном, — вспоминал Макадам. — Он был среди нас самым старшим, чем и пользовался без зазрения совести. Но если он в чем-то с тобой соглашался, ты ощущал себя избранным. Он не любил, чтобы ему возражали, но, если тебе хватит смелости воз-

разить, ты заслуживал его уважение». Однажды, после особенно бурной воскресной дискуссии, Бретуэйт принялся насмехаться над «эстетской» традицией английских поэтов-романтиков. В ответ Макадам поднялся и, хотя был сильно пьян, прочитал наизусть несколько строф из «Мужам Англии» Шелли. Когда он закончил, в комнате воцарилось молчание, а потом Бретуэйт резко вскочил и бросился к нему. Макадам не знал, чего ждать: объятий или удара в челюсть. В итоге Бретуэйт изобразил что-то похожее на борцовский шейный захват, что можно было расценивать и как агрессию, и как проявление дружеских чувств. В этом был весь Бретуэйт. Непонятно было, как с ним держаться. Непонятно, чего от него ожидать. Но если он вдруг почувствует твою слабость, тебе конец.

Что касается его отношения к женщинам, Макадам высказался одним словом: бесстыдство. «Он говорил девушкам такие вещи, которые больше никто не решался произнести вслух, за которые в приличном обществе бьют по морде. Но Бретуэйту все сходило с рук. Больше того, женщины сами на это велись. Не все поголовно, но очень многие». Если его посылали подальше, он только смеялся и переключался на новый

объект. Макадам признался, что втайне завидовал Бретуэйту и его власти над женщинами, но ему самому никогда не хватало смелости повторить подобный подход. В своих мемуарах Бретуэйт выражает весьма своеобразные взгляды на феминизм: «Женщины не хотят, чтобы с ними обращались как с равными; они и так равные. И в чем-то даже превосходят мужчин. Они, безусловно, заслуживают того, чтобы к ним относились так же открыто и честно, как и к мужчинам. Если хочешь мороженого, ты не просишь банан. Если хочешь засадить девушке, зачем приглашать ее на поэтический вечер?»

Однако было одно исключение. Элис Тревельян была дочерью Эндрю Тревельяна, лондонского адвоката, который впоследствии защищал на суде Иэна Стотта, арестованного по обвинению в непристойном поведении в общественном месте в 1962 году, и блестяще выиграл дело. Элис была очень хорошенькой и исключительно умной девушкой, круглой отличницей и выпускницей частной школы для девочек в Хаммерсмите. В Оксфорде она училась на факультете английской литературы, как и большинство юных барышень, которым вряд ли когда-нибудь придется самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Она была

серьезной, мечтательной девушкой, любившей Китса, «Королеву фей» Спенсера и живопись прерафаэлитов. С Бретуэйтом ее познакомил Макадам в один погожий денек на лужайке у Колледжа Баллиол. Макадам совершенно не понимал, что происходит: Бретуэйт проявил небывалую вежливость к Элис и даже поинтересовался ее семьей и учебой. Куда подевалось его обычное хамство?! Макадам торопился на семинар. Через час он вернулся и с удивлением обнаружил, что эти двое по-прежнему увлеченно беседуют. Он ни разу не видел, чтобы Бретуэйт вел себя с девушкой так заботливо и галантно. У него даже голос стал мягче, и он очень внимательно слушал ее рассказы о детстве в Лондоне и Корнуэлле, где у Тревельянов был летний дом. Поначалу Макадам счел это забавным. Дикого зверя укротила нежная дева из привилегированного общества, при том что Бретуэйт презирал таких девушек и всегда норовил оскорбить или шокировать их своими грубыми мужицкими замашками. Однажды он как бы в шутку сказал об этом Бретуэйту, но тот отмахнулся, заметив, что Элис «просто славная девочка». Однако позже Макадам пожалел, что он их познакомил.

Весь весенний семестр 1955 года Бретуэйт и

Элис практически не расставались. Они подолгу гуляли вдвоем или вместе обедали в городе. Бретуэйт вел себя безупречно, как рыцарь в присутствии прекрасной дамы. Он ни разу не пригласил Элис на встречи Клуба Вагстаффа. Очевидно, он не хотел совмещать прямо противоположные личности, которыми представлялся в двух разных случаях. Летом того же года Бретуэйт даже провел неделю в загородном доме у Тревельянов, близ Труро, где они с Элис спали в разных комнатах. Он уважительно относился к ее родителям и ее младшему брату Энтони, с которым играл в теннис и обсуждал поэзию. Короче говоря, он стремился снискать себе расположение ее родных. В сентябре, когда начался новый учебный год, Бретуэйт пригласил Элис съездить с ним на выходные в Норт-Йорк-Мурс. По странной причуде судьбы они остановились в «Буковом дворе» — в той самой гостинице, куда заезжал Джордж Бретуэйт в день своего самоубийства, — и именно здесь их отношения наконец перешли в горизонтальную плоскость. Бретуэйт не звал Элис замуж, но она, должно быть, решила, что он ухаживает за ней именно с целью создать семью. Хотя нравы стали свободнее и сексуальная революция была уже не за горами, подавляющее

большинство женщин по-прежнему шли под венец девственницами или вступали в добрачную связь только со своими женихами. Однако после поездки в Норт-Йорк-Мурс сердечный пыл Бретуэйта заметно охладел. Он сказал Элис, что не собирается на ней жениться. Он вообще не собирался жениться на ком бы то ни было и никогда не давал Элис повода для каких-то надежд. Она чувствовала себя униженной и оскорбленной. В канун Рождества в лондонском доме родителей она наглоталась таблеток. Надо сказать, это была несерьезная попытка самоубийства, и Элис выписали из больницы на третий день. Однако в лице Эндрю Тревельяна Бретуэйт обрел своего первого влиятельного врага.

Хотя в своих мемуарах «Я сам и прочие незнакомцы» Бретуэйт посвящает годам в Оксфорде более сорока страниц, причем большая часть из них повествует о его тогдашних сексуальных похождениях, Элис Тревельян не удостаивается ни единого упоминания. Она быстро оправилась от потрясения и в 1960-м вышла замуж за молодого юриста по имени Фредерик Драммонд. Они прожили вместе больше полувека, вплоть до смерти Элис в 2016 году. В браке у пары родилось четверо детей. Велико искушение объяснить поведение

Бретуэйта с псевдопсихоаналитической точки зрения. Элис была тезкой матери Бретуэйта и в известной мере походила на нее и внешне, и по характеру. Таким образом, Бретуэйт либо страдал хрестоматийным эдиповым комплексом и хотел переспать со своей матерью, либо испытывал бессознательное стремление наказать ее за то, что она бросила его в детстве. Но, скорее всего, все было проще и хуже. Когда Стюарт Макадам узнал, что Элис пыталась покончить с собой, он попытался утешить Бретуэйта. Ответ друга поверг его в шок: «Это же наивысшее достижение, разве нет? Когда девчонка пытается совершить самоубийство из-за чувств к тебе». Макадам до сих пор помнит, с каким презрением были произнесены эти слова. После этого случая он стал отдаляться от Бретуэйта, хотя ему не хватило смелости открыто поставить точку в их дружбе.

Бретуэйт окончил университет с отличием в 1956 году. Он не пошел на церемонию вручения дипломов и доходчиво объяснил всем, кто был готов слушать, что не придает никакого значения этим цацкам, и вообще он не слишком старался, а выполнил только необходимый учебный минимум. Эта была откровенная чушь. Доктор Джордж Хамфри, тогдашний заведующий кафедрой пси-

хологии, еще с первого курса заметил блестящие способности Бретуэйта. Именно бунтарский настрой и неприятие общепризнанных авторитетов выделяли Бретуэйта из общей массы студентов. При всем своем вызывающем иконоборчестве он обладал живым, острым умом и мыслил так, как не мыслил никто другой. «Он был, без сомнения, самым одаренным студентом из всех, которых я повидал за девять лет руководства кафедрой», — вспоминал профессор Хамфри. Именно он убедил Бретуэйта поступить в аспирантуру. Кому-то, возможно, покажется странным, что Бретуэйт согласился остаться еще на три года в разреженной оксфордской атмосфере. В своих мемуарах он сам никак не комментирует это решение. Видимо, все дело в том, что его диплом мало на что годился, денег у него не было, а в Оксфорде ему предоставили жилье и стипендию. В кампусе он был «большим человеком». Его боялись и уважали, и он не испытывал недостатка в девушках, готовых с ним переспать.

В мае того же года, с разницей буквально в несколько дней, в лондонском театре «Ройал-Корт» состоялась премьера спектакля по пьесе Джона Осборна «Оглянись во гневе» и вышла книга Колина Уилсона «Посторонний» — обширное

исследование экзистенциальной литературы. Осборн родился в Лондоне, в семье представителей среднего класса, и вырос в Суррее. Уилсон, которому на момент выхода книги было двадцать шесть, родился в рабочей семье в Лестере и после нескольких бесперспективных работ написал «Постороннего» в читальном зале Британской библиотеки, причем все это время якобы ночевал в парке Хампстед-Хит, не имея возможности снять жилье. Осборн и Уилсон никогда не встречались, но благодаря заголовку в «Дейли экспресс» в Великобритании началась эра «сердитых молодых людей». Их обоих назначили голосами послевоенного поколения. Затем последовал целый вал произведений — как в художественной литературе, так и в кино, — изображавших жизнь на севере Англии и созданных авторами из рабочего класса: Джоном Брэйном, Аланом Силлитоу, Стэном Барстоу и (единственной сердитой молодой женщиной) Шелой Делани. Независимо от того, сколько общего было у этих писателей между собой, помимо самого движения «сердитых», оно стало серьезным тычком в бок устоявшимся традициям британской культуры.

«Оглянись во гневе» и «Посторонний» оказали значительное влияние на Бретуэйта. Вот что

он пишет о «Постороннем» в своих мемуарах: «Несмотря на все многочисленные недостатки, эта книга бьет в мозг». Он немедленно написал Уилсону с просьбой о встрече. Уилсон, без стеснения объявивший себя «важнейшим мыслителем нашей эпохи», ответил согласием.

Две недели спустя Бретуэйт добрался до Лондона на попутных машинах, встретился с Уилсоном в пабе «Три гончих» на Грик-стрит в Сохо. На встрече также присутствовали Билл Хопкинс, приятель Уилсона, и Эдвард Сирс, редактор в издательстве «Метьюэн». Уилсон, уже успевший привыкнуть к восхищению восторженных поклонников, ожидал от обычного аспиранта из Оксфорда должной благоговейной почтительности. Поначалу все шло хорошо, они с Бретуэйтом обменялись рукопожатиями, угостили друг друга по очереди кружкой пива, а затем Бретуэйт начал критиковать книгу Уилсона, обвинив его в том, что он так и остался рабом туманных представлений о духовности и устаревших концепций морали. Он заявил, что сам Уилсон, будучи далеко не «посторонним», на самом деле поддерживает устоявшийся образ мышления. Желание Бретуэйта утвердиться в роли доминирующего самца в этой группе явно ударило ему в голову

и затмило все восхищение книгой Уилсона и самим Уилсоном. По свидетельству очевидцев, Уилсон пристально посмотрел на него через стол, как бы оценивая противника, и спросил: «А вы привезли мне экземпляр *своей* книги?» Бретуэйт заявил, что, когда он напишет книгу, она будет в миллион раз лучше, чем «Посторонний». Хопкинс вмешался в их перепалку, предложив взять еще по пиву. Они еще долго сидели в баре, и разговор был вполне дружелюбным, когда касался нейтральных тем, но в каждой фразе все равно ощущалось интеллектуальное противоборство. В какой-то момент Уилсон все же не выдержал и обозвал Бретуэйта законченным нигилистом, настроенным только на разрушение. Бретуэйт ответил, что он и есть нигилист, но лучше уж быть нигилистом, чем озлобленной старой девой вроде Уилсона. Уилсон нецензурно послал Бретуэйта обратно в Оксфорд. Бретуэйт схватил Уилсона за грудки, опрокинув в процессе несколько кружек пива, но до драки все-таки не дошло: их растащили, и Бретуэйта вышвырнули из паба. Всем было слышно, как он кричал с улицы оскорбления в адрес «мелкотравчатых лондонских гомиков». Годы спустя Уилсон отомстил ему в журнальной рецензии на книгу «Антитерапия», назвав ее (по-

мимо прочего), дегенеративными излияниями захудалого ума.

Во время той же поездки в Лондон Бретуэйт посмотрел постановку пьесы Осборна в театре «Ройал-Корт» на Слоун-сквер и узнал себя в главном герое, задиристом Джимми Портере, хотя сам совершенно не интересовался политикой. Именно с этого спектакля началось его увлечение сценой и населявшими ее людьми — актерами. Когда он рос в Дарлингтоне, в его семье не было театралов, а театральную студию в Оксфорде посещали исключительно чванливые дилетанты из верхней прослойки среднего класса, которых он презирал. Он считал театр пустым развлечением изнеженных, далеких от жизни эстетов. Однако в «Оглянись во гневе» театр внезапно открылся ему с неожиданной стороны: ярким, беспощадно правдивым и тесно связанным с миром, который он знал. После спектакля Бретуэйт завернул в ближайший бар, «Лисица и гончие», куда зашел выпить и Кеннет Хейг, актер, игравший Джимми Портера. «Я был зачарован, — позже писал Бретуэйт. — Буквально полчаса назад я наблюдал, как он выступал с яростными обличениями на сцене в образе Джимми Портера, а теперь он превратился в приветливого, добродушного парня,

говорившего с акцентом, который я знал (Хейг был родом из Мексборо в Южном Йоркшире). Мне сделалось любопытно, в каком из этих спектаклей он был настоящим».

Бретуэйт вернулся в Оксфорд окрыленным. Ссора с Колином Уилсоном, чуть не переросшая в драку, никак на нем не отразилась. Он не боялся идти на конфликт и никогда не стремился понравиться людям. Но после поездки в Лондон у него появилось стойкое ощущение, что в Британии что-то меняется, что культура преодолевает свою зависимость от традиционных идей и ценностей; что классовая система становится более подвижной; короче говоря, что пришло время простого мальчишки, когда-то сбежавшего из Дарлингтона. Мальчишки, чьи мысли и устремления выходят за рамки его изначального положения в обществе. Однако ощущение перемен, такое явственное в Лондоне, еще не дошло до Оксфорда, и душная академическая атмосфера и неизменная демографическая структура студенческого коллектива начали раздражать Бретуэйта. Клуб Вагстаффа остался в прошлом. Бретуэйт уже не нуждался в верных приспешниках, смотрящих ему в рот. Его помыслы устремились к иным горизонтам. Теперь он бывал в Лондоне посто-

янно, по два-три раза в месяц. Добирался туда на попутках и спал на полу в крошечной съемной квартирке Стюарта Макадама в Кенсингтоне. В то время Макадам работал в книжном магазине на Чаринг-Кросс-роуд и писал свой первый роман. Он рассказывал, что Бретуэйт заявлялся без предупреждения, часто сильно нетрезвым, и постоянно ворчал, что Макадам не припас для него пива. Он съедал всю еду в доме, устраивал беспорядок и не желал убирать за собой. Если Макадаму нужно было идти на работу, он отдавал ключ Бретуэйту. Неоднократно случалось так, что, вернувшись с работы, он не мог попасть в собственную квартиру, потому что Бретуэйт приводил девушку и запирал дверь. Когда Макадам возмущался, Бретуэйт отвечал, что давно пора сделать еще один ключ. В конце концов Макадам не выдержал и переехал на другую квартиру. Он годами жил в страхе случайно наткнуться на улице на своего бывшего друга, но больше они с Бретуэйтом не виделись. «Видимо, он нашел других дураков, готовых терпеть его выходки», — сказал Макадам.

Единственным человеком, способным терпеть Бретуэйта в это время, была Зельда Огилви, дочь представителей среднего класса, школьных

учителей Роберта Огилви и Дианы Огилви (в девичестве Кармайкл). Роберт был еще и поэтом и в 1920-х годах выпустил несколько тоненьких сборников стихотворений, причем одно из них, «Презренные земли», получило хвалебные отзывы самого Хью Макдиармида и стало чем-то вроде негласного гимна только что зародившегося шотландского националистического движения. Диана была неплохой акварелисткой и состояла в Эдинбургском клубе художников, где у нее часто бывали выставки. Стены их дома в Морнингсайде были увешаны многочисленными образцами ее работ. Раз в месяц супруги устраивали званый вечер, куда приглашали художников, писателей и студентов. Понятно, что в такой обстановке Зельда получила весьма нешаблонное воспитание, причем с самого раннего детства родители поощряли все ее самостоятельные творческие начинания. Она была единственным ребенком в семье и придумала себе воображаемого брата по имени Зенон, с которым вела долгие серьезные разговоры. За столом она съедала лишь половину своей порции, чтобы оставить поесть и Зенону. Эту проблему ее мама решила просто: стала ставить отдельную тарелку с едой для Зенона и привлекать его к застольным беседам. Зельда

заревновала и через пару недель объявила, что Зенону уже не нужна никакая еда, потому что он умер от воспаления легких. Ей было семь лет.

В 1954 году Зельда поступила в Оксфорд на факультет истории искусства. Одевалась она эксцентрично: широкие брюки, мужские твидовые пиджаки необъятных размеров — и иногда даже ходила с моноклем. Она не пользовалась косметикой и носила короткую мужскую стрижку. Все считали ее лесбиянкой, но в интервью 1988 года она сказала: «Я даже ни разу не целовалась с девушкой. Мне всегда нравились мужчины». В 1956 году, когда Бретуэйт поступил в аспирантуру, она перешла на последний курс. Она знала о репутации Бретуэйта и пару раз приходила на встречи Клуба Вагстаффа. «Мне он казался совершенно невыносимым, — говорила она. — Я искренне не понимала, чем он так привлекает людей». Когда произошло неизбежное и Бретуэйт подкатился к Зельде в своей фирменной грубой манере, она так же грубо ему разъяснила, куда ему надо пойти.

Сопротивление Зельды лишь подогрело интерес к ней Бретуэйта. С поразительной прозорливостью, которую позже отметят многие его клиенты, он написал Зельде несколько писем от имени «Колина Артура». Письма были задума-

ны не как обман, а как обращение к человеку, который, по мнению Бретуэйта, сознательно являет миру свой придуманный образ. «Колин» выразил восхищение тем, как решительно Зельда ответила на домогательства «этого грубияна Бретуэйта». «Он наглый притворщик, но никто, кроме тебя, этого не разглядел. Ты же видишь его насквозь. Снимаю шляпу перед твоей проницательностью», — писал он. Также он сообщил, что давно восхищается Зельдой, но, будучи человеком застенчивым, стесняется завести с ней знакомство. Эти письма понравились Зельде, и она согласилась встретиться с их застенчивым автором в пабе «Три козлиных головы» на Сент-Майклс-стрит.

Зельда явилась на встречу в своем обычном наряде, на сей раз еще в пенсне и кепке. Бретуэйт объяснил, что Колину Артуру пришлось срочно уехать, но это и к лучшему. Колин Артур — тот еще прохиндей, и ему нельзя доверять. Одарив Бретуэйта надменным взглядом, Зельда чуть склонила голову набок в своей характерной манере, которая будет заметна на многих более поздних ее фотографиях, и заявила, что еще не решила, будет с ним спать или нет. Бретуэйт спросил, что ему надо сделать, чтобы она приня-

ла решение в его пользу.

— Ничего, — ответила Зельда. — Я очень капризная.

— В таком случае мы точно с тобой переспим, — заключил Бретуэйт.

Зельда пожала плечами.

Бретуэйт сходил к барной стойке и вернулся с напитками. Поскольку женщинам в пабах не подавали целую пинту пива, Зельда попросила взять ей две полупинты и большой бокал, куда можно их перелить. Они просидели в пабе весь вечер, обсуждая писателей и художников. Их вкусы категорически не совпадали. Зельда любила Брейгеля. Бретуэйт даже не видел его картин. Ему нравился Пикассо, потому что в своих работах он непрестанно изобретал себя заново. Зельда заметила, что при таком низком качестве упомянутых работ ему ничего больше не остается, кроме как проявить изобретательность. Они рассказали друг другу о себе, о своих семьях и детстве. Бретуэйт назвал Зельду «мелкой шотландской буржуечкой».

— Не будь нас, буржуев, — отозвалась она, — вам, пролетариям, некого было бы винить в своих бедах.

После закрытия они разошлись в разные сторо-

ны, но Бретуэйт не на шутку увлекся Зельдой, как не увлекался еще никем и никогда. «Я встречал многих умнее меня, — писал он позднее, — но Зельда была первой, кто знал, что она умнее меня». Короче говоря, она была не из тех, кого можно обидеть, обольстить или запугать.

Через пару недель они встретились снова, в том же баре. Близилось окончание зимней сессии, и Зельда сказала, что на каникулах она собирается съездить к родителям в Эдинбург. Они тревожились, что их дочка «заделалась лесбиянкой», и Бретуэйт ее очень обяжет, если приедет к ним в гости на несколько дней и выступит в роли ее ухажера. Бретуэйт согласился, и в Эдинбург они поехали вместе. Стоит ли говорить, что чета Огилви, желая продемонстрировать молодежи свои прогрессивные богемные нравы, поселила «влюбленную парочку» в одной спальне.

Так продолжалось еще три года. Их отношения всегда были неофициальными. Зельда старательно избегала всего, что могло бы напоминать устоявшуюся рутину. Иногда они проводили все воскресенье в комнате у Бретуэйта в аспирантском общежитии, читали каждый свое и периодически предавались любовным утехам. Иногда куда-нибудь ездили вместе на выходные.

Временами вообще не встречались по нескольку недель кряду. Наверное, столь нарочитая неупорядоченность могла бы считаться рутиной сама по себе, но при всей эксцентричности этого соглашения оно как будто устраивало их обоих.

«Фантазмы и галлюцинации», докторская диссертация Бретуэйта, написанная в тот период, берет в качестве отправной точки «случай Анны О.», описанный австрийским психиатром Йозефом Брейером в 1895 году. Вступительная глава диссертации носит озорное название «История О», в честь известного эротического романа Полин Реаж, с которым Бретуэйт познакомился, когда был в Париже (он всю жизнь увлекался порнографией). Согласно Брейеру, Анна О. «жаловалась на полный мрак в голове… на то, что в ее душе присутствуют два Я, Я истинное и Я другое, нехорошее, злое […]. Эти два состояния сознания существовали параллельно друг другу: в своем основном состоянии пациентка оставалась относительно нормальной; во втором состоянии она испытывала галлюцинации и фантазмы, подобные сновидениям наяву, также у нее случались провалы в памяти, и она демонстрировала неспособность контролировать свои мысли и действия. В этом втором состоянии сознания пациентка бы-

ла совершенно оторвана от действительности».

Бретуэйт не соглашается с Брейером, разделяющим состояния сознания на основное и вторичное. Кто будет решать, в каком именно состоянии — если в каком-то вообще — пациентка оторвана от действительности? Брейер строит свои заключения на том, что пренебрежительно классифицирует «фантазмы и галлюцинации» Анны как больные, неадекватные переживания — и превозносит способность «контролировать» свои мысли. Бретуэйт утверждает, что второе, альтернативное состояние Анны О. следует считать столь же «реальным», как и первичное. Брейер был убежден, что «у пациентки имеются две разные личности, одна из которых психически нормальная, а вторая — душевнобольная». Бретуэйт видит решение проблемы Анны О. не в том, чтобы лечить раздвоение, пока пациентка не обретет «одну неделимую личность», а в том, чтобы принять постулат, что человек — не единая личность, а совокупность личин, причем все они равнозначны и равноценны. «Никто не ждет, что многодетная мать станет любить одного ребенка больше всех остальных, — пишет он. — Почему с нашими «я» должно быть по-другому?»

Далее он приводит примеры двойничества в

литературе. В частности, рассуждает о повести Достоевского «Двойник». Суть его рассуждений состоит в том, что, если бы история была рассказана с другой точки зрения, тогда самозванцем предстал бы господин Голядкин, а не «двойник» с тем же именем и той же внешностью. Точно так же и с нашим «я», утверждает Бретуэйт: мы принимаем того себя, которого узнаем первым, а всех остальных отвергаем как самозванцев.

Бретуэйт подкрепляет свои аргументы отсылкой к рассказу «Вильям Вильсон» Эдгара Аллана По. Героя рассказа с детства преследует его полный двойник с такими же именем, датой рождения и внешним обликом. Вильям Вильсон вспоминает, как он пытался избавиться от своего двойника и погряз в бездуховности и безнравственности. Двойник периодически возникает по ходу повествования в роли поборника морали и пытается удержать Вильсона от преступных деяний. Между ними идет непрестанная борьба: «Вильсон по-прежнему пытался подчинить меня своей деспотической воле, а я все упорнее стремился вырваться из оков».

В конце рассказа герой-рассказчик вступает в схватку со своим двойником и пронзает его сердце рапирой. Но он убивает не двойника: он

убивает себя самого. Последние слова Вильсона, завершающие рассказ, звучат так: «Ты победил, и я покоряюсь. Однако отныне ты тоже мертв… Мною ты был жив, а убив меня… ты бесповоротно погубил самого себя!» [13]

Диссертация Бретуэйта хаотична, бессвязна, противоречива, иногда искрометно блистательна, но чаще невнятна. Диапазон ссылок обширен и разнообразен, что свидетельствует о широкой начитанности Бретуэйта, но в этом и заключается часть проблемы. Он цитирует Софокла, Платона, Фрейда и Юнга, однако не соглашается ни с одним из цитируемых им авторов. Их мысли служат лишь инструментом для украшения его собственных доводов. Бретуэйт отвергает теории других, но не предлагает альтернативы. Вся диссертация представляет собой своего рода костер, на котором сгорают чужие идеи («Что бы там ни было, я сразу против»). И все-таки она содержит зачатки всего, что потом войдет в книгу, которая вскоре сделает его знаменитым: «Убей себя в себе».

---

[13] Примечания: 13
Перевод Р. Облонской.

Третья тетрадь

Надо признаться, я с нетерпением жду вечера, чтобы засесть за тетрадь. Эти записи дали мне ощущение смысла, которого мне не хватало. Раньше я проводила вечера в гостиной, составляя компанию папе: он решал кроссворды, я читала журнал или книгу. Просто в силу привычки. Других причин не было. Все темы для разговоров обычно исчерпывались за столом, но, если я уходила к себе сразу после ужина, у меня было чувство, что я бросаю отца на произвол судьбы в облике миссис Ллевелин. Когда она только-только у нас появилась, она спросила, почему у меня нет хобби, чтобы себя развлечь. Разумеется, я сочла этот вопрос неуместным и бесцеремонным — и так ей и сказала.

Дамские рукоделия всегда представлялись мне пустой тратой времени. Часами сидеть, сгорбившись над пяльцами для вышивания, — это вовсе не то, на что стоит растрачивать жизнь. Для низших классов шитье или вязание, может быть, и являются необходимостью, но мы-то не нищие, чтобы ходить в самодельных одежках. Да,

у нас есть пианино, но после смерти сестры оно стоит просто для украшения. Все музыкальные таланты в нашей семье были сосредоточены в пухлых коротких пальцах Вероники. Папе нравилось слушать, как она играет, и я даже не поднимала крышку над клавишами, чтобы не вызывать ее призрак. Это было бы слишком жестоко по отношению к отцу. Так что по вечерам я просто тихонько сидела в гостиной и читала романы о современных независимых женщинах, которых тошнит при одном только упоминании о замужестве.

Я давно для себя решила, что не хочу становиться современной независимой женщиной. Мне непонятно нынешнее повсеместное маниакальное стремление к свободе. Мне кажется, что нам всем было бы гораздо лучше, если бы мы просто приняли свою участь, назначенную судьбой, и не пытались сбросить некие воображаемые оковы. Я понимаю, что не всем повезло в жизни так же, как мне, но непрестанные потуги пробиться наверх — это и есть прямой путь к разочарованию и недовольству. У меня вполне скромные запросы: я хочу только заботиться об отце и иметь возможность время от времени побаловать себя новым пальто или парой чулок. Это не значит, что я ни-

когда не завидую тем, кому легко дается успех, но места наверху для всех не хватит. У каждого есть свой удел, и лучше смиренно принять его сразу, чтобы не растрачивать силы попусту. Никакие иголки и мулине, никакие домашние пианино не изменят того непреложного факта, что большинству из нас уготовано тихое отчаяние, и это лучшее, на что мы можем надеяться.

Меня не всегда посещали такие мысли. Было время, когда я смотрела на жизнь более оптимистично. Перемена произошла вскоре после моего двадцать первого дня рождения. Мамы не было с нами уже шесть лет. Вероника уехала покорять Кембридж. Как-то вечером папа сказал мне за ужином, что я не должна приносить себя в жертву на его алтаре. Я спросила, что он имеет в виду, и он пояснил, что мне надо почаще «выходить в свет», а не чувствовать себя обязанной сидеть дома и ухаживать за престарелым отцом; для молодой женщины это не жизнь, особенно в нынешние времена всеобщей вымрисипации. Видимо, он имел в виду «эмансипации», но я не стала его поправлять. И не стала говорить ему, что у меня нет желания «выходить в свет», и что я вовсе не чувствую себя обделенной, сидя дома и заботясь о нем. Никто же не возражает против

того, чтобы женщина сидела дома и заботилась о муже. Наоборот, это даже приветствуется. Почему нельзя точно так же заботиться об отце? Но я понимала, что папа прав. В тех редких случаях, когда я «выходила в свет», мои собеседники както странно смущались, когда я говорила им, чем занимаюсь, и либо быстро меняли тему разговора, либо смотрели на меня как на слабоумную. Если честно, мне было страшно. Я боялась всего. Работающие женщины представлялись мне существами из какой-то другой, параллельной вселенной. Они жили в мире, где люди стремятся к успеху, обмениваются остроумными репликами за бокалом с вечерним коктейлем и беспечно заводят внебрачные связи. Из всех преимуществ работы в агентстве у мистера Браунли я бы выделила основное: очень скоро мне стало понятно, что мир работающих людей населен точно такими же недотепами и размазнями, как я сама.

Найти работу оказалось гораздо проще, чем я себе представляла. Я дождалась понедельника — все выходные я провалялась в постели, чуть не разболевшись на нервной почве, и вышла из дома ровно в восемь утра. Купила в киоске свежий номер «Стэндарт» и зашагала навстречу неизвестному будущему, в своем лучшем костюме и

на каблуках, повторяя про себя свою новую мантру: Я — независимая современная женщина. Я — НЕЗАВИСИМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА. Когда я дошла до «Лиона» на Элджин-авеню, то сама почти в это поверила. Я заказала большой чайник чая и открыла газету на странице вакансий. Я просмотрела все разделы подряд, потому что слабо себе представляла, где и кем я собираюсь работать при условии, что меня вообще где-то возьмут. Очевидно, что это должно было быть что-то очень простое; что-то, не требующее особенных навыков или талантов, поскольку кроме сертификата об окончании курсов машинописи — я получила его еще в школе, где эти курсы шли обязательным предметом для наименее успевающих учениц, — я могла мало что предложить своему потенциальному работодателю. Впрочем, я твердо решила, что отсутствие опыта и умений не собьет меня с курса, и обвела в кружок все объявления, не пугавшие запредельными требованиями, под которые моя скромная кандидатура уж точно не подходила. Допив чай, я освежила помаду, вышла на улицу и направилась к ближайшей телефонной будке. Вакансии по первым трем объявлениям оказались уже закрыты. Когда мне в четвертый раз было сказано, что вакансия

занята, я раздраженно поинтересовалась, зачем в таком случае давать объявление в газету. Мне ответили, что объявления размещаются на две недели, но все вакансии, как правило, закрываются в первый же день. Мои шансы стремительно таяли, но я продолжала упорно обзванивать все конторы по списку. Независимая современная женщина не позволяет себе унывать, и еще через два-три звонка меня все-таки пригласили на собеседование. Прямо сегодня, в половине четвертого. В объявлении было написано: «В агентство требуется помощница руководителя. Опыт работы приветствуется. Зарплата по договоренности». Я совершенно не представляла, чем занимаются помощницы руководителей, но поскольку уже подрабатывала в магазине помощницей продавца, то решила, что это хороший знак.

До собеседования оставалось еще много времени, и вся моя боевитость, которую я так решительно взращивала в себе, успела развеяться без следа. Из меня никогда не получится независимая современная женщина. Я хочу сидеть дома, заботиться об отце, читать романы и ублажать себя пальчиком перед зеркалом в спальне. Я проклинала Эммелин Панкхёрст и ее компанию Иезавелей за то, что они все испортили. Тем не менее в

назначенный час я явилась в театральное агентство Чарльза Браунли на Олд-Комптон-стрит. Я назвала свое имя в меру привлекательной секретарше, и мне было предложено сесть в приемной, где собеседования дожидались еще две соискательницы; мистер Браунли скоро меня примет. Чтобы подкрепить пошатнувшуюся уверенность, я принялась составлять мысленный перечень недостатков своих соперниц. Первой была женщина средних лет с некрасивыми толстыми лодыжками и уродливым синяком на ноге. Ее пальто было потрепано по подолу, и она сидела, расставив ноги. Вторая, мелкая потаскушка едва ли старше восемнадцати, составляла довольно серьезную конкуренцию: очень хорошенькая, с длинными волосами, в обтягивающем желтом свитере, белых сапогах до колен и настолько короткой юбке, что еще лет десять назад ее сочли бы оскорблением общественной нравственности. Она снисходительно мне улыбнулась, несомненно, уверенная, что ее полураздетое состояние покорит мистера Браунли с ходу. Я улыбнулась в ответ, подкрепив себя мыслью о сертификате об окончании курсов машинописи, который лежал у меня в сумочке.

В кабинете у мистера Браунли я уселась на стул

для посетителей за его письменным столом. Села как можно прямее и положила руки на колени. Мистер Браунли долго смотрел на меня, как мне показалось, не без одобрения. На вид ему было около пятидесяти, может, чуть больше. Он был одет в немодный коричневый костюм в тонкую полоску, с широким галстуком, украшенным узором из древнегреческих театральных масок. Поредевшие волосы он зачесывал через всю голову, чтобы скрыть шелушащуюся лысину на макушке. Его аккуратно подстриженные усы вкупе с мягкими, доброжелательными манерами отчасти сглаживали впечатление от его невзрачного внешнего вида. Он затушил сигарету в металлической пепельнице. Все собеседование состояло из одного-единственного вопроса:

— Вы считаете, что справитесь с обязанностями мисс Эванс? Она от нас уходит.

— Смотря в чем заключаются эти обязанности, — ответила я.

Мистер Браунли одобрительно закивал головой.

— Разумный ответ, мисс…?

Я напомнила ему, как меня зовут.

— Вы даже не представляете, сколько девушек приходили сюда и принимались меня уверять,

что обязательно справятся, хотя я еще даже не разъяснял, что надо делать.

— Весьма опрометчиво, — заметила я.

— Полностью с вами согласен.

— И что надо делать? — спросила я.

Перечисленные обязанности не казались особенно сложными: отвечать на телефонные звонки, печатать письма, приветствовать клиентов, выполнять мелкие поручения. Я достала из сумки сертификат об окончании курсов машинописи и положила его на стол. Кажется, это произвело впечатление на мистера Браунли. Он повел плечами, словно мысленно принял решение, и сказал:

— Сможете приступить к работе в эту пятницу? Эванс выходит замуж в субботу. Она все вам покажет и все расскажет. Для начала я вам предлагаю шесть фунтов в неделю. — Он помолчал и добавил: — Вы же не собираетесь замуж в ближайшее время?

Я уверила его, что не собираюсь. Он поднялся из-за стола, подошел ко мне, и мы пожали друг другу руки, как Рузвельт и Черчилль, достигшие договоренности.

Раньше я не понимала, что означает фраза «пружинистая походка», а теперь поняла. Я шага-

ла по Чаринг-Кросс-роуд той самой пружинистой походкой. Я улыбалась прохожим. По пути мне попалась кофейня. Я никогда не бывала в таких заведениях, но смело вошла и уселась за столик у окна. Заказала себе капучино. За соседним столом три молодых человека со взъерошенными волосами и замшевыми заплатами на локтях пиджаков обсуждали какую-то рукопись, лежавшую перед ними. За другим столиком импозантный пожилой джентльмен читал журнал «Сцена». Возможно, он был театральным критиком. Он заметил, что я на него смотрю, и впервые в жизни я не отвела взгляд. Теперь я — помощница руководителя в театральном агентстве. Я пью капучино и совсем скоро начну зарабатывать шесть фунтов в неделю. Почти случайно я стала независимой современной женщиной. Официантка, красивая девушка с густо подведенными тушью ресницами, двигалась так, словно ждала, что сейчас ее будут фотографировать. Возможно, она была начинающей актрисой. Может быть, закрепившись в агентстве у мистера Браунли, я сумею задействовать свои связи, чтобы вывести ее на большую сцену, и спустя много лет, в своих мемуарах, она с благодарностью вспомнит женщину, которая заметила ее в кофейне на

Чаринг-Кросс-роуд. Капучино почти целиком состоял из молочной пены и стоил в два раза дороже, чем чайник чая в «Лионе». Несмотря на грядущее богатство, я решила больше не поддаваться такому суетному соблазну.

За ужином я сообщила папе, что устроилась на работу. Он обрадовался так сильно, что я даже обиделась. Как будто это такое великое достижение, на которое, с его точки зрения, я была в принципе не способна.

— Прекрасно, просто прекрасно, — повторял он, иногда забывая донести ложку с супом до рта. — Я тобой очень горжусь.

Он говорил со мной так, словно я была умственно отсталой.

— Это простейшая секретарская работа, — сказала я. — С ней справится и шимпанзе.

— И все равно, — сказал он. — Мало ли какие откроются перспективы.

Меня задело его замечание, но я лишь собрала со стола суповые тарелки и пошла в кухню разогревать консервированное рагу на второе.

Работа в театральном агентстве оказалась совсем не такой интересной, как мне представлялось. Я целыми днями печатала письма и договоры, разбирала входящую почту и сочув-

ственно выслушивала жалобы удрученных клиентов мистера Браунли. Эта разношерстная компания состояла по большей части из артистов оригинального жанра, третьесортных иллюзионистов и шансонье, чей звездный час на эстраде давно миновал. Каждую среду, ровно в три пополудни, приходил Великий Дандо. Склонялся над моим столом, дыша перегаром от виски, доставал у меня из-за уха монету в два шиллинга, которая исчезала в его ладони, а потом появлялась в другой руке. Один раз из десяти у него получалось. В остальных девяти случаях монета выскальзывала у него из рукава, и он поднимал ее с пола дрожащей рукой. Независимо от результата я изображала восторженное изумление, чтобы не подрывать его уверенность в себе. Великий Дандо не желал выступать на детских утренниках, а поскольку у мистера Браунли не было для него других ангажементов, он давал представления в пабах в обмен на выпивку, которую ему покупали из жалости или, что вероятнее, в надежде, что чем быстрее он напьется, тем быстрее уйдет. Мне он был симпатичен, и я с нетерпением ждала его еженедельных визитов. Однажды, пока он дожидался приглашения в кабинет мистера Браунли, я спросила, какое у него настоящее имя. «Мое на-

стоящее имя, — проговорил он с таинственным видом, — Великий Дандо». Он вытащил из рукава букет пластиковых цветов и с низким поклоном вручил его мне. Разговор, как всегда, оказался бесплодным, и перед тем как уйти, старый фокусник попросил меня вернуть букет и неуклюже запихал его обратно в рукав.

— За такое меня исключат из Магической гильдии, — сказал он, постучав себя пальцем по носу. Я его успокоила, что его тайна в надежных руках и никто ничего не узнает. Он потрепал меня по щеке и сказал, что я хорошая девочка.

Мистер Браунли не только устраивал ангажементы для Великого Дандо и ему подобных. Еще он поставлял девушек в различные клубы в Сохо. Раза три или четыре в неделю у нас в приемной обязательно появлялась молодая девчонка — неизменно из какого-нибудь провинциального северного городка, — с грохотом ставила на пол свой большой чемодан и объявляла себя актрисой, ищущей работу. Иногда они предъявляли рекомендательные письма от такой-то или такой-то репертуарной труппы или рецензии на спектакли, аккуратно вырезанные из мелких местных газет. Хотя сам мистер Браунли был родом из Манчестера, к этим девушкам он

относился со снисходительным отвращением. «Толстые ноги и дремучий акцент, — говорил он. — Я не могу выпустить таких замухрышек на лондонскую сцену». Однако мистер Браунли был мастером убеждения. «Если бы вы появились вчера, — разливался он перед очередной замухрышкой, — в «Олд Вике» как раз была роль, которая подошла бы для вас идеально. Я уверен, что скоро появится что-то еще, а пока суд да дело…» После чего удрученная бедняжка отправлялась по определенному адресу на Уолкерс-Корт, где ей предстояло терпеть унижения, пока она не осознает свою ошибку и не вернется обратно к себе в захолустье, где выйдет замуж за Билли, Дика или Артура и поселится с мужем в свободной комнате в доме его родителей. Этот печальный круговорот, собственно, и держал на плаву бизнес мистера Браунли. Текучка «кадров» была постоянной, поток юных провинциалок не иссякал. В верхнем ящике рабочего стола я держала большую коробку с бумажными носовыми платками.

И все-таки впервые в жизни у меня было чувство, что я нашла свое место в мире. Я перестала быть невидимкой. Я зарабатывала деньги своим трудом. Это не значит, что я стала нормально

функционирующим членом общества, но поскольку все до единого клиенты мистера Браунли были, скажем так, несколько своеобразными, я отлично вписалась в эту компанию.

По вечерам я продолжала сидеть с папой в гостиной, но мне надоело читать всю эту чушь, что печатают в женских журналах. Мне казалось, что я могу написать что-то получше. Или хотя бы попробовать. Я стала делать маленькие словесные зарисовки о людях, с которыми сталкивалась на работе. Потом купила новую тетрадь и в течение нескольких дней, уединившись у себя в комнате после ужина, сочиняла рассказ, ставший моим единственным литературным триумфом: «Теплый прием». Его главная героиня, Айрис Чалмерс, работала секретаршей в театральном агентстве, и действие строилось на ее связях с мужчинами, обращавшимися в агентство на постоянной основе. Вот начало рассказа:

Айрис Чалмерс была не из тех девушек, которые довольствуются тем, что дают. Ее мама всегда говорила: «Пока будешь ждать принца, упустишь свое простое женское счастье». Но Айрис не собиралась довольствоваться простым женским счастьем. Нет, ей нужен принц и только принц. И однажды мужчина ее мечты вошел прямо в

Театральное агентство Браунстоуна, где Айрис работала секретаршей. Его звали Ральф Констебль. Высокий, статный красавец, и к тому же богатый. Но вот незадача: он был непоправимо женат.

Я написала рассказ за три вечера, полностью погрузившись в драматические переживания Айрис Чалмерс (она всегда попадала в какой-нибудь переплет). Я перепечатала рукопись на работе, в минуты затишья, пряча тетрадь под столом на коленях, чтобы мистер Браунли ничего не заметил и не поинтересовался, чем я таким занимаюсь. Отпечатанные страницы отправила почтой в редакцию «Женского журнала». Ответа не было несколько недель. Я почти и забыла обо всей этой затее, но однажды вечером, вернувшись с работы, обнаружила на столике в прихожей конверт, адресованный на мой писательский псевдоним. В конверте была моя рукопись и письмо от некоей миссис Патриции Ившем, в котором она сообщала, что, хотя мой рассказ очень даже неплохо написан и, вероятно, придется по вкусу читательницам «Женского журнала», редакция не возьмет его для публикации в его нынешнем виде. Они не могут, продолжала она, напечатать в журнале рассказ, героиня которого так легко и

небрежно вступает в связь с женатым мужчиной. Однако если я внесу правки, обозначенные в рукописи, редакция пересмотрит свое решение и рассказ все-таки будет опубликован. «Очень даже неплохо написан» — это была наивысшая похвала, о которой я даже не смела мечтать. Также я испытала тайный восторг при одной только мысли, что моя героиня оказалась слишком порочной для читательниц «Женского журнала». Сразу после ужина я уселась за исправление своих ошибок. Ральф Констебль стал молодым вдовцом. Айрис избавилась от распутных мыслей и замашек, неподобающих истинной леди. Даже если у меня и возникало смутное ощущение, что я поступаюсь собственным «художественным видением», оно прошло сразу, как только рассказ приняли к публикации. Чек на два фунта стал достаточной компенсацией за отказ от изначального замысла.

В последующие недели я сочинила еще несколько рассказов. Я была уверена, что, когда «Теплый прием» выйдет в свет, меня завалят всевозможными предложениями, и мне хотелось заранее подготовиться. Я видела, как прогрессирует мое писательское мастерство. Я отказалась от витиеватого стиля моего первого опуса в пользу более

сдержанного, более литературного изложения. Я размышляла над каждым абзацем, а не неслась сломя голову от одной сцены к другой. Я наделяла своих персонажей богатой внутренней жизнью, надеясь, что читатель прочувствует сложность созданных мною характеров. Я убедила себя, что мне суждено стать Нэнси Митфорд [14] своего поколения.

В тот четверг, когда вышел номер с «Теплым приемом», я едва дождалась обеденного перерыва и помчалась к газетному киоску на Чаринг-Кросс-роуд покупать журнал. Я стояла на тротуаре у входа и перелистывала страницы. Иллюстрация была довольно вульгарной: Айрис в до неприличия короткой юбке сидела за секретарским столом, вызывающе положив ногу на ногу, что совершенно не соответствовало ее описанию в рассказе, — но даже эта вольность не убавила радости от того, что мое сочинение попало в печать. Мне казалось невероятным, что вот я стою посреди тротуара с журналом в руках, а прохожие даже не знают, что они идут мимо знаменитой писательницы. В некоторой растерянности я

[14] Примечания: 14

Нэнси Фриман-Митфорд (1904–1973) — британская писательница, биограф и журналистка. Наиболее известна как автор романов о жизни высшего общества Великобритании и Франции.

вернулась в киоск и купила еще три экземпляра журнала. Продавец ничего не сказал, но я сочла нужным ему пояснить:

— В этом номере напечатали мой рассказ.

Продавец равнодушно пожал плечами.

— С вас все равно девять шиллингов, барышня.

Тогда я не знала, что это будет зенитом моей литературной карьеры. Следующие несколько дней я напрасно ждала шквала писем от восторженных читателей и заманчивых предложений от разных издательств. Еще через неделю, в обеденный перерыв, я пришла в главный офис редакции «Женского журнала» на Рассел-сквер. Секретарша в приемной, девушка лет двадцати, любезно спросила, чем она может быть полезна. Я объяснила ей ситуацию. Возможно, сказала я, мой адрес был указан неправильно. Она сделала вид, будто просматривает стопку писем. Для меня не было ничего. Однако я не упала духом, отпечатала на машинке несколько своих новых рассказов и разослала их в разные журналы. Все они были возвращены в сопровождении практически одинаковых, словно написанных под копирку писем с отказом. Как-то вечером я решила перечитать «Теплый прием». Мне вдруг подумалось, что, пытаясь «возвысить» свой стиль, я, наверное,

забрела не туда и слишком уж далеко отошла от выигрышной формулы. С каждым прочитанным предложением я все больше и больше впадала в уныние. Даже в этом рассказе все было безжизненно и банально. На следующий день, не желая оставлять даже пепла в камине, я выкинула все «писательские» тетради в урну на тихой улочке в Мейда-Вейл.

Дней через десять после того, как я устроилась на работу в агентстве у мистера Браунли, папа привел в дом миссис Ллевелин. Разумеется, тому было разумное объяснение.

— Теперь ты работаешь, у тебя нет времени бегать по магазинам и стоять у плиты.

Я возразила, что трачу не так много времени на готовку. В наши дни получить полноценное питание проще простого: достаточно просто открыть пару-тройку консервных банок.

— О том и речь, — сказал папа, и я поняла, что ему совершенно не нравились те обеды и ужины, которые я для него сооружала. Да, я совсем не умею готовить, и за последние годы он сильно похудел. Но теперь, когда он добился того, что я все же устроилась на работу, у него появился предлог, чтобы заменить меня на хозяйстве кем-то более сведущим. Выходит, я подвела папу, и

работа у мистера Браунли вдруг показалась мне глупой и совершенно бессмысленной. И еще мне подумалось, что после маминой смерти папа шесть лет не искал женского общества. Когда я была младше, мне даже в голову не приходило, что у отца могут быть определенные физические потребности (я имею в виду сексуальные запросы), но теперь я стала старше и искушеннее, и я понимала, что для еще не старого мужчины такие потребности были бы вполне естественны. Общество одобряет, когда дочь ухаживает за овдовевшим отцом и следит за порядком в родительском доме, но, если бы я стала заботиться о его плотских нуждах, это было бы недопустимо. С такими вещами мирятся в колониях, но в Англии так не делается.

Я сразу же невзлюбила миссис Ллевелин, и, осмелюсь предположить, она невзлюбила меня. Я понимаю, что в наш век равенства нельзя питать неприязнь к человеку только на том основании, что он родился в Уэльсе. Место рождения не выбирают (это случайность, достойная жалости, но уж никак не презрения), однако мне кажется справедливым, что, если ты проявляешь к кому-то терпимость, ему тоже следует постараться смягчить свои недостатки, обуслов-

ленные его происхождением. Однако подобные соображения нисколько не беспокоили миссис Ллевелин. Хотя они с мужем (ныне покойным) переехали в Лондон сразу после войны, она до сих пор не избавилась от акцента, и временами было совершенно невозможно разобрать, что она говорит. Пару раз я пыталась научить ее правильно произносить повседневные слова и расхожие фразы, но она оказалась плохой ученицей. Больше того, в нашу первую встречу она имела наглость сообщить мне, что ее фамилия произносится как «Ту-элин». «Тогда почему она так же не пишется?» — ответила я. И вдобавок ко всем прочим радостям, каждое ее действие сопровождается заунывным пением, словно она задалась целью не дать мне забыть о ее присутствии в доме. Зная, что я не могу ей указывать, я попросила отца сделать ей замечание, но его, кажется, лишь позабавила моя просьба. Должно же хоть у кого-нибудь в этом доме быть хорошее настроение, ответил он. Мне было обидно.

Это был первый из многих случаев, когда отец принял сторону домоправительницы против меня, и я решила, что сделаю все, что смогу, чтобы ее дискредитировать. Это оказалось непросто. Миссис Ллевелин, надо отдать ей должное, прекрасно

готовит. Когда я возвращаюсь с работы, в доме уютно пахнет кипящим бульоном. Уже через пару недель после ее появления они с папой начали обращаться друг к другу по именам, и он упорно настаивал, чтобы она садилась за стол вместе с нами. Так не пойдет, чтобы она нас обихаживала как прислуга, сказал он однажды. Она теперь член семьи. Он посмотрел на меня, словно ждал, что я соглашусь с этим нелепым заявлением, но я лишь отодвинула тарелку и объявила, что мне надо следить за фигурой.

Миссис Ллевелин совершенно не соответствует образу, возникающему в голове при слове «домоправительница». Она отнюдь не дородная матрона. Да, у нее слишком румяные щеки (явный признак низкого происхождения), но при этом довольно приятные черты лица и изящная стройная фигура. Я сразу же заподозрила, что отец нанял ее не только, чтобы вести хозяйство, но и удовлетворять те потребности, которые невозможно удовлетворить с собственной дочерью. Я взяла в привычку ходить по дому в носках, чтобы неслышно подкрасться, когда они будут вдвоем. Однажды я их застала в папином кабинете. Миссис Ллевелин стояла за креслом отца, склонившись над его плечом. Его объяснение,

что они проверяют домашние финансы, не развеяло моих подозрений. По ночам я оставляла дверь своей спальни чуть приоткрытой. У меня чуткий сон, так что любые ночные проделки разбудили бы меня сразу. Я подолгу лежала без сна и прислушивалась, не скрипнет ли дверь папиной спальни. Иногда я вставала и бродила по дому в ночной рубашке. Частенько захлопывала мышеловки, которые миссис Ллевелин расставляла в кладовой, или убирала печальные серые трупики, чтобы лишить ее удовольствия от победы. Ее отвращение к мышам было совершенно несоизмеримо с тем вредом, который они могли причинить.

В ней ощущалась какая-то пугающая жестокость, и мое стремление вбить клин между нею и моим отцом объяснялось исключительно заботой о его благополучии. Однажды утром, перед тем как уйти на работу, я положила на пол в прихожей банкноту достоинством в один фунт, спрятав ее за ножкой телефонного столика. Когда я вернулась домой, банкноты на месте не было. За ужином я как бы вскользь сообщила отцу, что, кажется, потеряла фунт. Искала повсюду, но не нашла.

— А мы-то думали, кто тут разбрасывается день-

гами, — ответил папа. — Утром Маргарет нашла в прихожей.

Он достал из кармана мой фунт и протянул его мне. Когда миссис Ллевелин принесла десерт, он сообщил ей, что тайна раскрыта. Она ответила, что рада это слышать, но выражение ее лица явно давало понять, что она раскусила мой хитрый план. Я понимаю, что все это характеризует меня не с лучшей стороны. Надо признаться, я ревновала.

Когда я пришла к доктору Бретуэйту в третий раз, Дейзи сказала, что я могу сразу пройти в кабинет. Меня встревожило неожиданное отклонение от заведенного порядка. Я привыкла, что перед сеансом у меня есть время на подготовку, чтобы сбросить последние остатки собственной личности и стать Ребеккой. Я помедлила у стола Дейзи, спросила:

— А что, мисс Кеплер сегодня не приходила?

Она уставилась на меня своими нежными голубыми глазами. Как хорошо быть Дейзи! Сразу видно, что ни одна мрачная мысль никогда не посещала ее хорошенькую головку. Наверное, когда ты работаешь в таком месте и каждый день наблюдаешь за богатыми лондонскими сумасшедшими, это очень способствует укреплению

душевного здоровья. Она не ответила на мой вопрос, а лишь повторила, что доктор Бретуэйт готов принять меня прямо сейчас.

— Она заболела? — продолжала расспрашивать я.

Лицо Дейзи сделалось на удивление строгим.

— Вы сами знаете, мисс Смитт, что я не могу обсуждать с вами других посетителей. — Она наклонилась вперед, перегнувшись через стол, и добавила театральным шепотом: — Вам даже не следует знать ее имя.

Ее заговорщический тон как бы намекал на некое соучастие между нами.

— Я понимаю, — ответила я, но все равно продолжала стоять у стола. У меня было предчувствие, что произошло что-то страшное; что мисс Кеплер одолело желание причинить себе вред. — Я знаю, это прозвучит глупо, — сказала я, — но мне не хотелось бы, чтобы с ней что-то случилось.

Дейзи еще больше понизила голос:

— У вас нет причин беспокоиться.

Однако она не сказала, что ничего не случилось.

В этот момент появился доктор Бретуэйт, но не выглянул в приемную из своего кабинета, а

вошел с лестничной клетки. Ощущение было такое, будто я встретила его двойника. Он выглядел еще более взъерошенным, чем обычно. Он был босиком, рубашка была не заправлена в брюки. Дейзи отодвинулась от меня и принялась что-то печатать. Ее щеки залились румянцем. Бретуэйт перевел взгляд с нее на меня.

— Если вы предпочитаете тратить свои пять гиней на консультацию с Дейзи, мисс Смитт, я вовсе не против. Я пойду в паб и оставлю вас наедине. Или же… — Он прошел через приемную и распахнул дверь в свою берлогу. Он стоял так, что мне пришлось пройти почти вплотную к нему, и он заметил, что у меня новые духи. Это правда. В обеденный перерыв я надушилась из пробника в бутике парфюмерии на Тоттенхэм-Корт-роуд. Слова Бретуэйта лишь укрепили мое ощущение, что в нем есть что-то почти сверхъестественное. Он не просто заметил, что я надушилась, но и отличил нынешний аромат от того, который я носила раньше. От этой мысли у меня по спине побежали мурашки. Он вошел в кабинет следом за мной, причем держался так близко, что я затылком ощущала его дыхание. Он закрыл дверь, и в этом жесте была какая-то нарочитая необратимость. У меня появилось неприятное ощущение,

что он знает обо мне всю подноготную; он знает, что я не та, за кого себя выдаю.

Я невольно ускорила шаг, уселась на безопасный, как мне казалось, диванчик и поставила сумку на колени. Бретуэйт на миг задержался у двери, потом неспешно прошел через комнату, не сводя с меня глаз. Если он собирался меня напугать, то у него получилось. Я представила, как его руки смыкаются на моей шее и выжимают из меня воздух и жизнь. Я не стала бы сопротивляться. Но он вовсе не собирался меня душить. Он подтащил стул и уселся напротив меня. Так близко, что наши колени почти соприкасались. Он наклонился вперед, опираясь локтями о бедра. Его ноздри раздувались. Я поняла, что он вдыхает мой запах. В этом было что-то бесстыдное и оскорбительное. Я достала из сумочки сигареты и закурила, чтобы дым создал между нами некое подобие барьера. Мне в голову закралась тревожная мысль.

— Надеюсь, вам не пришло в голову, что я надушилась для вас, — сказала я.

Бретуэйт чуть отстранился.

— И в мыслях не было, — сказал он. — По крайней мере, пока вы не стали это отрицать. Однако факт остается фактом: у вас новые духи. Наверня-

ка этому есть причина.

Ребекка приняла бразды правления.

— Как я понимаю, сейчас вы скажете, что у меня есть бессознательное желание заняться с вами любовью.

— А такое желание есть?

— Если оно бессознательное, то откуда мне знать? Но могу вас уверить, что на сознательном уровне эта мысль мне претит.

Мне подумалось, что Ребекка перешла грань допустимого, но ее замечание, кажется, лишь позабавило Бретуэйта.

— Претит или нет, но она приходила вам в голову, — сказал он.

Я объяснила не без злорадства, что мои новые духи — это лишь пробник из бутика парфюмерии. Я не стала упоминать, что украла флакончик, тайком уронив его в сумку, не потому что мне так уж сильно понравился аромат, а просто из детского желания поспорить с маминым предостережением насчет «еще одного «Вулворта». Тем не менее я почему-то была уверена, что Бретуэйт знал о флаконе, спрятанном у меня в сумочке. От него ничего не укроется. Он знал, что я не Ребекка Смитт; что я сестра Вероники и что я устроила этот спектакль не просто так. Я ждала обвинений.

Если бы они были предъявлены, я не стала бы ничего отрицать. Мне почти хотелось, чтобы мой обман раскрылся.

— Как бы там ни было, — сказал Бретуэйт, — вам идет этот запах. Более приземленный. Более сексуальный.

Последнее слово он растянул так, словно в нем было на два слога больше. Откинувшись на спинку стула, он смотрел на меня. Мои щеки горели. Я мысленно отругала себя. Ребекка совсем не из тех, кого можно так просто смутить. Я спряталась за сигаретой.

— Что-то вы сильно напряжены, — сказал Бретуэйт чуть погодя.

Лучший способ заставить человека напрячься — сказать ему, будто он напряжен.

Я сказала:

— Конечно, я напряжена. Вы меня напрягаете.

Он сделал невинное лицо.

— И как же я вас напрягаю?

— А то вы не знаете.

Он покачал головой.

— Честное слово, не знаю.

— Вы слишком близко сидите.

Он медленно кивнул.

— Стало быть, вам неприятно, когда кто-то

сидит слишком близко. Но если вам неприятно, Ребекка, вы вольны пересесть.

Он откинулся на спинку стула. Потер ладонью небритую щеку. Его яркие пухлые губы напоминали свежие потроха в витрине мясной лавки. Я осталась на месте. С чего бы мне пересаживаться? Я села здесь первой. Это он вторгся на мою территорию. Выждав пару секунд, Бретуэйт вновь наклонился вперед и сложил пальцы домиком.

— Вот что я думаю, Ребекка, — сказал он. — Вас напрягаю не я. Вы были напряжены с той минуты, когда я застал вас за беседой с Дейзи. Когда я вошел, у вас обеих был такой вид, словно вы замышляли недоброе. Уж не знаю, что вы там готовили, но вместо того, чтобы взять ответственность на себя, вы обвиняете меня в том, что я поймал вас на месте преступления. Вам не кажется, что это как-то несправедливо?

— Мы ничего не готовили. Я совсем не умею готовить. Поэтому папа и нанял миссис Ллевелин, — выдала я совершенно некстати.

Бретуэйт шумно втянул носом воздух и посмотрел на меня, как на старую больную собаку, уже неспособную контролировать свой кишечник. Он поднялся и принялся ходить кругами по комнате.

— Тем не менее, — сказал он, — нам не нужно, чтобы вы напрягались. Мы ничего не добьемся, если вы будете напрягаться. Почему бы вам не прилечь? Попытайтесь расслабиться.

— Я не хочу расслабляться.

— Ну, что же. Я не могу вас заставить.

— Если вам так хочется, чтобы я расслабилась, может быть, вы меня загипнотизируете?

— Я не занимаюсь такой ахинеей, — ответил он. — И в любом случае я уверен, что вы не поддаетесь гипнозу. Вы из тех, кого называют невосприимчивыми. Вам невыносима сама мысль о том, что я узнаю все ваши тайны.

Я сказала, что у меня нет никаких тайн.

— У всех есть тайны. Давайте вы мне откроете какую-нибудь вашу тайну, а я вам открою свою. *Quid pro quo* [15].

— Если я вам открою какую-то тайну, это будет уже никакая не тайна, — сказала я.

Бретуэйт остановился у двери. Я подумала, что он сейчас распахнет дверь и велит мне выметаться. Но он лишь по-турецки уселся на пол ко мне лицом. Я ощущала себя заложницей.

Чтобы увести разговор от моих предполагаемых

---

[15] Примечания: 15
Ты — мне, я — тебе (*лат.*).

тайн, я поставила сумку на пол и сняла туфли. Без них я почувствовала себя голой и беззащитной. Я осторожно прилегла на диванчик. Потом вспомнила, как Бретуэйт описывал Веронику, напряженно прилегшую на тот же диванчик, и я, чтобы не уподобляться сестре, небрежно свесила руку на пол и запрокинула голову.

— Снежная королева оттаяла, — прокомментировал Бретуэйт, даже не пытаясь скрывать сарказм.

Я пристроила голову на подлокотник и уставилась в потолок. Только теперь я заметила, что потолочный карниз проходит только по трем стенам. Над одним из окон расплывалось пятно, похожее на медузу горчичного цвета. Я с детства не люблю медуз. Когда я была совсем маленькой, я наступила на дохлую медузу на пляже в Пейнтоне. Я до сих пор помню противное ощущение, когда босая нога погружается в вялое холодное желе. Я тогда жутко перепугалась, и мне еще несколько месяцев снились кошмары, в которых меня пожирали эти полупрозрачные студенистые существа. Я не сомневалась, что эта подробность наверняка заинтересует Бретуэйта, так что, когда он спросил, о чем я думаю, я ответила, что вспоминаю наш разговор на прошлой

неделе.

— Да, удовольствие от уздечки, — сказал он. — Я был уверен, что мы непременно вернемся к уздечке. В прошлый раз вы употребили весьма интересное слово.

— Какое?

— «Возбуждение». Вы сказали, что эта уздечка вас возбуждала. Вы рассказывали о своих детских переживаниях и употребили недвусмысленное сексуальное слово. Кстати, французское *frisson* — «возбуждение», «дрожь» — происходит от латинского *frigere*, что означает «холодный». Или фригидный. Возможно, Ребекка, вы бессознательно мне сообщили, что вы фригидны.

Да, чего-то такого и следовало ожидать. Всем известно, что психотерапевты придают чрезмерно большое значение сексу. Я всегда полагала, что одна из причин, по которым люди приходят в эту профессию, заключается в том, что она дает право задавать неудобные вопросы. Я не виню этих людей. У меня еще не было настоящего секса, но это не значит, что он меня совершенно не интересует. Я ни в коем случае не умаляю важности сексуального опыта в человеческой жизни. Именно бедные зациклены на деньгах. Богатые никогда о них не говорят. Точно так же

именно обделенные в плане секса больше всех им одержимы.

Хотя меня лично совсем не задели слова Бретуэйта, Ребекка никогда не призналась бы, что страдает подобным расстройством.

— Уверяю вас, это не так, — сказала она.

— Мне что-то подсказывает, Ребекка, что вы не такая опытная и искушенная, какой хотите казаться.

— Смотря что понимать под опытностью и искушенностью.

— Критерий только один: сколько у вас было мужчин?

Краска, прилившая к щекам, выдала меня с головой.

— Мне кажется, это неподходящая тема для разговора.

Только теперь я заметила, что верчу в пальцах нитку, торчавшую из шва на манжете блузки. Я подняла глаза к потолку и уставилась застывшим взглядом на пятно в форме медузы.

— Самый что ни на есть неискушенный ответ. — Судя по тону Бретуэйта, его забавлял наш разговор. Он был словно кот, играющий с полудохлой мышью. — Вы начинаете нервничать при одном только упоминании о сексе, и все

же история, которую вы выбрали для рассказа на прошлой неделе, имела явный сексуальный подтекст. Мне кажется, вы побуждали меня прощупать вас по этим вопросам.

Я даже не сомневалась, что он намеренно выбрал такие провокационные слова. Но, как всегда, он был прав. Даже в детстве я понимала, что приятные ощущения от шлейки, плотно охватывающей мою грудь, относились к чему-то грязному и недозволенному. К чему-то, о чем нельзя говорить вслух. Сколько я себя помню, мне всегда удавалось вызывать эти запретные ощущения. В совсем раннем детстве я старалась плотнее завернуться в простыню, а затем — с нарастающим возбуждением — выбиралась из пут. Позже я обнаружила, что, если трогать себя между ног, возбуждение будет еще интенсивнее. Уже подростком, ублажая себя перед зеркалом, я связывала себе ноги в коленях шарфом или поясом от платья и тем самым усиливала удовольствие. Ощущение связанности, несвободы невероятно меня возбуждает. Разумеется, я ни с кем не делилась этими соображениями. И не собираюсь делиться. Вот почему я ответила Бретуэйту, что он ошибся и я не хочу обсуждать эти вопросы.

— Тем более следует их обсудить, — сказал

он. — Если вы не хотите перечислять всех любовников, тогда расскажите о своем первом сексуальном опыте.

Мне самой было бы просто смириться с тем, что меня заклеймят неопытной девственницей, но Ребекка никогда не потерпит подобных инсинуаций. Я подумала о Констанции Чаттерли и ее лютом любовнике Меллорсе, но Мейда-Вейл — не усадьба Рагби. Здесь нет лесов и уединенных егерских хижин. Поскольку я не могла с ходу выдумать своего Меллорса, пришлось рассказывать правду. В одной из ее вариаций.

После маминой смерти, нерешительно начала я, папа решил, что мне надо чаще бывать на море, и два-три раза в год отправлял меня погостить у его сестры в Клактон-он-Си. Когда я была младше, мы почти не общались с родственниками из Клактона. Они никогда не приезжали в Лондон, а мама была не большой любительницей путешествий в провинцию. Они жили в уродливом особняке на Рекриэйшен-роуд. Тетя Кейт была женщиной шумной и энергичной, но я всегда подозревала, что за ее показной жизнерадостностью скрывается разочарование в жизни. Когда она не хлопотала на кухне с руками по локоть в муке, не драила дощатый пол на крыльце и не

развешивала во дворе нескончаемое свежевыстиранное белье (низшие классы, похоже, считают, что чрезмерная чистоплотность компенсирует все прочие недостатки), я не раз заставала ее с выражением неизбывной усталости на лице. Самой примечательной чертой дяди Брайана был его свист; он постоянно что-то насвистывал себе под нос, с придыханием, без всякой мелодии, и при этом легонько покачивал головой, словно старался продемонстрировать свое дружелюбие. Он был тихим, покладистым человеком, не имевшим привычки соваться в чужие дела, и гостить в его доме было довольно приятно. Здесь никто не придерживался строгого распорядка, принятого в нашей семье. Если мне хотелось проваляться в постели все утро или провести выходные за чтением книги, меня никто не осуждал. Если я пропускала обед или ужин за общим столом, тетя Кейт не косилась с неодобрением, когда я позже спускалась на кухню перехватить сэндвич с ветчиной или кусок пирога.

Единственным «темным» пятном, омрачавшим эти милые, скучные и благочинные выходные в Клактоне, был мой кузен Мартин, младше меня на два года. Его нельзя было назвать совсем непривлекательным. У него были довольно

приятные, вполне симметричные черты лица и песочные волосы, вечно падавшие на лоб. Уже к четырнадцати годам он сравнялся ростом с отцом. Однако он постоянно сутулился, словно боялся удариться головой о низкую притолоку. Кроме того, он унаследовал от отца раздражающую привычку объявлять о своем присутствии характерными звуками; правда, в отличие от дяди Брайана, он не насвистывал, а сопел носом. Поначалу мы с Мартином почти не общались, но позже он стал проявлять ко мне странный, навязчивый интерес. Когда я гуляла в саду, то не раз замечала, как он косится на мои ноги, делая вид, будто занят каким-то несуществующим делом. Когда я сидела в своей гостевой комнате, он топтался в коридоре за дверью, выдавая себя громким сопением. Он всегда жутко стеснялся со мной заговорить, а если я обращалась к нему сама, сразу краснел и смущался еще сильнее. Смею предположить, что он передо мною благоговел, и я вовсю этим пользовалась, громогласно рассказывая о том, что моя тетя (не без намека на восхищение) называла столичным образом жизни. Иногда я нарочно оставляла дверь ванной слегка приоткрытой. Меня будоражила мысль, что Мартин тайком наблюдает, как я чищу зубы.

На этом месте я прервала свой рассказ и посмотрела на доктора Бретуэйта. Он по-прежнему сидел на полу спиной к двери. Его лицо оставалось бесстрастным, но он сделал мне знак продолжать, крутанув пальцем в воздухе. Я снова уставилась в потолок и продолжила.

В мой, как оказалось, последний приезд в Клактон я сперва не узнала Мартина — так разительно он преобразился. Ему тогда было шестнадцать или семнадцать. Он наконец-то избавился от подростковой сутулости, приобрел осанку *Homo erectus* [16] и черную кожаную куртку, которую не снимал даже за столом. Он больше не сопел носом и не краснел, а глядел мне прямо в глаза. Теперь уже я смущалась в его присутствии. Он слушал новейшие музыкальные записи, выкрутив звук на проигрывателе на полную мощность, и сообщил мне по секрету (когда родителей не было рядом), что он курит и гуляет с девчонками по «нашей Набережной». Я, разумеется, изобразила полнейшее равнодушие. В Лондоне, сказала я этак небрежно, я курю марихуану и всю ночь до утра веселюсь в джаз-клубах. Когда он спросил, какие современные группы мне нравятся,

[16] Примечания: 16
Человек прямоходящий (*лат.*).

я скрыла свое невежество, пренебрежительно пожав плечами, и не стала ему говорить, что предпочитаю Шопена.

Я должна была уехать в воскресенье после обеда, и за ужином в субботу Мартин — или Марти, как он теперь предпочитал называться, — спросил, не желаю ли я «прошвырнуться» по Набережной. Ему явно хотелось похвастаться перед друзьями своей кузиной из Лондона, и у меня не было причин лишать его этого маленького удовольствия. Я даже принарядилась и накрасилась перед выходом. Мартин ждал меня в коридоре. Он поднял воротник своей кожаной куртки и стоял, засунув большие пальцы под тонкий ремень на джинсах. Как только мы вышли из дома и завернули за угол, он достал из кармана пачку сигарет и предложил мне закурить. Естественно, я не могла отказаться. С моря дул ветерок, и Мартин встал поближе, чтобы поднести мне спичку. У него изо рта пахло макаронами с сыром, которые мы ели на ужин. Прикурить оказалось не так уж и просто. Мартин мне объяснил, что надо вдыхать в себя воздух, когда он подносит огонь к сигарете. Я напомнила, что обычно курю только марихуану. Он серьезно кивнул и сказал:

— Да, конечно.

Я держала зажженную сигарету, зажав ее между пальцами — большой палец снизу, средний и указательный сверху, — как это делают женщины в рекламе. Мартин держал сигарету, как бы пряча ее в кулак.

На Набережной мы встретились с тремя парнями, одетыми точно так же, как Мартин. Они стояли, прислонившись к перилам, и обсуждали проходивших мимо девчонок, которые старательно делали вид, будто не замечают, что на них глазеют. Мартин не представил меня друзьям, и никто из ребят не попытался со мной заговорить. Однако было вполне очевидно, что они знали, кто я такая, и я втайне порадовалась, что Мартин рассказывал им обо мне. Я попросила еще одну сигарету, и он с готовностью протянул мне пачку. На этот раз мне удалось прикурить сразу. Мы впятером стояли полукругом, спиной к морю, лицом к променаду. Молчание нарушалось лишь редкими репликами вроде: «Вот идет Мики Динс» или «Это же старый хрыч Корки на своей колымаге?». Старый хрыч Корки, как я поняла, был их учителем, и когда он отъехал на безопасное расстояние, мальчишки выкрикнули ему вслед несколько глупых ребяческих обзывательств. Возможно, их сдерживало мое присутствие. Хотя,

может быть, именно так всегда и проходили вечерние прогулки по Набережной. Когда моя сигарета догорела до фильтра (я почти не курила, а просто держала ее в руке), я уронила ее на асфальт и затушила носком туфли. Это было приятное действие, создающее ощущение уверенности, и я решила начать курить по-настоящему.

Чуть погодя к нам присоединились две девушки, очень сильно накрашенные, но в неожиданно модных коротких плащах. Мартин вспомнил о хороших манерах и представил нас друг другу. Первая (Синтия) была низенькой и курносой, с круглым лицом и маленькими поросячьими глазками. Вторая, стройная и высокая, была настоящей красавицей. Вылитая Брижит Бардо, только с темными волосами. Она стояла, прижимая к груди свою сумочку-клатч, плавно покачивала бедрами и задумчиво смотрела куда-то за горизонт. Я невольно ею залюбовалась. Еще минут пять прошло в полном молчании, а затем кто-то предложил «завалиться в «Атланту». Мальчишки ушли далеко вперед. Мы с девчонками чуть поотстали.

Низенькая толстушка спросила:

— Так ты, значит, из Лондона?

— Да, — ответила я.

— Я собираюсь переехать в Лондон. Сразу, как только смогу сбежать с этой помойки.

— Это правильно, — сказала я.

Она спросила, сколько мне лет. Я ответила. Мы немного прошлись в тишине. Потом она спросила, с какого возраста, по моему мнению, девушкам уже можно заниматься «тем самым». Я уставилась на нее и невинно спросила:

— Чем именно?

— Ну, ты поняла. — Она придвинулась ближе ко мне и повторила с таким напором, какой только можно вложить в эти два простых слова:

— Тем самым!

Девушки выразительно переглянулись.

— Зависит от обстоятельств.

— Каких?

— Самых разных, — сказала я, наслаждаясь своим неожиданным статусом секс-гуру. — Но самое главное, надо решить, хочешь ты сама или нет.

Синтия серьезно кивнула и спросила, понизив голос до конспиративного шепота:

— А ты сама… уже да?

— Конечно, — сказала я, снисходительно усмехнувшись. — Сто раз. Один раз с чернокожим.

Это произвело на них сильное впечатление.

— Мой парень хочет, чтобы мы с ним занялись

этим самым, — призналась Синтия. — Но я боюсь, будет больно.

— Лучше с этим покончить как можно скорее, — сказала я, входя во вкус. — В первый раз всегда больно, но кому нужны полумеры. Самое главное, никогда не ложиться с одним и тем же мужчиной дважды. А то они начинают придумывать себе всякое.

— Что, например?

— Ну, всякое-разное.

Синтия снова серьезно кивнула. «Бардо» закатила глаза. Вряд ли им было больше пятнадцати лет.

Мартин и его друзья ждали у входа в «Атланту», обшарпанный кафетерий с потрепанным тентом и несколькими свободными металлическими столиками, выставленными прямо на тротуар. Мы вошли внутрь и уселись за длинным столом в центре зала, поскольку все кабинки были заняты. Я сняла пальто и повесила его на вешалку у двери. Сесть мне пришлось между Мартином и одним из мальчишек.

К нам подошел седовласый мужчина в кардигане и очках в тонкой проволочной оправе. Он был больше похож на церковного органиста, чем на владельца кафе.

— Что вам, детишки? — спросил он.

Меня неприятно задело, что меня поставили в один ряд с «детишками», но я ничего не сказала. Все заказали кока-колу, которую подали в уже открытых бутылках с соломинками для питья. Мальчишки сразу же вытащили соломинки и стали пить прямо из горлышка с этакой претенциозной брутальностью. Я потихоньку пила свою колу и осматривала зал. В углу стоял музыкальный автомат, рядом с которым собралась компания из трех парней с экстравагантно зачесанными назад волосами. Две девушки в бриджах чуть ниже колен танцевали вдвоем, медленно покачивая бедрами и глядя пустыми глазами в пространство за плечами друг у друга. Близкое соседство за одним столом как будто ослабило замкнутое напряжение мальчишек из компании Мартина. Тот, что сидел рядом со мной, спросил, нравятся ли мне братья Эверли.

— Братья Эверли? — озадаченно переспросила я. — Я с ними незнакома.

Он ухмыльнулся и указал пальцем на музыкальный автомат. Я так поняла, что игравшую песню исполняли те самые братья Эверли. Песня показалась мне какой-то детской. Так я ему и сказала.

Мартин чуть подался вперед и указал на меня большим пальцем.

— Она любит джаз.

— Да, — кивнула я. — Я люблю джаз.

Мальчик, сидевший напротив меня, заявил:

— Джаз для педиков.

— Я *тоже* люблю джаз, — сказал Мартин.

— Понял, отвял, — примирительно отозвался его приятель. Он отхлебнул колы из горлышка, грохнул бутылкой о стол и окинул меня наглым оценивающим взглядом, словно я была призом в школьной викторине.

Мне было приятно, что Мартин встал на мою сторону. Теперь, когда я увидела его в компании сверстников, он казался гораздо взрослее. Я достала из сумочки банкноту в десять шиллингов и попросила Мартина купить мне пачку сигарет.

Он тут же вскочил, радуясь возможности оказать мне услугу.

— Какие ты куришь?

Я придирчиво оглядела ассортимент сигарет, выставленных за прилавком. «Нэви Кат» казались не очень женственными, «Ротманс» — слишком рабоче-крестьянскими. Я решила, что мне подойдут «Крейвен А». Я видела их рекламу, и мне нравилось изображение маленького чер-

ного котенка на пачке. Мартин принес сигареты, и я пустила пачку по кругу, изображая щедрую лондонскую кузину. Мы все закурили, нас окутало густое облако дыма. Мальчик, который спрашивал о братьях Эверли, сказал, что ему тоже нравится джаз. Я сказала, что им с Мартином надо как-нибудь приехать в Лондон, я свожу их обоих в джаз-клуб.

— Правда? — спросил он.

Я сказала, что придется чуть-чуть подождать, пока они не станут достаточно взрослыми. Он уверил меня, что они вполне взрослые. Они с Мартином принялись обсуждать, когда они смогут принять мое приглашение, и я сто раз пожалела о своем глупом желании порисоваться.

Заиграла новая песня.

— Вот эта мне нравится, — сказал Мартин.

Он резко поднялся из-за стола и пригласил меня на танец. Остальные мальчишки изобразили ироничные охи и ахи. Мартин насупился, и я согласилась с ним потанцевать, потому что мне стало его жалко. И еще потому, что мне хотелось скорее свернуть обсуждение предполагаемой экскурсии в Лондон. Мы встали лицом друг к другу на отведенном для танцев крошечном пятачке у музыкального автомата. Другая пара танцующих

уже слилась в тесных объятиях. Мартин согнул руки в локтях и принялся медленно двигать ими вперед и назад. Он легонько покачивал бедрами, переступая с ноги на ногу более-менее в такт мелодии. Я стала копировать его движения, и в том же духе все продолжалось какое-то время. Мелодия была довольно однообразной, но ненавязчивой. На третьем куплете Мартин шагнул вперед, так что теперь мы стояли почти вплотную. Он шевелил губами, беззвучно проговаривая текст песни, состоявший, как мне показалось, из бесконечного повторения фразы: «Да, я великий притворщик», — в сопровождении гармонично растянутых «о-о-о» и «у-у-у».

Мартин положил руки мне на бедра, едва касаясь их кончиками пальцев, и продолжил топтаться на месте. Можно было бы отодвинуться, но мне не хотелось его смущать, и я взяла его под локти. Приняв это за поощрение, он приобнял меня за талию. Теперь его пальцы касались моей спины прямо над поясом юбки. Теперь мы почти прижимались друг к другу. Это было не очень прилично, но после моей похвальбы о джаз-клубах и чернокожих любовниках было бы странно изображать из себя девственницу-недотрогу. Когда песня достигла своей бессодержательной

кульминации, Мартин резко притянул меня к себе под одобрительное мычание его приятелей за столом. Наши бедра двигались в унисон, его подбородок лежал на моем левом плече. Потом я почувствовала, как к моей юбке прижимается напряженный бугор у него в паху. Я его оттолкнула, хотя и беззлобно. Песня закончилась. Мартин посмотрел на меня. Хотя наш с ним танец едва ли был зажигательно-энергичным, он дышал тяжело, словно после пробежки. Я вернулась на свое место. Мартин пошел в туалет. Когда он вернулся, я сказала, что нам, наверное, пора домой. Он кивнул.

По дороге домой он попытался завести разговор, словно между нами не произошло ничего необычного. Я, как могла, отвечала и тоже делала вид, будто ничего не случилось. Как ни странно, но наша беседа получилась более легкой и непосредственной, чем когда-либо прежде. Когда мы добрались до дома на Рекреэйшен-роуд, ни в одном из окон не горел свет. Мы с Мартином стояли в темной прихожей, прислушиваясь к тишине. Мы оба осознавали, что совершили — пусть и непреднамеренно с моей стороны — что-то запрещенное, и это знание сделало нас сообщниками. Убедившись, что родители спят, Мартин указал

взглядом на дверь в гостиную. Я вошла в комнату следом за ним. Это была жуткая тесная комнатушка, где тетя Кейт коротала вечера за вязанием и просмотром телевизора, пока ее муж дремал над газетой или бормотал себе под нос ответы на вопросы очередной телевикторины. Шторы были раздвинуты, но Мартин не стал их задергивать. Он закрыл дверь и зажег лампу на столике у дивана. Потом встал на колени перед тумбочкой под телевизором. Я присела на краешек дивана. Мартин обернулся ко мне с заговорщическим видом. В предвкушении он потер ладони и открыл тумбочку, где его родители хранили запасы спиртного.

— Что будешь пить? — спросил он.

Я пожала плечами.

Он вынул из тумбочки два бокала и бутылку из темного коричневого стекла, устроив при этом целый спектакль под названием «Мартин старается не шуметь». Он наполнил бокалы, протянул один мне и, небрежно сбросив на пол мамино вязанье, плюхнулся на диван рядом со мной. Мы тихо чокнулись, и я чуть пригубила напиток. Это был херес, приторный вкус Рождества. Мартин залпом осушил свой бокал и налил себе еще. Я подавила желание спросить, не заметят ли его

родители, что хереса в бутылке заметно поубавилось. Это уж точно не моя проблема. У меня не было никакого желания сидеть в этой гостиной в компании с кузеном, но мягкий приглушенный свет и беседа вполголоса создавали приятное ощущение уютной интимности. Я напомнила себе, что, будучи старшей, я полностью владею ситуацией и могу уйти в свою комнату, когда захочу. Мартин подлил мне хереса.

— Неплохое винцо, скажи.

Я сделала еще глоток. Надо признаться, по телу разлилось приятное расслабление. Возможно, вкупе с курением, стоит подумать и о развитии пристрастия к спиртным напиткам. Стремление, в общем, не хуже любого другого. Мартин предложил мне снять пальто. Сказал, что так будет удобнее. Я была с ним согласна, но все же не стала снимать пальто, потому что не знала, к чему это все приведет, и решила не совершать необдуманных действий. Мартин хотел включить газовый камин, но я сказала, что лучше не надо. Я все равно уже скоро пойду в постель. Мартин многозначительно кивнул, как будто услышал в моих словах некое поощрение, и отпил еще хереса.

— Надеюсь, ты не слишком скучала в нашей компании? — спросил он.

Я уверила его, что провела очень приятный вечер, и поблагодарила за приглашение на прогулку. Мартин смотрел в одну точку прямо перед собой. Я впервые заметила, что у него точно такой же римский нос, как у моего папы.

— У тебя замечательные друзья, — сказала я.

— Идиоты все как один. Я уже жду не дождусь, когда можно будет уехать из этой дыры.

Я допила херес и сказала, что устала и хочу спать.

— Я тоже устал, — сказал он. Потом наклонился и попытался поцеловать меня в губы, которые я плотно сжала. Впрочем, мне было не так уж противно, и я не стала его отталкивать. Даже не отвернула лицо. Восприняв отсутствие сопротивления как разрешение продолжать, он положил руку мне на колено. Я по-прежнему сидела неподвижно. Он начал сопеть и фыркать, как конь. Потом убрал руку с моего колена и попытался залезть мне под пальто. На этом месте я схватила его за запястье и сказала, что пора бы остановиться. Я поднялась на ноги. У него был такой удрученный, потерянный вид, что мне стало почти его жаль.

Я сказала, что он еще слишком молод для подобных забав.

Он ответил, что Синтия позволяет ему даже больше.

Я сказала, что очень за него рада, но я ему ничего не позволю.

Я поднялась к себе и легла спать. Не знаю, сколько прошло времени. Наверное, я уже начала засыпать, но тут дверь моей спальни со скрипом открылась. В комнату проскользнул Мартин. В тусклом свете я разглядела, что он был в пижаме. Он подошел к кровати, приподнял одеяло и лег рядом со мной. Как пишут в дамских романах, его «мужское естество воспряло». Он поцеловал меня в плечо, потом в шею. Одной рукой он потянулся к подолу моей ночной рубашки. Я удержала его руку на месте. Он сбивчиво попросил разрешить ему «только потрогать». Я сказала, что никаких «только потрогать» не будет и что если он сейчас же не уйдет к себе в комнату, я буду кричать и разбужу его родителей. Он вздрогнул всем телом, словно в каком-то странном припадке, и на секунду как будто оцепенел, а потом я почувствовала, как мне на живот пролилось что-то липкое и вязкое. Как только его хриплое дыхание чуть успокоилось, он встал с кровати и извинился. Умоляющим голосом попросил ничего не рассказывать его родителям. Разумеется, я и не

собиралась рассказывать, но сказала Мартину, что еще подумаю. Позже мне пришло в голову, что я, может быть, зря его прогнала. Пусть бы он сделал то, ради чего приходил. Может быть, это было бы не так уж противно.

Мне вдруг стало неловко, и я украдкой взглянула на Бретуэйта. Он сидел, сложив руки на животе. Он вроде бы не собирался меня прерывать, и я продолжила свой рассказ.

На следующий день, день моего отъезда, Мартин так и не вышел проститься, и у меня было чувство, что он нарочно меня избегает. В поезде я нашла купе, где было свободное место у окна. Я села спиной по ходу движения. Мне нравится ощущение, что тебя будто подхватывает и несет неодолимая сила. Ощущение, которого не бывает, когда ты сидишь по ходу движения. Женщина с внешностью старой девы занимала среднее сиденье из трех напротив. Мы обменялись рудиментарными приветствиями. Ее выбор места явно указывал на собственнические наклонности. Усевшись по центру, она как бы распространяла свое владение на все купе. Поезд еще даже не тронулся, а она уже разложила по обе стороны от себя вязальные принадлежности, заняв ими еще два сиденья. Ее длинная юбка,

доходившая почти до лодыжек, пришлась бы к месту и в эдвардианскую эпоху. На лацкане ее жакета красовалась брошка с камеей, и даже в купе она не сняла темно-зеленую фетровую шляпку с пером. Однако я обратила внимание, что ее кожа — на лице и щеках — была достаточно свежей и совсем не старушечьей. Несмотря на старомодный наряд, вряд ли ей было больше сорока лет. Но независимо от возраста она производила впечатление человека, пребывающего в состоянии перманентного раздражения. Ее жизнь не сложилась, и чтобы уберечься от будущих разочарований, она задушила в себе все надежды. Она вязала детскую кофточку. Видимо, для племянника или племянницы, поскольку у нее не было обручального кольца. Можно представить, как ее бедная сестра боится ее ежегодных визитов и втайне ликует, когда она наконец собирается уезжать. Возможно, когда-то она отвергла ухаживания молодого человека и с тех пор мучается сожалением.

Я закрыла глаза и прислонилась головой к окну, как будто собираясь уснуть. Поезд отошел от перрона, и буквально через минуту дверь купе распахнулась. Я открыла глаза. В дверном проеме стоял розовощекий молодой человек с густо

напомаженным волосами, в светлом бежевом плаще. В левой руке он держал плотно набитый портфель, в правой — незажженную трубку.

— Не возражаете, дамы, если я к вам присоседюсь? — проговорил он преувеличенно жизнерадостным голосом. — Если, конечно, у вас не собрание суфражисток. Не то чтобы я против. На самом деле я только за.

Старая дева одарила его кислым взглядом. Она была явно против. Я приветливо улыбнулась, хотя бы только затем, чтобы дистанцироваться от своей мрачной попутчицы.

Молодой человек забросил портфель на багажную полку и, зажав трубку в зубах, снял плащ так поспешно, словно тот вдруг загорелся. Под плащом обнаружился твидовый костюм-тройка такого покроя, от которого даже мой папа отказался бы еще до войны. Я подумала, что он, наверное, младший сотрудник в какой-нибудь бухгалтерской фирме который считает, что, одеваясь в таком старомодном стиле, он скорее добьется расположения начальства и продвижения по службе.

Учитывая расположение сидений, он должен был занять место, ближайшее к двери. В общественном транспорте, на скамейках в парке или в

кафе мы, люди, инстинктивно располагаемся как можно дальше друг от друга, и любое отклонение от этой нормы справедливо воспринимается с подозрением. Однако наш новый попутчик сел рядом со мной. Это не только стеснило меня, но и вынудило старую деву передвинуть колени, чтобы освободить место его ногам. Она сердито уставилась на него, после демонстративно вперила взгляд в свое вязание. Молодой человек повернулся ко мне и скорчил комичную рожицу, как наказанный школьник. Я сочувственно закатила глаза, и мы вроде как стали сообщниками. Он воспринял это как приглашение к разговору и поспешил представиться. Если память меня не подводит, его звали Джордж Бортвик. Он переложил трубку из правой руки в левую, и мы обменялись неловким рукопожатием. Я тоже назвала ему свое имя, чтобы не показаться невежливой.

— Хорошее, крепкое, добротное имя, — заметил он, словно речь шла о туристических ботинках.

Видимо, у меня на лице отразилось недоумение, потому что он тут же засуетился:

— Может быть, я подобрал не те слова. Я имел в виду, что само имя звучит солидно. Оно надежное и внушает доверие, вот я о чем. А вы сами не

производите впечатление солидной матроны. Ни в коем случае. Вы такая изящная, прямо воздушная, если можно так выразиться.

Он осекся на середине своего идиотского монолога, и я отвернулась к окну. Предместья Клактона сменились полями пшеницы или полями чего-то еще, я не знаю. Мое явное нежелание поддерживать разговор нисколько не обескуражило Джорджа. Он спросил, откуда я родом. Он сам из Клактона, но нынче работает в Лондоне. Снимает квартиру в районе Элефант-энд-Касл, но почти каждые выходные приезжает в Клактон повидать «дорогую мамулечку» (эту последнюю фразу он произнес с жутким акцентом кокни). По мне сразу видно, что я из Лондона, заметил он. Есть во мне этот столичный лоск. Мне было приятно такое услышать, пусть даже из уст дремучего провинциала. Как оказалось, Джордж — не младший бухгалтер, а продавец-консультант в страховой фирме.

— Многим кажется, что это скучно, — серьезно проговорил он, — но это очень интересная работа на самом деле.

Я сказала, что да, безусловно, но, если он не возражает, мне бы хотелось чуть-чуть подремать. Я что-то устала.

— Да, конечно, — ответил он. — Морской воздух и все такое.

Я улыбнулась и сказала, что немного замерзла, и, может быть, он не откажет одолжить мне свой плащ. Джордж был только рад услужить. Он достал с полки сложенный плащ, развернул его и укрыл меня, как заботливый отец, который укладывает дочку спать.

Я прислонила голову к окну и закрыла глаза. Джордж завозился на соседнем сиденье. Кажется, он набивал трубку. Потом чиркнула спичка, купе наполнилось знакомым запахом табака, как будто сюда вошел папа. В какой-то момент я задремала. Вернее, погрузилась в зыбкое состояние между бодрствованием и сном. Хотя я сказала Джорджу, что мне якобы зябко, в купе было тепло, даже жарко. Мерное движение поезда навевало приятную дрему. Мысли лениво ворочались в голове. Я вспоминала события вчерашнего вечера. Песня, под которую танцевали мы с Мартином, накрепко засела в сознании. Мне вспомнилось, как он притянул меня ближе к себе. Он что же, спланировал все заранее? Мне понравилась эта мысль. Притворившись, что я просто ворочаюсь во сне, я просунула руку под пояс юбки и принялась ублажать себя легкими,

почти неосязаемыми движениями среднего пальца. Это было восхитительное ощущение. Я крепко сжала бедра, как ребенок, которому захотелось по-маленькому. Не знаю, в чем было дело. То ли в размеренном движении поезда, отдающем мне в ягодицы, то ли в присутствии рядом Джорджа — пусть даже он был совершеннейшим чурбаном — и знакомом аромате его табака, но никогда прежде я не испытывала такого пронзительного удовольствия, как в тот раз. У меня перехватило дыхание, и я не смогла сдержать хриплые стоны, которые мне хватило ума замаскировать под приступ кашля. Джордж тут же приступил к решительным действиям: пару раз стукнул меня по спине и помчался к кондуктору за стаканом воды. Старая дева уставилась на меня, поджав губы. У меня горели щеки. Я не сомневалась, что она поняла, чем я тут занималась. Я испытала огромное облегчение, когда Джордж вернулся, и с благодарностью взяла у него стакан с водой.

— Вам, наверное, приснился кошмар, — сказал он.

— Да, — ответила я, глядя на него с притворной скромностью.

Я отпила воды. После такого проявления рыцарства было бы просто невежливо отказать ему

в удовольствии выпить со мной чашку чая, когда мы приехали в Лондон. Почти три четверти часа я просидела с ним в кафетерии на Ливерпуль-стрит, выслушивая его разглагольствования о тонкостях страхового бизнеса. Когда мы расстались, он обмирал от восторга (бедняга), заполучив телефонный номер девушки с «лондонским лоском». Мне даже стало немножечко стыдно, что я дала ему вымышленный номер.

Может быть, потому, что я удобно устроилась на диванчике, я сама увлеклась собственным рассказом. Доктор Бретуэйт все время сидел на полу и ни разу меня не перебил. Я почти забыла о его присутствии. В пепельнице на столике у дивана обнаружилось три окурка, хотя я не помню, чтобы я курила, пока говорила. Наступившее молчание было похоже на паузу для передышки после напряженной работы. Теперь я поняла, почему люди готовы платить просто за то, чтобы их внимательно выслушали.

Бретуэйт долго смотрел на меня. Минуту, если не больше. Его лицо оставалось бесстрастным. За время нашего короткого знакомства я успела привыкнуть к странному ощущению, что, даже когда не произносилось никаких слов, разговор все равно продолжался; разговор взглядов и едва

уловимых жестов. Я села, опустив ноги на пол. Я пыталась сидеть неподвижно, ничем себя не выдавая, но у меня было чувство, что Бретуэйт читает меня как открытую книгу, и видит все, что я пытаюсь скрыть.

Он заговорил первым:

— Интересно, что из этого правда?

— Все правда, — возмущенно ответила я.

Он повторил мои слова скептическим тоном.

— Я могла упустить мелкие подробности, — призналась я. — Это было давно.

Он поднялся, подтащил к себе стул и уселся на него верхом, положив подбородок на спинку.

— Значит, вы все это выдумали?

— Я ничего не выдумывала.

— Моя дорогая, для меня совершенно не важно, было ли все это на самом деле. Важно, что именно здесь и сейчас вы рассказали мне эту историю.

Я начала возражать, но он отмел все мои возражения небрежным взмахом руки.

— Возможно, это наполовину выдумка и наполовину правда. Но настоящая правда — важная правда — заключается в том, что сегодня вы выбрали для рассказа именно эту историю. Она все равно будет правдой, даже если это сплошная выдумка.

Ход его рассуждений сбил меня с толку, так я ему и сказала.

— Стало быть, я привел вас в замешательство. И вам это не нравится, да, Ребекка? *Confundere*! — объявил он, подняв к потолку указательный палец. — *Confundere.* В переводе с латыни: «приводить в замешательство», «смешивать», «взбалтывать», «будоражить». А вы очень не любите, когда все намешано в одну кучу, да, Ребекка? Вы не любите никакой взбудораженности. Вам нужно, чтобы все было разложено по местам. Тогда вам спокойно. Вы бежите от всякого взаимодействия, от любого контакта с другими людьми. Абсолютно без разницы, произошли ли события из вашей истории на самом деле. В любом случае это история о неспособности взаимодействовать с людьми. О вашем страхе прийти в замешательство. — Он поднялся так резко, что уронил стул. Кажется, он был очень доволен собой.

Меня уже начала раздражать его тяга к этимологии. Как и его поразительная способность видеть людей насквозь.

— Вы всегда такой недоверчивый? — спросила я.

— Только с теми, кому нельзя доверять, — ответил он. — Я не уверен, что вы сказали и дюжину

правдивых слов с тех пор, как мы начали с вами общаться.

— Возможно, вы даже не верите, что меня и вправду зовут Ребекка Смитт, — безрассудно выдала я.

— Моя дорогая, мне совершенно неинтересно, как вас зовут. — Он подошел и наклонился так близко ко мне, что его лицо оказалось буквально в двух дюймах от моего. — Вот видите? Вы взбудоражены, и вам это не нравится. Но ведь вы для того и приходите на консультации, разве нет?

На мгновение мне показалось, что сейчас он набросится на меня. Я чуть не поморщилась от отвращения при одной только мысли, как его пухлые губы коснутся моих. Я отвернулась. Он выпрямился, и я начала собирать свои вещи.

— Да, я так и подумал, — сказал он. — Малышка уже бежит прочь. К папочке под крыло.

Я поднялась и надела пальто. На пути к выходу я не сумела заставить себя посмотреть на Бретуэйта. Я прошла мимо Дейзи, не сказав ей ни слова. Даже спускаясь по лестнице, я слышала смех Бретуэйта.

В вечерних сумерках уличные фонари светились оранжевым. Мое дыхание вырывалось изо рта белыми облачками. Я чувствовала себя совер-

шенно опустошенной. Никогда бы не подумала, что простой разговор может отнять столько сил. На Эйнджер-роуд не было ни души. Здесь, в центре Лондона, я осталась в полном одиночестве. Я медленно пошла в сторону Примроуз-Хилл. Бретуэйт был прав. Я сейчас взбудоражена, и мне это не нравится. Я закурила, чтобы откорректировать пошатнувшийся мир. Все казалось каким-то кривым и неправильным.

Я вошла в парк через ворота у подножия холма. В последнее время я начала избавляться от некоторых привычек, руководствуясь, надо признаться, исключительно желанием доказать, что Бретуэйт не всегда прав. Например, вчера за завтраком я сразу намазала маслом и джемом свой первый тост и взялась за второй только тогда, когда съела первый. (Обычно я сразу намазываю оба тоста сначала маслом, а потом джемом.) Отец никак не прокомментировал мои странные действия и даже притворился, что ничего не заметил. На втором тосте все удовольствие от вызова, брошенного Бретуэйту, сошло на нет. По сути, я ничего не добилась, только испачкала масло мармеладом, из-за чего мне пришлось вытерпеть косые взгляды миссис Ллевелин. Все дело в том, что существуют определенные устои, которые

складываются отнюдь не из-за страха перемен, а исключительно потому, что являются наиболее эффективными для достижения желаемого результата. И не стоит отказываться от хороших, испытанных временем традиций лишь для того, чтобы продемонстрировать миру, что ты готова принять перемены.

С другой стороны, надо признать, что некоторые традиции устанавливаются исключительно в силу привычки. Например, в кабинете у Бретуэйта я всегда сажусь на неудобный диванчик. Или обхожу парк по периметру только по часовой стрелке. Хотя мне ничто не мешает пройти против часовой стрелки или даже по тропинке, ведущей на вершину холма. Так что я начала восхождение во взволнованно-радостном настроении. Подъем на Примроуз-Хилл, может быть, не покажется трудным для сэра Эдмунда Хиллари, но я никогда не была любительницей физических упражнений. В школе я постоянно прогуливала физкультуру, пользуясь любым предлогом. Мисс Шоль, наверное, думала, что женские праздники у меня идут еженедельно.

Через две или три сотни ярдов пространство вокруг стало слишком открытым. Я чувствовала себя беззащитной и уязвимой. Наверное, поэтому

я всегда инстинктивно держалась периметра. Там я хотя бы не слишком бросалась в глаза. Что безопаснее: прятаться ближе к высоким кустам, где может скрываться потенциальный насильник, или выставить себя напоказ, покинув укрытие? Здесь, на открытом пространстве, меня было видно издалека. Я представила, как мое тело лежит лицом вниз на росистой утренней траве, мой затылок разбит, вокруг хладного трупа собралась равнодушная толпа. Наверняка люди подумают, что я сама виновата. Молодой женщине уж точно не стоит гулять в парке одной по ночам. Это форменное безрассудство. И все-таки я зачем-то карабкалась на Примроуз-Хилл, даже без Тенцинга [17], который нес бы мою сумку. Поднявшийся ветер холодил щеки. Когда подъем сделался круче, я начала задыхаться. Впереди показалась скамейка, на которой сидел молодой человек, держа руки в карманах пальто. На мгновение мне показалось, что это Том (в последнее время он мерещился мне повсюду), но у него были слишком уж узкие плечи, и он носил бороду. Я не доверяю бородатым мужчинам, особенно молодым бородатым мужчинам.

---

[17] Примечания: 17

Эдмунд Хиллари (1919–2008) и Тенцинг Норей (1914–1986) — первые альпинисты, в 1953 году покорившие Эверест.

Мы привыкли, что на скамейках обычно сидят одинокие старики. В парках или на автобусных остановках, откуда они вовсе не собираются уезжать. Старикам больше нечем занять свое время. Но если мы видим молодого мужчину, одиноко сидящего на скамейке в общественном парке, у нас поневоле закрадывается подозрение. Одинокий молодой мужчина наводит на определенные мысли: либо он пребывает в печали, либо замышляет недоброе. Конкретно этот молодой человек не читал книгу или газету (в любом случае для чтения было слишком темно). Он просто сидел: сгорбив плечи и чуть наклонившись вперед, точно сжатая пружина, готовая распрямиться в любую секунду. Он наблюдал за моим приближением, склонив голову набок, как голубь, глядящий на хлебные крошки, рассыпанные на земле. В принципе, в этом не было ничего угрожающего. Он, наверное, услышал стук моих каблуков по асфальту и повернул голову в сторону источника звука. Возможно, он даже решил, что с его стороны будет невежливо проигнорировать мое появление; что я могу и обидеться, если он выкажет полное пренебрежение к моей скромной персоне. Но мне все равно было тревожно. Когда я проходила мимо, он улыбнулся и

пожелал мне доброго вечера. Я коротко ответила на приветствие. Вежливо, но с прохладцей. Явно давая понять, что не намерена затевать разговор. Молодой человек то ли не понял, то ли сделал вид, что не понял, что с ним не хотят разговаривать, и заметил, что вечер сегодня прохладный.

— Да, — отрезала я таким тоном, который явно предполагал, что я не считаю его замечание достойным ответа.

Я уже прошла мимо скамейки. Молодой человек проводил меня взглядом. Если бы вокруг были люди, я бы не испугалась. Наоборот, я бы, наверное, оскорбилась, оттого что меня посчитали настолько неинтересной, что даже не удостоили вторым взглядом. Но здесь, в темном безлюдном парке, мне было тревожно. Я прошла еще десять-двадцать шагов и вдруг услышала шевеление за спиной. Я оглянулась. Молодой человек поднялся со скамейки и пошел следом за мной. Неужели он меня преследовал? Это первое, что пришло мне в голову. Хотя, возможно, он просто шел в ту же сторону. Вполне разумно было бы заключить, что, раз он сам жаловался на холод, ему надоело сидеть и мерзнуть. Но тогда почему он не ушел раньше? Почему дождался, когда я пройду мимо? Я не стала оглядываться еще раз, чтобы

он не подумал, что я его завлекаю. Мужчины, которых дома ждут жены, не слоняются в парках по вечерам. Они спешат домой, где уже готов ужин: сочные отбивные с картофельным пюре. С другой стороны, мой преследователь точно так же мог предположить, что молодые женщины, у которых есть любящие мужья, не гуляют одни по вечернему парку, и, если женщина бродит одна в темноте, значит, это доступная женщина, она и наверняка будет не против ни к чему не обязывающего знакомства. Может быть, надо ему объяснить, что у меня нет никаких скрытых мотивов; я просто решила пройтись, чтобы проветрить мозги, и если он следит за мной в надежде, что я приму приглашение скоротать с ним вечерок в его неубранной холостяцкой квартире, то он глубоко заблуждается. Со мной ему ничего не обломится.

Признаюсь честно, мне было страшно, но я не ускорила шаг. Не надо, чтобы он знал, что у него получилось меня напугать. Если кому-то покажется странным, что случайная встреча с человеком может вызвать такой жуткий страх, я напомню, что он был не просто человеком: он был мужчиной. Меня воспитали так, что я считала мужчин хищниками, а себя — жертвой, и

никакие логические построения не могли опровергнуть этот догмат. Даже не знаю, чего я больше боялась: что он меня изнасилует прямо на склоне холма Примроуз, или что вытащит из кармана тяжелый тупой предмет и забьет меня до смерти. У меня внутри все сжималось. Ожидание первого удара — вот что пугало сильнее всего. Потом мне будет уже все равно. Я рухну на землю, и он будет делать со мной все, что хочет. У меня даже мелькнула мысль, что пусть все скорее начнется и скорее закончится.

Ближе к вершине холма подъем сделался еще круче. Возможно, я оторвалась от преследователя. Или просто не слышала его шагов из-за хрипов собственного дыхания. На вершине была небольшая площадка с металлическим ограждением, выделявшимся четким решетчатым силуэтом на фоне вечернего неба. Одинокая фигура стояла у самых перил, глядя на раскинувшийся внизу город, — женщина в длинном пальто, с шелковым платком на голове. Я крикнула ей, подняв руку, но она не услышала. Я побежала вперед. Добралась до вершины и крикнула снова. Женщина обернулась ко мне. Я бросилась к ней, задыхаясь от облегчения.

— Там мужчина, — выдохнула я, полагая, что

это все объясняет.

— Мужчина? — переспросила она.

— Да. Он меня преследовал.

Я указала в ту сторону, откуда пришла. На дорожке никого не было. Я лихорадочно оглядела темный парк.

Женщина посмотрела на меня.

— А я удивилась, чего вы бежите.

У нее была резкая манера речи и низкий приятный голос. Только теперь я поняла, что это была мисс Кеплер.

Еще никогда в жизни я не испытывала такой стремительной смены настроения. Я произнесла ее имя и безотчетно схватила за руку. Она сделала шаг назад и удивленно уставилась на меня. Ее глаза широко распахнулись. Она, похоже, меня не узнала. Буквально за пару секунд я успела рассмотреть ее всю. Вблизи она оказалась еще красивее, чем я ее помнила. Платок, небрежно повязанный на голове, подчеркивал форму ее лица, чуть удлиненного, узкого, с острыми скулами. Широкий печальный рот. Узкие губы, темная помада. Но больше всего меня заворожили ее глаза. Черные и блестящие, как мокрая галька. Я поняла, что немного ее напугала, и принялась объяснять, откуда мне известно, как ее зовут. Она

слушала с похвальным спокойствием. Осмелюсь предположить, что со стороны я, наверное, казалась совсем сумасшедшей. Она вырвала у меня руку и подняла ее, чтобы прервать мой сбивчивый монолог.

— А как зовут вас? — спросила она.

— Ребекка, — ответила я. — Ребекка Смитт. С двумя «т».

Мисс Кеплер протянула мне руку ладонью вниз. Прикоснувшись к кончикам ее полусогнутых пальцев, я машинально склонила голову. Кажется, даже сделала реверанс.

— Любой друг Коллинза — мой друг, — сказала она.

Я ответила, что не назвала бы себя его другом.

— Тогда кто же вы?

— Я просто хожу к нему на консультации.

Мисс Кеплер поджала губы, как будто это различие ничего для нее не значило.

— И вы пришли сюда следом за мной?

— Боже правый, конечно, нет! — воскликнула я. — Я всегда хожу в парк после наших сеансов. Чтобы подумать, собраться с мыслями.

— А что за мысли?

— Я даже не знаю. — Я беспечно махнула рукой.

— Мрачные мысли?

— Иногда.

— Наверняка даже чаще, чем иногда. Иначе вы не ходили бы к Коллинзу.

— Да, пожалуй.

Я спросила, бывают ли у нее мрачные мысли.

Она легонько пожала плечами и отвернулась к перилам.

— А разве бывают другие? — задумчиво проговорила она, глядя на раскинувшийся внизу город. Потом вынула из кармана пальто пачку «Консулейт», и я сразу решила перейти на эту марку. Она предложила мне сигарету и дала прикурить от своей золотой зажигалки. Мы молча курили, а затем мисс Кеплер внезапно спросила:

— Вы же понимаете, что он гений?

— Гений? — удивилась я.

— Да. Гений, — убежденно проговорила она и обернулась ко мне. Она стояла, прижавшись бедром к ограждению, и держала сигарету между указательным и средним пальцем буквально в двух дюймах от губ. На ней были темные замшевые перчатки. Контур ее верхней губы представлял собой идеальный «лук Купидона».

— Вы давно к нему ходите? — спросила я.

Она выдохнула тонкую струйку дыма.

— Уже несколько лет. Но все равно этого мало. Он — человек уникальный. Других таких нет. Все, что он говорит, всегда бьет точно в цель. Он распознает твою ложь еще прежде, чем ты распознаешь ее сама.

— Значит, вы тоже ему врете?

— Моя проблема не в том, что я вру Коллинзу, — сказала она. — А в том, что я вру себе.

Я кивнула. Что-то подобное мог бы сказать сам Бретуэйт.

— Он вас не пугает? — спросила я.

— Пугает? Коллинз? — Она рассмеялась. — Конечно, нет.

— У вас нет ощущения, что он может заставить вас делать все, что он хочет?

— Дорогая моя, я и так делаю все, что он хочет. — Она поднесла сигарету к губам и глубоко затянулась. Потом медленно выдохнула, не сводя взгляда с вечернего Лондона, и опять повернулась ко мне. — Наверное, нам пора по домам. Пока не явился еще один призрак.

Мы спустились с холма и направились к боковому выходу из парка. Она взяла меня под руку. Пар от нашего дыхания плыл в темном воздухе белыми облачками. Мисс Кеплер была чуть выше меня. Мне было приятно идти с ней

под ручку. Я чувствовала себя защищенной. Нас могла бы преследовать целая армия мужчин, мне все равно было бы вовсе не страшно. Меня охватило удивительное ощущение сестринского единения. Я украдкой взглянула на свою спутницу. Ее губы были слегка приоткрыты, подбородок чуть вздернут. Она напоминала лисицу, которая все время держится настороже. Мне всегда нравилось наблюдать за женщинами. Чисто по эстетическим причинам, без всякого извращенческого интереса. Мне еще не встречались женщины, которые будоражили бы меня так же сильно, как мужчины вроде Тома. Мне нравятся мужчины. Их крупные формы. Их запах. Если в переполненном вагоне метро толпа прижимает меня к какому-нибудь мужчине, я с удовольствием вдыхаю запах его пота. Я могу долго смотреть на грубые руки рабочего и представлять, как мозоли у него на ладонях царапают мою кожу. Меня никогда не тянуло к лесбийской любви. В школе, конечно, ходили слухи о девичьих шалостях среди старшеклассниц, но я всегда полагала, что это обычные злобные сплетни. Долгое время я была склонна считать, что лесбиянок в принципе не существует; что это не более чем миф. Однако теперь мне подумалось, что, возможно, мисс

Кеплер — одна из них. В ее чертах и манерах было что-то неуловимо мужское. Некая внутренняя сдержанность, обычно не свойственная нашему полу. Возможно, она посещала Бретуэйта именно из-за лесбийского расстройства.

Мы остановились у самых ворот. Зная, что мы скоро простимся и разойдемся каждая своей дорогой, я сказала:

— Может быть, прозвучит глупо, но сегодня, когда вы не пришли на сеанс, я испугалась самого худшего.

Она посмотрела на меня. На ее губах играла слабая улыбка.

— В каком смысле «худшего»?

— Я подумала, что, возможно, вы сделали глупость.

— Глупость?

— Покончили с собой.

Взгляд у мисс Кеплер стал очень серьезным.

— Самоубийство — это не глупость, — твердо проговорила она. — И мне кажется, что вы подумали так обо мне лишь потому, что вас саму посещают подобные мысли.

— Иногда меня посещают темные мысли, — призналась я.

— То есть, если бы на консультацию не пришли

вы, это могло бы означать, что вы решили все прекратить.

— Решила все прекратить, — эхом повторила я. Мне понравилась фраза. Нам постоянно твердят, что надо жить дальше, что бы ни происходило. Чем сильнее ты страдаешь, тем упорнее все вокруг повторяют, что надо быть сильной и, стиснув зубы, жить дальше. Но если (как в моем случае) человеку не приходится сталкиваться с очевидными испытаниями в жизни, никому не придет в голову напомнить ему, что надо жить дальше. Предполагается, что он и так будет жить дальше, продолжая идти вперед, как автомат. А как же иначе? Для того чтобы остановиться, необходимо усилие воли, акт насилия над собой. Далеко не каждый на это способен.

— Если я иногда пропускаю сеансы, — сказала мисс Кеплер, — то лишь потому, что предпочитаю свое вранье правде Коллинза.

Мы вышли из парка, и она показала, в какую сторону пойдет дальше. Это было не приглашение к совместной прогулке. Она протянула мне руку, и я пожала ее, на этот раз безо всякого подобострастия. Я выразила надежду, что мы с ней еще пообщаемся. Едва заметным кивком она дала мне понять, что такое возможно. У меня было

чувство, что мисс Кеплер — именно тот человек, с которым можно поговорить по душам. С которым можно не притворяться.

Когда она развернулась, чтобы уйти, я прошептала:

— Я не та, за кого себя выдаю. Ребекка — это не настоящее мое имя.

Она помедлила и улыбнулась печальной улыбкой.

— Это не страшно, — сказала она. — Мы все притворяемся кем-то другим. А Ребекка — очень красивое имя.

Она пошла прочь. Я смотрела ей вслед. Ее каблуки не издавали ни звука, словно и не касались асфальта. Стоя под сенью кованых чугунных ворот, я оглянулась на парк. Вечерние городские огни образовывали светящийся ореол вокруг вершины холма. Когда я опять посмотрела на улицу, мисс Кеплер уже скрылась из виду, и у меня почему-то возникло странное чувство, что ее не было вовсе.

Бретуэйт III: «Убей себя в себе»

Осенью 1965 года, когда автор тетрадей, представленных в этой книге, начала посещать доктора Бретуэйта на Эйнджер-роуд, сам Бретуэйт приближался к пику своей известности, хотя его восхождение не было гладким.

Защитив докторскую диссертацию, Бретуэйт не остался в университете, где ему предлагали должность лектора. С него было достаточно Оксфорда. За три года, прошедших с той достопамятной ссоры с Колином Уилсоном, в нем окрепло ощущение, что настоящая жизнь происходит совсем в другом месте. В июне 1959 года он приехал в Лондон, снял крошечную однокомнатную квартирку в Кентиш-Тауне и занялся поисками работы. Он брался за все, что угодно, и не чурался тяжелого физического труда. Работал на стройках и на заводских складах, но поскольку он вечно опаздывал и постоянно конфликтовал с начальством, не признавая никаких авторитетов, его отовсюду увольняли уже через две-три недели.

К концу года притяжение новизны этих бесцельных мотаний померкло, и Бретуэйт написал Р. Д. Лэйнгу, который в то время занимал долж-

ность старшего ординатора в Тавистокской психотерапевтической клинике на Бомонт-стрит. Бретуэйт писал, что он видел, как Лэйнг работал в Нетли, и именно эти наблюдения вдохновили его вернуться в Оксфорд и изучать психологию. И теперь, писал он, ему хотелось бы продолжить практику под руководством Лэйнга. Это был первый и единственный раз, когда Бретуэйт проявил столь смиренную почтительность к кому бы то ни было. В ответном письме Лэйнг написал, что если Бретуэйт всерьез настроился на карьеру в психиатрии, сначала ему следует получить степень по медицине. Письмо было вежливым и учтивым, советы — правильными и разумными, но Бретуэйту показалось, что Лэйнг принижает его достоинство. Он не привык к такому обращению. Он был уверен, что Лэйнг оценит его таланты и сразу предложит ему работу. Во втором письме он изложил некоторые идеи из своей диссертации и выразил мнение, что для того, чтобы понять человеческий разум, ему вовсе не нужно знать, как лечить детей от диареи. На это письмо Лэйнг не ответил.

В начале 1960 года Бретуэйт случайно столкнулся с Эдвардом Сирсом, которого впервые встретил в компании Колина Уилсона. По терминологии

того времени Сирс был «заметной, колоритной фигурой», известной в Сохо. Даже в самом разгаре лета он одевался как аристократ эдвардианской эпохи, иногда носил бриджи чуть ниже колена и никогда не выходил из дома без галстука или шейного платка. Он был щупленьким и невысоким и, когда бывал пьян (что случалось достаточно часто), не гнушался подкатывать с непристойными предложениями к незнакомым мужчинам в барах, невзирая на реальные риски, которыми сопровождалось подобное поведение. Как писал Бретуэйт в своих мемуарах «Я сам и прочие незнакомцы», именно так возобновилось его знакомство с Сирсом в пабе на Дин-стрит. Бретуэйт, который в то время работал продавцом на овощном рынке в Ковент-Гарден и зарабатывал сущие гроши, сказал Сирсу, что тот может делать с ним все, что угодно, если купит ему пинту пива. Двое мужчин уединились в углу бара и погрузились в беседу. Хотя Бретуэйт никогда не шагал в авангарде политкорректности, он не питал никаких предубеждений относительно половых предпочтений. («Почему меня должно волновать, что другой мужик делает со своим членом? Со своим членом я делаю то, что хочу».) Пока Сирс покупал ему выпивку, его совершенно не беспо-

коило, что руки нового знакомца блуждают по его бедрам и норовят ухватить за промежность. У нас нет свидетельств, а значит, и нет оснований предполагать, что дело зашло еще дальше, но под закрытие бара Сирс предложил Бретуэйту работу в редакционном отделе «Метьюэна». Бретуэйт принял его предложение и уже в следующий понедельник явился в офис издательства. Работа оказалась непыльной: он оценивал рукописи, занимался редакторской правкой и корректурой и вскоре выяснил, что никто — и уж точно не Сирс — не возражал, если он уходил в обеденный перерыв пропустить пару бокалов и пропадал на весь день.

Зельда приезжала к нему из Оксфорда на выходные раз в две-три недели. Бретуэйт развел у себя в квартире настоящую помойку. Поскольку окна единственной комнаты выходили прямо на проезжую часть Кентиш-Таун-роуд, стекла всегда были грязными, а снаружи с утра до ночи грохотали автобусы. Из всех сантехнических удобств в квартирке была только раковина, которую Бретуэйт использовал в качестве писсуара. Также имелась предынфарктная двухконфорочная плита, односпальная кровать с тонким замызганным матрасом, письменный стол и единственный

стул. Общая ванная для жильцов располагалась этажом выше, но поскольку горячей воды никогда не хватало на полную ванну, Бретуэйт обычно довольствовался «французским мытьем» у раковины. Когда к нему приезжала Зельда, она сразу же открывала все окна, выкидывала окурки из переполненных пепельниц и выносила на помойку многочисленные пустые бутылки, скопившиеся с ее предыдущего визита. Она сама ненавидела заниматься домашним хозяйством, но даже ей было противно находиться в таком свинарнике.

Зельда с большой теплотой вспоминает эти встречи по выходным. Они с Бретуэйтом занимались любовью на его узкой койке, курили марихуану, подолгу гуляли в парке Хампстед-Хит и подталкивали друг друга локтями всякий раз, когда им попадались одинокие мужчины подозрительной наружности. После поездки во Францию Бретуэйт стал великим поклонником секса на свежем воздухе и ничуть не смущался, если их заставали за этим делом.

По словам Зельды, для него это было счастливое время. По крайней мере, она никогда раньше не видела Бретуэйта таким довольным: «Он совершенно не вписывался в Оксфорд. Он всегда рвался

оттуда прочь. А вот Кентиш-Таун подходил ему как нельзя лучше, такой же расхристанный и потрепанный, как он сам». К тому времени он зарабатывал вполне неплохо, и они с Зельдой могли позволить себе иногда сходить в театр или поужинать в ресторане. Бретуэйту, кажется, нравилось работать в «Метьюэне». У него был острый редакторский глаз, и, если бы все сложилось иначе, он мог бы сделать успешную карьеру в издательском деле.

В апреле 1960 года Р. Д. Лэйнг опубликовал свою программную книгу «Расколотое Я». Вопреки расхожему мнению, она не стала бестселлером в одночасье [18], однако, вне всяких сомнений, произвела впечатление на Бретуэйта, который прочел ее сразу, как только она вышла в свет.

Рональд Дэвид Лэйнг родился в Глазго в 1927 году, в семье из низов среднего класса. Его отец, инженер-электромеханик, частенько поколачивал сына. Его мать была этакой властной полузатворницей. Когда Лэйнг был совсем маленьким, он спал с матерью в родительской спальне, а отцу пришлось переселиться в кладовку в их

[18] Примечания: 18

До переиздания 1965 года, когда книга вышла в издательстве Penguin с культовой обложкой, было продано всего около 1500 экземпляров. (*Примечание автора.*)

тесной квартирке. Лэйнг нашел утешение в учебе, получил стипендию в престижной гимназии Хатчесона и после школы сразу же поступил на медицинский факультет Университета Глазго. По окончании службы в военном госпитале в Нетли Лэйнг получил должность в женском отделении Гартнавельской Королевской психиатрической больницы в Глазго. В то время инсулиновые комы, электрошоковая терапия и лоботомия были обычными методами лечения психических заболеваний, и многие пациенты лежали в клинике больше десяти лет. Именно здесь Лэйнг поставил свой знаменитый терапевтический эксперимент с «Шумной комнатой» для пациентов, страдавших шизофреническими расстройствами. В этой комнате они собирались большими компаниями, им разрешалось носить свою собственную, не больничную одежду. Они общались друг с другом, как считали нужным, и получали все необходимые материалы для рукодельных занятий. За полтора года у большинства пациентов наметились заметные улучшения, так что их выписали домой, хотя через год все до единого вернулись в клинику. Тем не менее Лэйнг обрел репутацию провозвестника смелых идей, которому хватает решимости воплотить эти идеи в жизнь.

В конце 1950-х он переехал в Лондон, чтобы быть ближе к центру событий в мире современной психиатрии. Свою книгу «Расколотое Я» (с подзаголовком «Экзистенциальное исследование нормальности и безумия») он опубликовал, когда ему было тридцать два года. Бретуэйт прочел ее дважды за одни выходные. Уже с первых страниц он узнал свои собственные идеи в описании «шизоидной» личности, которая «переживает себя не как цельную, полную личность, а скорее «расколотую» на части». Собственно, вся книга Лэйнга представляет собой пространное объяснение, как состояние «онтологической неуверенности» приводит к развитию системы ложных «я»: совокупности масок или персон, которые человек являет миру, чтобы защитить свое «настоящее я» от имплозии и посягательств извне.

Весьма показательно для Бретуэйта, что, прочитав книгу Лэйнга, он не обрадовался, что обрел единомышленника — так сказать, брата по разуму, — а пришел к выводу, будто Лэйнг украл его идеи, изложенные в прошлогоднем письме. Возможно, Лэйнг даже читал его докторскую диссертацию, откуда наворовал много всего. Будучи человеком несдержанным, Бретуэйт написал Лэйнгу гневное письмо, в котором обзывал

его, помимо прочего, «беззастенчивым вором», «дешевым шарлатаном» и угрожал судебным разбирательством. Разумеется, все обвинения были беспочвенны. Лэйнг завершил рукопись «Расколотого Я» в 1957 году, задолго до того, как впервые услышал о Бретуэйте, и в любом случае сама мысль, что он мог бы присвоить идеи какого-то случайного корреспондента, была совершенно абсурдной.

Бретуэйт отправил письмо (на которое Лэйнг не ответил) утром в понедельник по дороге в издательство. Он сразу пошел в кабинет к Эдварду Сирсу, и тот первым делом налил ему виски, в котором он явно нуждался. Бретуэйт разглагольствовал полчаса, расхаживая по крошечному кабинету, как медведь в клетке. Сирс никогда прежде не слышал ни о Лэйнге, ни о его книге. Он не особо вникал в гневную речь Бретуэйта, просто ждал, когда буря уляжется, что в итоге и произошло. Бретуэйт сел на место, сжимая в руке второй бокал виски, и объявил Сирсу, что он собирается написать книгу сам — «настоящую, мать ее, книгу», — в которой изложит свои идеи. Если у Сирса и были сомнения, он держал их при себе. Бретуэйт напомнил ему о колоссальном успехе «Постороннего» Колина Уилсона, и Сирс

согласился взглянуть на рукопись, когда она будет готова. В тот период Бретуэйт сильно пил и не производил впечатление человека, которому хватит самодисциплины, чтобы написать книгу, однако в течение следующих полутора месяцев он практически не вылезал из читального зала Британской библиотеки, где когда-то работал и Уилсон. Однажды Сирс высказал робкое недовольство, что Бретуэйт совершенно забросил работу в издательстве. Бретуэйт тут же вспылил, послал Сирса по известному пешеходно-эротическому маршруту и пригрозил, что отдаст свой *magnum opus*[19] в другое издательство. Сирс только пожал плечами. Тирады Бретуэйта его забавляли.

В очередной свой приезд, в одну из майских суббот, около двух часов дня, Зельда с изумлением обнаружила, что Бретуэйт не дрыхнет с похмелья, а сидит за столом и что-то пишет в толстой тетради. Окна были открыты. Вдоль плинтусов не тянулись рядами пустые бутылки, а на столике рядом с плитой стояла коробка яиц и лежала буханка хлеба. Бретуэйт заговорил с Зельдой не раньше чем через полчаса. К такому

---

[19] Примечания: 19
Выдающееся произведение, фундаментальный труд (*лат.*).

Зельда была привычна. Но ее удивило, что, когда Бретуэйт вышел из транса, он не воспользовался возможностью заняться сексом, а лишь пожарил яичницу, съел ее, не отходя от плиты, и снова уселся за письменный стол. Зельда пошла прогуляться и вернулась уже ближе к вечеру. Бретуэйт по-прежнему сидел за столом и писал. Впрочем, он скоро закончил работу, и они с Зельдой занялись любовью, переполошив всех соседей (она хорошо это помнит, потому что кто-то из жильцов принялся стучать в дверь и громогласно требовать, чтобы они прекратили шуметь). Потом они пошли ужинать в «Мортон Армс». Бретуэйт пребывал в жизнерадостном настроении. Он оживленно, пусть и довольно бессвязно, рассказывал о своей будущей книге, которую пишет сейчас. Когда он находился в таком состоянии, вспоминала Зельда, «с ним было приятно общаться. Его разум буквально кипел, переключаясь с одного на другое без всякой видимой логики. Было бесполезно даже пытаться уследить за ходом его мыслей, но это было забавно». Бретуэйт даже не стал возражать, когда она заявила, что ему надо бы снять жилье поприличнее.

Примерно через месяц Бретуэйт представил Сирсу результаты своих трудов. Рукопись, ко-

торая ныне хранится в архивах Даремской библиотеки, примечательна сама по себе; она настолько неудобочитаема, что с первого взгляда вообще не поймешь, точно ли она написана по-английски. Многие слова представляют собой просто волнистые линии с вкраплениями вычурных завитушек на месте букв с «хвостиками». Ощущение получается странное: как будто пытаешься прочитать написанный нормальным почерком текст, глядя на него из окна мчащегося поезда. Спешка, в которой писалась книга, видна в каждой строчке. Многие фразы зачеркнуты, исправления втиснуты либо над строкой, либо под строкой. Эти примечания обычно более разборчивы, чем изначальные фразы. Возможно, нехватка места служила сдерживающим фактором. Многочисленные стрелки соединяют разные параграфы и/или страницы, примечания к переносам записаны на полях вертикально. Общее впечатление таково, что творческий, но беспорядочный ум пытается запечатлеть результаты своих размышлений, но ему не хватает терпения довести начатое до конца.

На следующий день Сирс вызвал Бретуэйта к себе в кабинет. Бретуэйт ожидал, что тот примется восхвалять его гениальность и предложит

ему большой аванс. Но Сирс заявил, что редактор, которому он передал рукопись, говорит, что она совершенно нечитабельна. Бретуэйт разозлился. Его возмутило, что какой-то редактор так пренебрежительно отозвался о его работе и что Сирс отдал его рукопись кому-то из младших сотрудников и не соизволил прочесть ее сам. Сирс попытался его успокоить. Сказал, что, поскольку Бретуэйт ему симпатичен, он не смог бы быть объективным. В любом случае Бретуэйту придется отпечатать рукопись на машинке. После этого Сирс прочтет ее сам. Наверное, так действительно будет лучше. Позже, в частных беседах, он называл книгу Бретуэйта полной галиматьей, однако он был достаточно проницательным человеком и понимал, что психиатрия входит в массовую культуру и среди читателей наверняка будет спрос на подобные идеи. Ему не хотелось публиковать книгу под таким провокационным названием, но по этому вопросу, как и по другим предложениям редакторской правки, Бретуэйт был непреклонен. Книга вышла в марте 1961 года.

«Убей себя в себе» — типичный продукт своей эпохи, и не только в том смысле, что она отражает дух времени, но еще и потому, что была

написана в такой спешке. Не следует заблуждаться: эта книга — сплошной сумбур и невнятица. Беспорядочная мешанина отрывков из диссертации Бретуэйта, размышлений о различных культурных явлениях и плохо замаскированных выпадов в адрес Лэйнга. Она изобилует необоснованными утверждениями и обобщениями, ее тезисы часто вторичны и местами вообще непонятны. Однако в лучших отрывках книга буквально кипит энергией, и талант Бретуэйта к созданию ярких и броских лозунгов окажется гораздо ценнее для его контркультурных читателей, чем какая-то мещанская интеллектуальная связность. В предисловии Бретуэйт пытается превратить недостатки своей работы в достоинства: «Мне предложили переписать некоторые отрывки из этой книги. Я отказался. Это означало бы самоцензуру и насильственное насаждение порядка, которого в принципе не существует. Это противоречило бы смыслу моей работы». И уж если на то пошло, полная «непроницаемость» некоторых отрывков лишь подтверждает гениальность автора.

Как пример можно взять знаменитый программный отрывок из первой главы. Бретуэйт отталкивается от идеи, что если мы собираемся

говорить о человеческом «я», для начала надо дать четкое определение, что это такое. Однако он утверждает, что определение для «я» в принципе невозможно: «Я» не существует как вещь или материальный объект; и если оно существует вообще, то исключительно в виде проекции «я» (в книге много таких парадоксов). Далее идет утомительное обсуждение довольно туманного отрывка из «Болезни к смерти» Кьеркегора. «Я — это отношение, относящее себя к себе самому», — пишет Кьеркегор. Бретуэйт утверждает, что наше «я» состоит из постоянного диалога между двумя конкурирующими версиями этого «я». Одно существует здесь и сейчас, то есть в текущем моменте и больше нигде; другое сохраняется неизменным в течение долгого времени, в силу чего считается «истинным» [20]. Существующее в моменте малое «я» всегда подчиняется большому, вневременному «Я». Это последнее «Я» выступает в роли тирана, мешающего человеку полностью погрузиться в опыт внешнего мира и вызывающего у него чувство вины и отсутствия

[20] Примечания: 20

На протяжении всей книги Бретуэйт различает эти два «я». Вневременное, независимо существующее «Я» всегда обозначается у него с прописной буквы, в то время как «я», существующее в моменте, всегда пишется со строчной буквы. (*Примечание автора.*)

аутентичности. Кьеркегор определяет эту вину как отчаяние: «Желание избавиться от себя, такова формула всякого отчаяния». Обсуждение этого тезиса продолжается еще с полдесятка совершенно невнятных страниц. Вряд ли многие из читателей сумели продраться сквозь лабиринты наверченных предложений и нелогичных скачков с одного на другое, однако отрывок заканчивается призывом, который и сделал книгу знаменитой:

Чтобы избавиться от отчаяния, не убивай себя; убей себя в себе.

Как это свойственно всем работам Бретуэйта, категорические утверждения преобладают над аргументацией. Мало кому интересны предыдущие многостраничные рассуждения, когда заключение так прямо и просится, чтобы оформить его в виде надписи на стене общественного туалета.

«Убей себя в себе» можно рассматривать как диалог с книгой Лэйнга. Причем у авторов больше общего, чем различий. Например, они оба не одобряют существующие методики лечения психических заболеваний и поспешность в постановке диагноза, характерную для традиционной

психиатрической практики. Бретуэйт сравнивает электрошоковую терапию с попыткой лечить страх перед полетами, «вытолкнув пациента из самолета на большой высоте: какое-то время пациент будет парить в воздухе, но польза от этого будет недолгой». Оба автора разделяют убеждение, что психотический бред, безусловно, реален — во всяком случае, для человека, который его переживает, — и с этим опытом нужно работать, а не отвергать его с ходу. Обоим хочется деконструировать традиционную точку зрения, что переживания пациента являются ложными и субъективными, а интерпретация этих переживаний терапевтом — истинной и объективной. «Нет никаких оснований считать, что терапевт более здравомыслящий, чем пациент, — пишет Бретуэйт. — На самом деле непредвзятое прочтение психиатрической литературы сразу покажет, что чаще бывает обратное». Цель любой терапии должна заключаться «не в том, чтобы вернуть пациента к нормальности, а в том, чтобы ему стало комфортно со своим безумием». Лэйнг высказывал похожие идеи, но именно в вопросе о человеческом «я» Бретуэйт держался прямо противоположного мнения:

Доктор Лэйнг вцепился в концепцию «настояще-

го я», как обманутый король Лир — в бездыханное тело Корделии. Он хочет освободить сумасшедших, но сама идея «настоящего я» — это смирительная рубашка, которая держит нас всех в психушке. Лэйнг стоит за единую личность, и стремление вернуться к некоему состоянию истинного бытия, уходящему корнями в детство, и есть источник всех описанных им проблем. Путь к освобождению лежит через принятие постулата, что мы являемся совокупностью разных личностей [...] Возвышать одну личность над всеми прочими означает выстраивать ложную иерархию, которая, по сути, и есть источник того, что называется психическим заболеванием. Таким образом, люди, которых мы клеймим шизофрениками, идут в авангарде нового способа бытия.

Этот новый способ бытия он называл ошизофрением. К концу десятилетия эта идея получила широкое признание среди продвинутой молодежи, живущей по принципу «Делай что хочешь и будь кем хочешь», так что свой экземпляр «Убей себя в себе» был у каждого студента и каждого барного философа. Само слово «ошизофрение» (иногда «шизофрение») прочно вошло в жаргон битников, и лозунги вроде «Не будь собой: оши-

зофренься!» или просто «Не будь: шизофренься!» периодически появлялись на стенах университетов по всей стране. Также эта концепция породила недолговечное движение шизо-поэзии, в котором одурманенные кислотой стихоплеты направляли свои различные «я» в какофонию смыслов, пока они не сливались в единое «я» в форме совершенно невразумительного, но «аутентичного» потока сознания. По иронии судьбы, многие участники этого движения впоследствии проходили лечение в психиатрических клиниках.

Идеи Бретуэйта проникли и в популярную культуру. Ближе к концу 1966 года, перед самым началом записи альбома «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера», Пол Маккартни писал:

Я подумал: давайте мы не будем собой. Давайте изобретем себе альтер эго, чтобы у нас не было необходимости проецировать тот образ, который мы знаем. Это дало бы нам больше свободы. Это было бы действительно интересно — примерить на себя образ другой группы… это будем не мы, это будет не «Битлз», это будет другая группа, и мы таким образом сможем утратить свою идентичность.

Неизвестно, читал ли Маккартни «Убей себя в себе», но именно Пол Маккартни, а не Джон Леннон, вращался в лондонских контркультурных кругах и наверняка хоть краем уха, но слышал обсуждения книги Бретуэйта. Они оба присутствовали на вечеринке по случаю выхода первого номера авангардной газеты «Интернешнл таймс» в Камдене в октябре 1966 года. Возможно, они не знали друг друга лично, однако вышеприведенный комментарий Маккартни явно предполагает повсеместное распространение тех идей, которые высказывал Бретуэйт.

Однако этот успех был еще в будущем. В первые дни после выхода в свет «Убей себя в себе» Бретуэйт просматривал всю печатную прессу в поисках отзывов и рецензий. Колина Уилсона объявили голосом поколения уже через неделю после первого тиража «Постороннего». Бретуэйт ожидал не меньшего. Наконец появилась единственная рецензия в журнале «Нью-Стейтсмен». Эдвард Сирс учился в Вестминстерской школе вместе с новым редактором журнала, Джоном Фрименом, и уговорил его сделать краткий обзор. Можно было и не утруждаться. В рецензии отмечалось, что в книге «нет ничего примечательного, кроме ее безответственного названия и полного прене-

брежения здравым смыслом». Со свойственным ему нахальством Бретуэйт отослал экземпляр Лэйнгу с сопроводительной запиской, в которой язвительно благодарил адресата за бесценный вклад в создание замысла этого произведения. Неизвестно, прочел ли Лэйнг книгу. Но мы доподлинно знаем, что он не удостоил Бретуэйта ответом.

За год после выхода в свет «Убей себя в себе» продалось несколько сот экземпляров. Неплохой результат для малопонятной работы никому не известного автора. Бретуэйт твердил Сирсу — и всем, кто был готов слушать, — что это все происки истеблишмента. Заговор для подавления его идей. Однако втайне он был подавлен таким безразличием мира. Никогда прежде Зельда не видела Бретуэйта таким угрюмым. По выходным он валялся в постели почти до вечера и курил сигареты одну за другой. По вечерам, если они выходили куда-нибудь в бар, он пил больше обычного и нарывался на драки. Зельда стала приезжать в Лондон все реже и реже, но ей все-таки не хватило решимости полностью прекратить отношения с Бретуэйтом. Она впервые почувствовала, что нужна ему не только для секса.

В своих мемуарах Бретуэйт явно приукраши-

вает этот период. Вопиюще искажая реальность, он пишет: «Я осмелился высказать то, чего никто еще не говорил, причем именно в тот момент, когда мир был готов слушать». Трудно сказать, в чем тут дело: то ли в его склонности к самомифологизации, то ли в подлинных заблуждениях, — но Бретуэйт, безусловно, поддерживал очень гибкие отношения с правдой.

Как бы там ни было, этот период уныния продлился недолго.

В сентябре 1961 года, на вечеринке в доме кинопродюсера Майкла Релфа, приятеля Сирса, Бретуэйт познакомился с Дирком Богардом. Богард тогда только что снялся в фильме «Жертва», где играл адвоката, подвергшегося шантажу из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это был важный, программный фильм, и Богарда, прежде кумира легких дневных сеансов, хвалили за смелость, потому что не каждый актер взялся бы за эту роль.

Богард был человеком со сложным характером. Урожденный Дерек Жюль Гаспар Ульрик Нивен ван ден Богарде, он рос в Лондоне, а в подростковом возрасте переехал жить к дяде и тете в Бишопбриггс неподалеку от Глазго. Во время Второй мировой войны он служил в армии и, по

его собственному утверждению, принимал непосредственное участие в освобождении узников Берген-Бельзена. Как большинство его сверстников из зажиточных семей среднего класса, он воспитывался под девизом «Никогда не оправдывайся и не жалуйся». Богард был замкнутым, даже скрытным. Его биограф, Джон Колдстрим, писал, что «еще в ранней юности Дирк принялся наращивать толстую кожу, которая [позже] превратилась в непробиваемый панцирь [...] Он создал себе личность для общественного потребления».

Богард сорок лет прожил со своим партнером, актером Энтони Форвудом, но всегда отрицал, что он гей. Это было вполне объяснимо в 1960-х, когда, как выразился Колдстрим, даже возможность «разоблачения» в качестве гомосексуалиста означала «реальный страх несмываемого позора». Даже после того, как однополые отношения были декриминализированы Актом о половых преступлениях 1967 года, общественное мнение еще долго не поспевало за буквой закона. Вот почему Богард не смешивал свою публичную и частную жизнь, всегда отделяя одно от другого. Артур Бретуэйт, сын торговца скобяными изделиями из Дарлингтона, запросто переиначил себя

в Коллинза Бретуэйта, однако широкая известность Богарда означала, что ему было просто не обойтись без защитного панциря, в котором не слишком нуждался Бретуэйт. Для Богарда ставки были значительно выше.

По собственным словам Бретуэйта, первое, что он сказал Богарду при знакомстве: «Вы прекрасный актер». Богард ответил дежурным «спасибо». Этот комплимент он слышал тысячу раз. Однако Бретуэйт уточнил: он имеет в виду вовсе не профессиональную деятельность. Он наблюдал, как Богард общается с другими гостями на вечеринке. «Все, что вы говорите и делаете, — сплошное притворство. Лицедейство, как оно есть». Богард изобразил надменную улыбку, знакомую каждому, кто видел его на экране. Прежде чем он успел ответить, Бретуэйт продолжил: «Даже теперь вы играете. Вы улыбаетесь, но ваша улыбка — всего лишь маска».

В семитомных мемуарах Богарда нет ни единого упоминания о Бретуэйте, но в частных беседах с друзьями он вспоминал эту встречу, а также последующее общение с Бретуэйтом, которого называл выдающимся человеком. Что-то в «гаргульеподобных» чертах Бретуэйта и его дерзких манерах заставило Богарда ослабить обычную

бдительность. Возможно, все было проще: один позер узнал другого.

Они уединились в углу, где очень удачно стоял столик с выпивкой. Богард попросил Бретуэйта рассказать о себе, что тот расценил не как искреннее любопытство, а как попытку увести разговор в сторону от его собственной личности. Богард даже не слышал об «Убей себя в себе», но Бретуэйт изложил ему вкратце свои основные идеи. Богард, как впоследствии писал Бретуэйт, «слушал внимательно, не поднимая глаз. Было ясно, что он узнал себя в моих словах. На пару минут облицовка отпала, и я разговаривал не с Дирком Богардом, а с Дереком ван ден Богарде». Момент истины длился недолго. Их разговор прервала хозяйка вечеринки, которая утащила Богарда знакомиться с другими гостями. Но перед тем как уйти, Богард — снова надевший маску публичной личности — попросил Бретуэйта прислать ему экземпляр его книги. Бретуэйт выполнил его просьбу и через несколько дней получил от актера записку с приглашением в его особняк Драммерс-Ярд вблизи Эмиршема, в двадцати милях к северо-западу от Лондона.

Бретуэйт приехал с часовым опозданием, но Богард то ли этого не заметил, то ли не придал

значения. «Он изображал безразличие, — писал Бретуэйт, — как будто и вовсе забыл, что пригласил меня в гости». С такой притворной рассеянностью представителей высшего класса Бретуэйт уже сталкивался в Оксфорде. «Этим людям всегда было важно показать окружающим, что их мысли заняты чем-то поинтереснее, чем простая плебейская пунктуальность». Дом был огромным, но Богард провел Бретуэйта в крошечный кабинет, который называл своим тихим убежищем.

Портрет Богарда в «Я сам и прочие незнакомцы» получился язвительным и смешным. Бретуэйт очень подробно описывает все достоинства, слабости и недостатки актера. Богард, представленный в книге, одновременно тщеславен, уклончив, обаятелен, великодушен, остер на язык и раним. Согласно грубой классификации человеческого рода, придуманной Бретуэйтом, Богард относился к категории «блистательных раздолбаев». Судя по мемуарам Бретуэйта, он избавил Богарда от чувства вины за то, что тот притворялся не тем, кем был на самом деле; убедил его, что притворное «я», которое он имитировал, было таким же реальным, как то «я», которое он скрывал. Он разъяснил Богарду свою

теорию о двойниках. Как понять, кто из них настоящий, а кто самозванец? Их знакомство продлилось не больше нескольких недель, но оказало значительное влияние на них обоих. В одной из частных бесед Богард сказал: «Для меня стало большим облегчением узнать, что вовсе не обязательно всегда «быть собой»; что это нормально — быть своим двойником».

Вскоре о Бретуэйте узнали в широких кругах, и он получил много звонков от других актеров и людей, связанных с кино и театром. Бретуэйт любил актеров. Они были живым воплощением его идей. Актеров ценят за то, что они притворяются теми, кем не являются на самом деле. В «Убей себя в себе» он цитирует отрывок из «Мифа о Сизифе» Камю:

«Своим повседневным лицедейством [актер] показывает, насколько видимость может создавать бытие. Ибо таково его искусство — доведенное до совершенства притворство, максимальное проникновение в чужие жизни. В итоге его призвание ясно: всеми силами души он стремится быть ничем, то есть быть многими».

Бретуэйт продолжает:

В конце каждого представления мы аплодируем

стоя. Мы кричим: «Браво! Бис!» Чем убедительнее иллюзия, тем громче аплодисменты. И все же, когда мы выходим из театра, нам претит притворство. Мы порицаем людей, которые пытаются быть не собой, а кем-то другим. Это стремление «быть собой» — ересь, как она есть. К миру следует относиться как к большой сцене, на которой мы представляем ту версию себя, какой хотим быть здесь и сейчас. Только заново изобретая себя раз за разом — только «будучи многим», — мы можем избавиться от тирании застывшего, неизменного «я».

По мнению Бретуэйта, это и есть настоящий путь к счастью, и его новообретенная театральная клиентура оказалась восприимчивой аудиторией. Актеры, в силу своей профессии, уже отщепенцы. С ранних лет они понимают, что им надо играть, чтобы вписаться в общество. «Я вовсе не утверждаю, — писал Бретуэйт, — что из голубых получаются лучшие актеры. Просто общество устроено так, что всем голубым приходится быть актерами».

Сначала Бретуэйт приходил к клиентам на дом, но уже к концу августа 1962 года скопил достаточно денег, чтобы бросить работу в издательстве и снять двухэтажный дом на Эйнджер-роуд. Он

сам поселился на первом этаже, а на втором принимал «посетителей». Если люди готовы платить Бретуэйту пять гиней в час, он уж точно не станет отказываться. Вскоре он зарабатывал за три часа столько же, сколько за целую неделю в «Метьюэне».

Зельда, которая к тому времени тоже окончила аспирантуру, переехала к нему в конце года. В первое время все было очень даже неплохо. У Зельды был свой собственный доход, и она никогда не впадала в зависимость от Бретуэйта, как Сара Чизем и другие его многочисленные подруги. В ту зиму она работала над своей первой книгой, «Лик другой женщины».

Вначале Бретуэйт очень серьезно отнесся к своей, по сути, случайной роли востребованного психотерапевта. Он проводил вечера за чтением психологической и психотерапевтической литературы. Однако он не изменил свои взгляды, которые высказал в «Убей себя в себе». Он пренебрежительно относился к психоаналитической модели и даже отрицал существование бессознательного. Анализ сновидений он называл тарабарщиной, практикуемой псевдошаманами. Тем не менее то, что он делал у себя в кабинете на Эйнджер-роуд, как будто давало вполне непло-

хой результат. Его ежедневник был заполнен на полгода вперед. Он построил перегородку на втором этаже, отделив приемную от кабинета, и нанял секретаршу, чтобы вести запись приема и следить за оплатой счетов. Филлис Лэмб, его первая секретарша, вспоминала, что на прием к Бретуэйту ходили «толпы красивых девушек и всевозможных представителей богемы». Многие потенциальные клиенты заявлялись на Эйнджер-роуд без предварительной записи. Их либо вежливо выпроваживали, либо просили дождаться, когда Бретуэйт освободится. В перерывах между сеансами Бретуэйт нередко спускался вниз, где выкуривал косячок или выпивал бутылку пива.

Роман Зельды вышел в конце 1963 года. «Обзервер» назвал его проницательным и глубоким портретом новой женственности. Обозреватель литературного приложения к «Таймс» сравнил Зельду с Вирджинией Вулф. Теперь телефон на первом этаже чаще звонил по Зельде, чем по Бретуэйту. «Разумеется, он завидовал, — вспоминала она. — Коллинз никогда не умел радоваться чужому успеху». Бретуэйт просматривал все статьи о Зельде Огилви в поисках упоминания своего имени и, не найдя такового, в сердцах швырял

журнал или газету через всю комнату. «Кажется, он всерьез полагал, что своим успехом я обязана ему». По выходным они с Бретуэйтом устраивали у себя вечеринки или ходили на вечеринки к кому-то еще. Ночные гулянки на Эйнджер-роуд продолжались до утра и завершались только тогда, когда последний гость без сознания падал на пол. Соседи неоднократно вызывали полицию, и именно Зельда убеждала стражей порядка, что ничего предосудительного не происходит.

Продажи «Убей себя в себе» пошли вверх. Эдвард Сирс пригласил Бретуэйта на обед и попросил написать продолжение. Бретуэйт отказался. Частная практика приносила ему больше денег, чем авторские отчисления за книгу. «Да, — сказал Сирс, — но если бы не было книги, то не было бы и клиентов, приносящих доход». В наше время мир движется быстро, продолжал он. Если Бретуэйт не явит общественности никаких новых работ, его клиенты переметнутся к следующему «злободневному чуду». Он хитро упомянул, что Лэйнг не сидит сложа руки и у него вышло еще две книги [21]. Бретуэйта это не убедило. У него не было времени писать книгу. В «Убей себя в

[21] Примечания: 21

А именно «Я и другие» (1961) и «Здравомыслие, безумие и семья» (1963). (*Примечание автора.*)

себе» он сказал все, что хотел. Зачем повторяться? Понятно, что Сирса заботила отнюдь не карьера его бывшего сотрудника. Он стремился освоить растущий рынок книг по психиатрии. Он предложил Бретуэйту составить сборник случаев из практики в качестве дополнения к «Убей себя в себе». Он напомнил, что многие считают его шарлатаном. Это будет хорошая возможность доказать, что они ошибаются. «Но они вовсе не ошибаются, — возразил Бретуэйт. — Я и есть шарлатан». Сирс уже понял, что бесполезно его убеждать, однако в самом конце обеда упомянул о немалом авансе, который готов был заплатить.

Примерно через неделю Бретуэйт позвонил Сирсу и сказал, что у него есть идея для новой книги. Это будет подборка случаев из его собственной практики, своеобразный контрапункт к «Убей себя в себе». «Эти случаи, — сказал он, — выполнят ту же самую функцию, что и притчи в Библии». Их предыдущий разговор он даже не упомянул. Сирс сказал Бретуэйту, что это отличная идея, и уже через несколько дней они подписали договор.

Бретуэйт написал «Антитерапию» в конце 1964 года, и весной 1965-го она вышла в свет. Книга имела мгновенный успех. Не считая заумного

предисловия, сборник прекрасно читается. Он получился пикантным и местами весьма проницательным. Портреты клиентов обрисованы остроумно и живо. Также вся книга пронизана бесстыдным самолюбованием автора. Бретуэйт никогда не упускает возможности повторить комплименты, которыми его награждают благодарные «посетители». Разумеется, каждый клиент Бретуэйта всегда оставался доволен и завершал терапию с чувством полного освобождения от всяких психологических тягот. В «Антитерапии» нет и следа тех запутанных обсуждений Кьеркегора и Камю, которыми изобилует «Убей себя в себе»; здесь перед нами проходят парадом человеческие слабости и причуды, щедро приправленные откровенными описаниями всевозможных сексуальных грешков и рукоблудных привычек. Сам Бретуэйт считал свою книгу халтурой, написанной исключительно ради денег. «Людям нравится читать о тех, кто оказался в еще большей заднице, чем они сами». Однако пресса подняла скандал. Джули Кристи пришлось отчаянно опровергать слухи, ловко запущенные Эдвардом Сирсом, что она и есть «Джейн», неразборчивая в половых связях, плотно сидящая на валиуме старлетка из первой

главы. Джон Осборн выступил с заявлением, что он никогда не встречался с Коллинзом Бретуэйтом и уж тем более не обращался к нему за какими-то консультациями. Его преосвященство Роберт Стопфорд, лондонский епископ, объявил книгу богохульной (один из клиентов признается, что его возбуждает образ Христа на кресте) и призвал ее запретить. Главный редактор «Таймс» пренебрежительно заметил, что, хотя книга и вправду является «трубным гласом нынешней эпохи вседозволенности… это все равно не оправдывает публикацию подобного материала». Стоит ли говорить, что скандальная шумиха привлекала на Эйнджер-роуд еще больше клиентов.

Теперь Ронни Лэйнг уже поневоле обратил внимание на Бретуэйта. Прежде именно Лэйнг был самым популярным психотерапевтом среди лондонской богемы. И вдруг его положение узурпировал какой-то шарлатан-недоучка. По словам Джозефа Берке, коллеги Лэйнга, при одном только упоминании имени Бретуэйта Лэйнг разражался тирадой отборной шотландской брани, но не желал вступать в публичное противостояние, проницательно полагая, что это только укрепит скандальную популярность Бретуэйта.

Разделение между двумя этажами на Эйн-

джер-роуд потихоньку стиралось. Бретуэйт взял в привычку приглашать некоторых клиентов вниз, чтобы после сеанса выкурить на двоих косячок. Он стал позволять себе пить и курить прямо на консультациях. В записи на прием началась путаница. Сразу нескольким разным клиентам назначалось одно и то же время. Одна из клиенток рассказывала, что однажды пришла к Бретуэйту по записи и обнаружила у него в кабинете еще трех посетителей. Бретуэйт начал выспрашивать у нее разные интимные подробности, которые они обсуждали на предыдущих сеансах, — причем, прямо в присутствии посторонних людей, которых он тоже старался привлечь к разговору. Она ушла и больше не возвращалась.

Зельда этого не одобряла. Помимо прочего, она работала над своей второй книгой, и ей очень не нравилось постоянно отвлекаться. Ее также тревожила роль Бретуэйта и его отношение к людям. «У него не было никакого понятия о конфиденциальности. Он, ничтоже сумняшеся, повторял самые откровенные подробности тех разговоров, которые вел наверху». Когда он начал проводить сеансы внизу, она поняла, что все предприятие превращается в цирк. «Это был просто какой-то дурдом», — вспоминала она.

Последней каплей стал случай с журналисткой Ритой Маршалл, которая в октябре того же года приехала к Зельде, чтобы взять у нее интервью для «Сандей таймс» [22]. Бретуэйту было велено сидеть наверху, но он, конечно, был не в состоянии выполнить эту простую просьбу. Он вломился в гостиную с бутылкой пива в руке и радостным воплем: «Не обращайте на меня внимания». Пару минут он сидел тихо, после чего влез в интервью и начал рассказывать о своей собственной работе. Маршалл вежливо кивнула и попыталась возобновить прерванную беседу, но Бретуэйт принялся перебивать Зельду и отвечать на вопросы вместо нее. Зельда напомнила ему, что он обещал ей не мешать. «Это мой дом, — заявил Бретуэйт. — Человеку уже нельзя выпить пива в своем собственном доме?» Маршалл извинилась и поспешно ушла. В тот же вечер Зельда съехала от Бретуэйта.

---

[22] Примечания: 22

Этот случай описан Маршалл в статье «Зельда Огилви: Женщина нашего века», опубликованной в «Сандей таймс» 24 октября 1965 года. (*Примечание автора.*)

Четвертая тетрадь

В последние дни слова мисс Кеплер никак не идут у меня из головы. Самоубийство — это не глупость. Разумеется, она права. В ее тоне не было упрека, но я восприняла ее слова именно как упрек и пожалела, что выразилась так убого. Вообще после нашего разговора я себя чувствовала ужасной балдой. Мисс Кеплер, наверное, подумала, что я совсем не в себе. Я утешилась мыслью, что, раз она сама ходит на консультации к доктору Бретуэйту, значит, в ней тоже есть что-то от сумасшедшей. Как бы там ни было, наш разговор заставил меня по-новому осмыслить гибель сестры.

Как ни странно, но я никогда не задумывалась о подробностях — о *реальности* — смерти Вероники. И честно признаться, я действительно считала ее поступок великой глупостью. Мне даже в голову не приходило, что она больше не может терпеть свое существование. Я почему-то решила, что это был сиюминутный порыв. Теперь я понимаю, почему так упорно считала ее поступок мимолетной причудой. Так мне было проще

смириться с произошедшим. Это был «защитный механизм», как назвал бы его Бретуэйт.

За несколько месяцев до смерти Вероника вернулась домой из Кембриджа. Я так и не поняла, почему. Были какие-то невнятные разговоры об «усталости и истощении», но мне она не показалась хоть сколько-нибудь утомленной. С виду она была даже бодрее меня. В любом случае папа был рад, что теперь она дома. За ужином Вероника оживленно рассказывала о каких-то высокоинтеллектуальных материях, а отец с обожанием смотрел на нее. Однажды вечером она принялась объяснять некий эффект красного смещения, используя фрукты в качестве наглядной модели Вселенной. Апельсин был Солнцем. Виноградина — Землей. Многие звезды, видимые на ночном небе, сказала нам Вероника, мертвы уже не один миллион лет. Она медленно передвинула яблоко (я не помню, что оно обозначало) к дальнему краю стола, продолжая рассказывать о длине и частоте световых волн. Даже миссис Ллевелин задержалась в столовой, чтобы послушать, после чего покачала головой и что-то пробормотала о нынешних девушках, забивающих себе голову тем, что никак их не касается. В кои-то веки я с ней согласилась.

Мы с Вероникой почти не общались. Я не знаю, чем она занималась в эти недели, когда была дома, и каковы ее планы на будущее. Сказать по правде, мне это было неинтересно. Я ни капельки не сомневалась, что она скоро вернется в свои кембриджские эмпиреи. Нельзя сказать, что мы с ней отдалились друг от друга, потому что никогда и не были близки, как положено сестрам. Я уже давно смирилась с мыслью, что она во всем лучше меня, и поэтому я ее мало интересую. Но я все равно была рада, что она приехала домой. Ее присутствие разрядило гнетущую атмосферу, и я совершенно не ревновала ее к отцу. Наоборот, для меня стало большим облегчением, что за ужином больше не нужно развлекать его вымышленными историями о моей «интересной» работе в агентстве у мистера Браунли.

Как-то вечером я сидела в гостиной и читала последний роман Джорджетт Хейер. Вероника долго за мной наблюдала. Потом вздохнула и произнесла: «Жалко, что я не могу так же полностью погрузиться в роман». Это был не комплимент. Она утверждала превосходство своего ума над моим. Я давно научилась различать, что *говорит* Вероника и что она *подразумевает*. Это несоответствие не раз становилось причиной

недопонимания между нами. Лет в двенадцать-тринадцать ее склонность говорить прямо противоположное обрела масштаб мании. Если день был погожим и солнечным, она объявляла, что погода сегодня «унылая». Если шел дождь, она говорила, что погода «чудесная». Ее понимал только папа, с которым у них сложился этакий личный жаргон-лексикон. Он называл ее Иронической, она его — мамой. Когда Вероника сообщала, что написала контрольную лучше всех в классе, папа говорил, что это позор и сегодня она ляжет спать без ужина. Вероника ему отвечала, что это было бы великолепно и что в придачу ее надо бы выпороть ремнем. Папа ее заверял, что ему будет очень приятно устроить ей порку. Они могли продолжать в том же духе по несколько часов кряду. Они как бы устроили для себя тайное общество, куда никому не было хода. Если я по наивности принимала «обратные» слова Вероники за чистую монету, она закатывала глаза и досадливо хмыкала, словно я была самой тупой недотепой на свете. Точно так же, если я принимала ее игру, она заявляла, что говорила серьезно. С Вероникой все было непредсказуемо. Каждый наш разговор мог закончиться для меня очередным унижением.

В тот вечер я одарила ее жестким взглядом, чтобы она знала, что я понимаю, что она надо мной издевается. Вероника чуть покраснела. Видимо, сообразила, что перешла все границы. Папа оторвался от своего кроссворда. «Не всем же нам быть такими умными, как ты, Вероника», — сказал он и улыбнулся мне, как улыбаются умственно отсталым детишкам. Я поднялась и язвительно извинилась за то, что своим присутствием снижаю интеллектуальный градус. На выходе из комнаты я успела заметить, как Вероника и папа переглянулись с видом притворного раскаяния, что лишь подогрело мой гнев.

Да, мы с Вероникой никогда не были особо близки, но в основном мы с ней ладили очень даже неплохо. Сколько я себя помню, я всегда признавала ее главенство. Она была умной; я — глупенькой. Она вела себя идеально; я — нет. Она не капризничала, не дерзила родителям, не устраивала скандалы в общественных местах, не таращилась на женщин, которых мама называла Иезавелями. Если мы ужинали в ресторане, Вероника правильно использовала столовые приборы и не капала соусом себе на блузку. Она не смотрела телевикторины и не тратила время на вырезки красивых картинок из журналов

мод. Вероника жила на другом уровне бытия, и поэтому мы с ней соперничали только за папино внимание. Если я не прилагала усилий для своего интеллектуального развития, то лишь из-за страха, что мне все равно не угнаться за Вероникой, а лишний раз подтверждать свою неполноценность мне совсем не хотелось. Отказываясь от соперничества, я могла тешить себя иллюзией, что просто мы с ней очень разные. Время от времени она выражала легкую зависть по поводу моей работы у мистера Браунли. «Ты теперь светская девушка», — говорила она, и я ее не разубеждала. Пусть она думает, что у меня тоже есть интересные занятия. Папа считал, что для Вероники такая работа была бы скучной, и, конечно, был прав. Не у всех есть способность выполнять монотонные повторяющиеся задачи или подолгу смотреть в одну точку, не испытывая ни малейшей скуки. Мне, например, даже нравится просто смотреть по сторонам. Если как следует приглядеться, где-то что-то всегда происходит. Крошечные драмы разыгрываются повсюду. Но интеллектуалы вроде Вероники этого не замечают. Они слишком заняты своими мыслями.

В тот вечер, когда умерла Вероника, полицейские пришли к нам домой без десяти минут

девять. Я хорошо это помню, потому что, когда поздно вечером раздается неожиданный звонок в дверь, ты первым делом смотришь на часы. Папа оторвался от кроссворда и сказал: «А вот и она. Наверное, забыла ключи». Отсутствие Вероники за ужином вызвало некоторое недоумение. Папа предположил, что она, вероятно, пошла в кино или встретилась с кем-то из своих умных кембриджских подруг (у Вероники, в отличие от меня, были подруги, причем не просто подруги, а обязательно умные), но я сомневаюсь, что он сам в это верил.

Я ни секунды не сомневалась, что в дверь звонит не Вероника. У меня есть способность заранее предчувствовать беду, поэтому я совершенно не удивилась, когда миссис Ллевелин привела в гостиную двух полицейских. Первый — не помню, как его звали — был детективом в плохо сидящем коричневом костюме и темном плаще. Он молча снял шляпу и прижал ее к груди. Его напарником был полицейский констебль в форме, совсем молоденький мальчик, как будто только вчера со школьной скамьи. Розовощекий и весь в юношеских прыщах. Вместе они напоминали комический дуэт из мюзик-холла, и я была почти готова к тому, что сейчас они примутся

исполнять «Под арками подъездов». Детектив начал с того, что ему следует убедиться, что мы действительно родственники Вероники. Было бы странно, если бы мы оказались какими-нибудь самозванцами, но я уже знала, что в кризисные времена представители властей всегда тратят немало времени и усилий на подтверждение очевидного. Эти формальности позволяют создать дистанцию между участниками беседы и теми печальными событиями, о которых пойдет речь. Человек перестает быть собой и становится винтиком, выполняющим определенную функцию. Как говорится, ничего личного. В первое время после маминой смерти мне даже нравилось, когда меня в энный раз спрашивали: «Значит, вы дочь покойной?» (весомый ритм этой фразы до сих пор доставляет мне странное удовольствие). «Да», — отвечала я со скорбно-торжественным видом, гордясь тем, что так хорошо исполняю возложенную на меня роль.

Убедившись, что мы — это мы, детектив сообщил, что у него для нас плохие новости. Он выдержал паузу для эффекта — в манере ведущего телевикторины — и объявил, что с Вероникой произошел несчастный случай. Она бросилась с пешеходного моста над железной дорогой в

Камдене. Он сам, кажется, не заметил противоречия между этими заявлениями, но я, конечно, не стала на это указывать. Это было бы более чем неуместно. Я не решалась взглянуть на отца. Я боялась, что это известие его убьет и мне придется общаться с полицией в одиночку. Я изобразила, как мне представлялось, вполне достоверный испуг и схватилась рукой за щеку. Нельзя было показывать, что я ожидала таких новостей. Мне почему-то подумалось, что детектив, может быть, получает определенное удовольствие, когда входит в дом к незнакомым людям и сообщает им, что их родственники мертвы. Не знаю, откуда взялась эта мысль. У него на лице явно не отражалось никакого удовольствия. Еще пару секунд помяв шляпу в руках, он, очевидно, решил, что дал нам достаточно времени справиться с потрясением, и приступил к расспросам: Не известно ли нам, почему Вероника оказалась в Камдене? Не казалась ли она расстроенной или несчастной в последнее время? Не замечали ли мы что-то странное в ее поведении? На все три вопроса отец ответил отрицательно. Детектив спросил, можно ли ему «сунуть нос» в Вероникину комнату. Меня поразило это отступление от бюрократического лексикона. Это разговор-

ное выражение совершенно не подходило к его положению официального лица. Видимо, он считал себя «крепким орешком», который запросто может общаться с убитым горем семейством, потерявшим близкого человека. Как бы там ни было, миссис Ллевелин проводила его наверх.

Его младший напарник остался в гостиной, словно чтобы присмотреть за папой и мной. Я заметила, что он украдкой поглядывает на мои ноги, и безотчетно одернула юбку пониже. Чтобы хоть что-то сказать, я спросила, почему они так уверены, что это именно Вероника. Молодой полицейский ответил мне нерешительно, будто боялся, что превышает свои полномочия. На месте трагедии нашли ее сумочку, сказал он. Я сделала мысленную пометку, что, если когда-нибудь соберусь броситься под поезд с моста, надо будет сначала провести ревизию содержимого своей сумки и убрать все лишнее. Полицейский что-то пролепетал об опознании тела, но осекся на полуслове. На костяшках его правой руки виднелись свежие ссадины, как после драки. Я встала и подошла к папе. Он сидел, закрыв лицо руками. Газета соскользнула с его колен и упала на пол. Я положила руку ему на плечо. Он накрыл ее своей, и так мы и стояли — как застывшие

фигуры в живой картине, — пока детектив не вернулся в гостиную. Он разъяснил нам последующие процедуры, после чего резко кивнул своему молодому коллеге, мол, пора уходить.

На дознании молодой человек по имени Саймон Уилмот рассказал, как он шел мимо и увидел Веронику, забравшуюся на перила моста. До тех пор мне удавалось не думать о жестокой реальности ее поступка. Я убеждала себя, что это был несчастный случай; что она поскользнулась и просто упала. Разумеется, мне приходило на ум слово «самоубийство», но я отмахивалась от него, как от назойливой мухи. Я не желала рассматривать вариант, что Вероника действовала преднамеренно; что она сама захотела покончить с жизнью. Сама идея была нелепой. Саймон Уилмот рассказал, что Вероника секунду помедлила на перилах, и он бросился к ней и схватил ее за ногу. Она все-таки прыгнула, и у него в руке осталась только ее туфля. Позже нам вернули эту туфлю вместе со всей остальной одеждой и содержимым ее сумочки. Вторую туфлю так и не нашли, но я все равно не смогла бы взять их себе, поскольку Вероника носила обувь на два размера больше, чем у меня.

Моя первая реакция на смерть Вероники была,

стыдно признаться, совершенно эгоистичной: мне больше не нужно бороться за отцовскую любовь. Мне уже никогда не придется чувствовать себя дурочкой за семейным столом и мучиться ощущением собственной никчемности. Впервые я одержала победу, уже в силу того, что просто пережила старшую сестру. Я понимаю, что это мелочные и нехорошие чувства, но откуда бы взяться другим? С самого раннего детства я знала, что я — человек неприятный и злой. Любое событие я воспринимаю исключительно с точки зрения его пользы или вреда для себя. Я с недоверием отношусь к людям, которые утверждают, что заботятся об общественном благе, или тратят свое свободное время на благотворительность. Этот нескрываемый альтруизм, как мне кажется, говорит лишь о желании, чтобы все вокруг восхищались, какой ты хороший. Но через несколько недель после смерти Вероники мои ощущения переменились. С одной стороны, эта переоценка вполне соответствовала моему всегдашнему эгоизму. Отец горевал неизбывно и долго. Каждый день, возвращаясь с работы, я заставала его в слезах. Он почти ничего не ел и очень сильно похудел. Его лицо стало серым. Волосы поредели. Миссис Ллевелин сохраняла жизнерадостный

фасад, но даже ей не удавалось уговорить папу поесть. Мы, разумеется, не обсуждали причину его беспросветной скорби. Упоминание имени Вероники представлялось бессмысленной жестокостью. Поэтому мы говорили о всяких житейских пустяках, как будто ничего не случилось. Именно так изменились мои ощущения по поводу ее смерти: из-за папиной боли мне самой стало больно.

А потом произошло кое-что еще. Однажды вечером за столом я обернулась в ту сторону, где обычно сидела сестра. Я собиралась задать ей вопрос и так и застыла с открытым ртом. Впервые я окончательно осознала, что ее больше нет и не будет. Теперь ее смерть представилась мне в новом свете. В мире образовалась дыра, пустота на том месте, где раньше была Вероника. Исчезла не только физическая оболочка, но и все содержимое ее ума. Вопрос, который я собиралась задать, уже навсегда останется без ответа. Все ее знания, все накопленные воспоминания, все будущие мысли и действия — все ушло безвозвратно. Лишившись ее навсегда, мир как будто уменьшился. Из моего горла вырвался горестный всхлип. Я пыталась его удержать, но не смогла. Я замаскировала его под приступ кашля и броси-

лась прочь из комнаты.

Я пришла к доктору Бретуэйту в четвертый раз, и Дейзи жестом пригласила меня присесть. Соболиная шуба мисс Кеплер висела на вешалке у двери. Я была рада, что привычный порядок восстановился. Когда я уселась, мне вдруг пришло в голову, что Вероника, наверное, сидела на этом же стуле в ожидании, когда Дейзи скажет, что уже можно идти в кабинет. Сидела с прямой спиной, сложив руки на плотно прижатых друг к другу коленях, как сейчас сижу я. Впрочем, я сомневаюсь, что Вероника заметила бы оторванный кусочек обоев над столом Дейзи. Вряд ли он беспокоил бы ее так же, как беспокоит меня. И ей уж точно не пришло бы в голову похвалить кардиган Дейзи. Кардиган Дейзи ее нисколько не трогал. Вероника была человеком здравомыслящим и практичным. Она никогда не гналась за модой. Носила плохо сидящие юбки, неуклюжие туфли, а иногда и твидовые брюки мужского фасона. Иногда мне казалось, что она предпочла бы родиться мужчиной. Я бы не удивилась, если бы выяснилось, что Вероника курила трубку.

Дейзи была непривычно сосредоточена на работе. Видимо, после того, как нас застали за разговором на прошлой неделе, ей хотелось за-

ранее отбить у меня все желание вступать с ней в беседу. Возможно, Бретуэйт устроил ей выговор. Я попыталась представить, какое ей было назначено наказание. Тем не менее у меня вдруг появилась идея. Зная, что если я буду раздумывать слишком долго, то найду сотню причин, чтобы не исполнить свой замысел, я сразу же перешла к действиям и обратилась к Дейзи:

— Я хотела спросить, вы, случайно, не помните одну из бывших клиенток доктора Бретуэйта? Ее звали Вероника.

Я небрежно повела рукой, чтобы показать, что это просто случайная мысль и меня не особенно интересует ответ.

Дейзи посмотрела на меня. Быстро указала глазами на дверь кабинета. Сморщила лоб и втянула голову в плечи.

— Вы сами знаете, что мне нельзя обсуждать с вами других посетителей, — хмуро проговорила она.

Теперь она уже не казалась приветливой и дружелюбной.

— Просто мне любопытно, помните вы ее или нет.

— Совершенно не важно, помню я ее или нет. — Она произнесла эти слова громким шепотом. —

Вы не должны задавать мне такие вопросы.

Она снова принялась печатать, нарочно стараясь стучать по клавишам как можно громче.

Я описала ей Веронику.

— Доктор Бретуэйт даже писал о ней в одной из своих книг, — сказала я сквозь грохот клавиш. — Он назвал ее Дороти. Я всегда думала, что это имя ей очень подходит.

Мне показалось, что в глазах Дейзи мелькнуло что-то похожее на узнавание.

Она прекратила печатать и посмотрела на меня.

— Я не читала ни одной его книги.

У меня сложилось впечатление, что она испугалась.

— В каком-то смысле я прихожу сюда из-за нее, — сказала я.

— Меня не касаются ваши причины. — Ее щеки стали пунцовыми.

Дверь кабинета открылась. В приемную вышла мисс Кеплер. Она была сама на себя не похожа. Ее лицо горело, потекшая тушь размазалась по щекам. Волосы растрепались. Когда Дейзи подавала ей шубу, она рассеянно убрала за ухо прядку, упавшую на глаза. Она скользнула по мне пустым взглядом, словно видела впервые. Меня

это задело, но, поскольку у нее наверняка были причины для такого загадочного поведения, я решила молчать просто из солидарности.

Как только она ушла, в дверях кабинета возник Бретуэйт. Все это напоминало плохую комедию с элементами фарса из жизни провинциальной аристократии, поставленную в любительском драмкружке. Хотя Бретуэйт не отличается особенной статью, он был подобен маленькой стране, чья империя простирается далеко за пределы ее границ. Он как будто заполнил собой весь дверной проем. Он посмотрел на меня, но не поздоровался, даже не улыбнулся, и я испугалась, что он слышал мой разговор с секретаршей. Он сказал Дейзи, что спустится вниз на пару минут, и ушел. Мне было слышно, как он спускался по лестнице.

Видимо, опасаясь дальнейших расспросов, Дейзи предложила мне пройти в кабинет. Я закрыла за собой дверь и оглядела комнату. Было необычно оказаться здесь в одиночестве. Несмотря на разрешение войти, я чувствовала себя непрошеной гостьей. Я подошла к диванчику у окна и сняла перчатки. Мой взгляд упал на картотечный шкафчик рядом с письменным столом. Какие тайны скрываются в этих ящичках! Как обычно,

один из ящиков в верхнем ряду был выдвинут почти наполовину. Я покосилась на дверь. Бретуэйт говорил, что пробудет внизу пару минут. Прошло уже секунд тридцать. Я поставила сумку на пол. По спине пробежал холодок. Достанет ли у меня смелости? Я сказала себе, что уже хватит раздумывать. Надо действовать. Промедление смерти подобно. Я прошла через комнату. Четыре шага, пять, шесть. Я заглянула в открытый ящик. Там не было карточек, аккуратно расставленных по алфавиту. Просто лежала стопка тетрадей. Я напрягла слух — не послышатся ли снаружи шаги — и открыла верхнюю тетрадь. На первой странице были написаны только инициалы «СК». Я предположила, что «К» значит «Кеплер». Сердце глухо стучало в груди. Я перевернула страницу. Почерк Бретуэйта был неразборчивым и корявым. Я даже подумала, что это какой-то специальный шифр; что мысли, которые он излагал, были настолько провокационными, что их требовалось зашифровывать. В любом случае для меня его записи были бессмысленными, как китайские иероглифы. И все-таки где-то в этом шкафу хранилась тетрадь, посвященная Веронике. Если мне удастся ее стащить, позже я найду способ расшифровать эти записи. Я сходила за

сумкой, чтобы сразу спрятать в нее нужную мне тетрадь. Я принялась просматривать все тетради в открытом ящике и только потом сообразила, что Вероника ходила к Бретуэйту почти два года назад. Вряд ли он будет держать в верхнем ящике относящиеся к ней материалы. Я открыла второй сверху ящик и стала быстро пролистывать каждую тетрадь в поисках Вероникиных инициалов или каких-то других подсказок. Прошло еще несколько минут. Я помедлила и прислушалась. Все было тихо. Я решила открыть еще пять тетрадей и вернуться к диванчику. Я уже взяла в руки первую из пяти, и тут у меня за спиной хлопнула дверь.

Я уронила тетрадку обратно в ящик и медленно обернулась. На пороге стоял Бретуэйт и разминал руки, как душитель, готовящийся совершить свое черное дело. Его лицо оставалось бесстрастным. Я чуть попятилась, открытый ящик врезался мне в спину. Бретуэйт медленно прошел через комнату, встал почти вплотную ко мне и оперся на картотечный шкафчик, так что я оказалась запертой в кольце его рук.

— И что вы тут делали? — спросил он очень тихо.

— Ничего, — жалобно пискнула я. От этого пис-

ка скривилась бы даже мышь.

— Из ничего не выйдет ничего. Так объяснись [23], — произнес он сердитым, отрывистым голосом. Его губы оказались на уровне моего лба. У него изо рта пахло спиртным.

— Мне было любопытно, какая у вас система каталогизации, — сказала я. — В агентстве у мистера Браунли я храню документы и в алфавитном, и в хронологическом порядке, но я вижу, что вы... — Я умолкла на полуслове, запоздало сообразив, что несу полный бред.

— Опомнись и исправь ответ, чтоб после не жалеть об этом[24], — сказал Бретуэйт. Он дышал хрипло и тяжело. Потом взял меня под подбородок левой рукой и запрокинул мне голову, вынуждая смотреть ему прямо в глаза. Он медленно облизнул свои пухлые губы. Нежно положил пальцы на мое беззащитное горло. У меня внутри все оборвалось.

— Так что же?

Я судорожно сглотнула. Его рука, лежащая на моей шее, источала тепло, и при других обстоя-

---

[23] Примечания: 23

Бретуэйт цитирует «Короля Лира». Перевод Б. Пастернака.

[24] Примечания: 24

Бретуэйт продолжает цитировать «Короля Лира». Перевод Б. Пастернака.

тельствах это было бы даже приятно.

— Мне было любопытно, что вы пишете обо мне, — сказала я.

Он убрал руку с моего горла и почесал подбородок в присущей ему мерзкой манере. Его правая рука легла мне на плечо, как тяжелый шмат мяса.

— Но вы же знаете, что сделало любопытство?

— Сгубило кошку, — послушно ответила я.

— И мы не хотим, чтобы с вами произошло что-то подобное?

— Нет, не хотим.

Он отпустил мое плечо и сделал полшага назад. Я поспешила занять свое место на диванчике у окна.

— Извините, — сказала я, покаянно опустив голову. — Я знаю, что нельзя рыться без спросу в чужих шкафах.

Бретуэйт стоял, прислонившись к картотечному шкафчику. Я заметила, что у него расстегнута ширинка (он был в тех же самых бесформенных вельветовых брюках, что и на прошлой неделе), но сейчас было явно не самое подходящее время, чтобы делать ему замечание. Я напомнила себе, что я — вовсе не я, а Ребекка Смитт, и попыталась успокоиться. Я потянулась за сумочкой, чтобы

взять сигареты, но моя сумка осталась у шкафчика. Еще никогда я жизни я не ощущала такой острой потребности в никотине.

— И что же, по вашему мнению, я мог о вас написать? — спросил Бретуэйт.

— Я не знаю. Поэтому я и хотела взглянуть.

— Я и так вам скажу. Ничего.

— Ничего? — повторила я эхом.

— Ни единого слова. — Кажется, он был ужасно доволен собой. — И я скажу почему. Потому что писать совершенно не о чем. Я еще не встречал таких пустых, лживых людей. Я уже начинаю думать, что вы не та, за кого пытаетесь себя выдать.

— Я сама часто об этом думаю, — отозвалась Ребекка, довольно ловко, как мне показалось. (Она гораздо умнее меня; иногда у меня возникает мысль, что, может быть, стоит полностью передать ей бразды правления.)

— Вы стараетесь показаться опытной и искушенной, но все это — сплошное притворство. Вы пытаетесь расспрашивать Дейзи у меня за спиной. А теперь мисс Кеплер говорит, что на прошлой неделе вы подкараулили ее в парке. Кажется, против меня объединяется целая армия женщин.

— Подкараулила? — растерянно переспросила я.

Мне стало обидно, что мисс Кеплер так отозвалась о нашей встрече.

Бретуэйт оторвался от картотечного шкафчика, подтащил стул к диванчику и уселся на него верхом, прямо напротив меня. Его расстегнутая ширинка зияла, как раззявленный рот ошарашенного подростка. Я поднялась и забрала свою сумку. Закурив сигарету, я почувствовала, что ко мне возвращается присутствие духа. Ничто не раздражает сильнее, чем неутоленное желание, вот почему я стараюсь по мере возможности ничего не хотеть. Когда у тебя есть желания, ты живешь в состоянии вечной жажды. Сюда не относится пристрастие к курению. Курение можно держать под контролем: терпеть, сколько возможно, позволяя желанию медленно нарастать, а потом устроить себе разрядку одной затяжкой.

— Уж не знаю, что там у вас было, — продолжал Бретуэйт. — Но если принять во внимание ваше притворство, и попытки втереться в доверие к Дейзи, и то, что вы роетесь в моих бумагах… Вы наверняка замышляете что-то против меня.

— Я ничего не замышляю.

Он вдруг рассмеялся.

— Вы журналистка?

— Журналистка? Боже правый, конечно, нет!

Меня действительно обескуражило это предположение.

— Вы не первая, кто пытается что-то вынюхать, — сказал он.

— Уверяю вас, я никакая не журналистка.

— Тогда кто же вы, мисс Смитт?

— Я никто и ничто. Просто Ребекка, — ответила я.

Он молчал. Я почувствовала себя чуть смелее и добавила:

— И я вовсе не подкарауливала мисс Кеплер. Мы случайно встретились в парке.

— Она сказала, вы за ней следили.

— После сеанса мне надо было пройтись и проветрить голову. Откуда мне было знать, что она тоже гуляет в парке?

Бретуэйт поджал губы. Кажется, мой аргумент показался ему убедительным.

— Но вы с ней говорили?

— Да, говорили. Я ее видела в приемной и знала в лицо. Было бы невежливо не поздороваться.

— То есть вы поздоровались и ничего больше? — Он принялся растирать пальцами виски.

У меня было чувство, что меня подвергают

допросу. Так я ему и сказала.

— У мисс Кеплер, скажем так, слишком буйная фантазия, — сказал он.

— Да, похоже на то.

— Я бы вам не советовал с ней связываться.

— Я не собиралась с ней связываться.

— Так о чем вы говорили?

Я пожала плечами.

— Да почти ни о чем. О погоде.

— А еще?

— Естественно, упоминалось и ваше имя.

— И что она обо мне говорила?

— Если я вам скажу, у вас появятся всякие мысли. А вам и так есть о чем размышлять.

Он озадаченно посмотрел на меня. Несмотря на мои скудные знания о мужчинах, я все-таки знаю, что все они падки на лесть. Им надо тешить свое эго. Когда муж приходит с работы домой, жене всегда нужно ему говорить, что он у нее самый умный и самый красивый. Это наш женский долг, и те, кто им пренебрегает, так и сидят в старых девах, как я.

— Если хотите знать, она сказала, что вы гений, — произнесла я таким тоном, что сразу было понятно: сама я не согласна с таким заявлением.

Бретуэйт не сумел скрыть довольную улыбку.

— Как вы сами заметили, — добавила я, — у нее слишком буйная фантазия.

— Даже в самых тяжелых психопатических случаях у пациентов бывают моменты просветления, — сказал он. — И больше вы ни о чем не говорили?

— Кстати, да. Говорили.

Он вопросительно посмотрел на меня.

— О самоубийстве, — сказала я.

Он повторил это слово почти одобрительным тоном.

— И как вы пришли к такой сложной теме? Когда в парке случайно встречаются две молодые женщины, они обычно не говорят о подобных вещах.

— Возможно, мы находились под вашим влиянием, — сказала я.

Он промолчал.

Я поднесла сигарету к губам, глубоко затянулась и медленно выдохнула дым. Я впервые почувствовала, что мне удалось пробудить в нем интерес.

— И уж если мы заговорили об этом сейчас, — сказала я, — я должна вам признаться, что в последнее время меня все чаще и чаще посещают мысли о суициде.

Мне самой очень понравилась эта фраза, но Бретуэйт, кажется, не впечатлился ни элегантностью формулировки, ни смыслом сказанного.

— Если вы все-таки соберетесь покончить с собой, — сказал он, — не забудьте заранее сообщить Дейзи об отмене приема.

Как я поняла, он шутил. Но я все равно хмуро уставилась на свои руки, всем своим видом изображая обиду.

— Вы смеетесь и не принимаете меня всерьез, — очень тихо произнесла я.

— Ни в коем случае, — ответил он. — Уверяю вас, ничто не бесит меня сильнее, чем сорванный прием. — Он расправил плечи и сделал серьезное лицо. Уперся локтями в колени и сложил руки домиком, прижав кончики указательных пальцев к бороздке над верхней губой. Он спросил, как давно у меня появились такие мысли. Я настороженно подняла глаза, все еще не уверенная, что он надо мной не смеется.

— Уже несколько месяцев, — сказала я. — Может быть, дольше. Иногда я стою на берегу Темзы и размышляю, почему бы мне просто не броситься в воду.

— И что вам мешает?

— В каком смысле?

— Что вам мешает? — повторил Бретуэйт. — У многих людей время от времени появляются мысли о самоубийстве. Видит бог, у меня тоже. Но в подавляющем большинстве люди все-таки не кончают с собой. Что-то их останавливает. Вот я и спрашиваю, что останавливает вас?

Я посмотрела на него.

— Наверное, я еще не продумала все хорошенько.

— То есть вы продолжаете жизнь исключительно из-за отсутствия четкого плана?

— Нет, дело не в этом. Просто мне кажется, что я могу пожалеть о сделанном. Что если я брошусь в реку, то могу передумать уже в воде, но тогда будет поздно.

— Значит, это ваш выбранный метод? Утопиться в реке. Кстати, метод не самый надежный. Вдруг как раз в это время мимо пройдет молодой человек, который геройски нырнет вас спасать. Или у вас у самой сработает инстинкт выживания, и вы доплывете до берега.

— Я не умею плавать, — раздраженно ответила я.

(Сама мысль о том, чтобы погрузиться в большую массу воды, всегда казалась мне совершенно противоестественной.)

— Тем не менее, — продолжал он, — не для вас газовая духовка и горсть таблеток. Не для вас петля или пуля. Хотя пускать пулю в висок — это, конечно, мужские игры. Да и повеситься надо умеючи. Даже если все сделаешь правильно, зрелище все равно неприятное. Если неправильно, то лишь зря изгадишь ковер. В любом случае не самый эстетичный способ уйти.

— Вы забыли упомянуть поезда.

У меня по спине пробежал холодок при одном только воспоминании об эстакаде над железной дорогой, по которой я прошла чуть больше часа назад.

— Да, конечно! — воскликнул Бретуэйт. — Можно же броситься под поезд. Отличный, проверенный временем способ. Спасибо Анне Карениной. Почти нет шансов, что что-то может пойти не так, и уж точно нет времени передумать. Однако в Лондоне много железных дорог, а вы пока не торопитесь бросаться под поезд.

— Не тороплюсь. Но когда я стою на платформе, то каждый раз думаю, как легко было бы все закончить.

Бретуэйт слегка фыркнул, как будто я высказала очень даже разумную мысль.

— Вам не приходило в голову, что все осталь-

ные, стоящие на платформе, думают о том же самом?

— Нет, — сказала я. — Они вряд ли думают о том же самом.

— Еще как думают! Все до единого.

— Однако никто не бросается под поезд.

— Да, никто не бросается, — произнес он очень тихо. Впервые за все время нашего знакомства он, кажется, растерялся и не знал, что сказать.

Я пожала плечами:

— Наверное, у них есть причины жить дальше.

— Например?

— Я не знаю. Муж. Дети. Работа.

— У вас есть работа, — заметил он.

— Совершенно дурацкая работа. С которой справится и шимпанзе.

— А ваш отец?

Я снова пожала плечами.

— Мне иногда кажется, что для него было бы большим облегчением, если бы меня не было рядом.

— В таком случае действительно странно, что вы еще не покончили с собой.

На минуту воцарилось молчание. Мне было слышно, как тяжелые капли дождя стучат в оконные стекла. Я не взяла с собой зонтик и теперь

рисковала промокнуть. Человека, который решился покончить с собой, вряд ли сильно волнует, промокнет он или нет. В тот день, когда Вероника покончила с собой, шел дождь. Я не думаю, что она беспокоилась о том, что испортит пальто. Бретуэйт молча за мной наблюдал. Наблюдал с настороженным любопытством, как будто я была экспонатом в цирке уродов. Может быть, он действительно думал, что я сумасшедшая. Может быть, я и вправду слегка не в себе. Осмелюсь предположить, что сумасшедшие не осознают своего сумасшествия, поэтому невозможно знать наверняка, сумасшедший ты или нет. Эта мысль меня позабавила. Быть сумасшедшей весело и приятно. Можно делать, что хочешь, и никто не обидится. Сумасшедшим многое сходит с рук.

Бретуэйт заложил руки за голову и сцепил пальцы в замок.

— Знаете что, Ребекка, — сказал он. — Ваше решение — это ваше решение. Я не могу вас отговаривать. Если вам хочется покончить с собой, то вперед. Это не мое дело. Лично я ничего не теряю кроме ваших пяти гиней в неделю. Но вот в чем загвоздка: я не верю, что вы говорите о самоубийстве всерьез.

Я возразила, что очень даже всерьез.

Он сморщил лоб и покачал головой.

— Я вам не верю. Вы так старательно изображаете из себя искушенную женщину, что-то рассказываете о себе, но тем самым вы лишь отвлекаете внимание от себя. Все, что вы говорите и делаете, — это лишь маскировка. Вы явно что-то скрываете. Причем даже не от меня, а от себя самой. Вы погребены под лавиной притворства. Ваша манера одеваться — притворство. Все, что вы говорите, — притворство. Даже то, как вы держите сигарету. Вы притворщица.

Я опустила глаза, как будто он меня оскорбил. Хотя он оскорбил не меня, а Ребекку.

— Может быть, — сказала я.

— Хорошо, — сказал он. — Мы все притворщики. Вы притворщица, я притворщик. Разница в том, что я признаю: я — притворщик. Вы стали бы гораздо счастливее, если бы тоже признали правду.

— Но какой смысл становиться кем-то другим? — спросила я.

— А какой смысл оставаться собой в вашем нынешнем качестве?

Это правда. Смысла нет никакого. Я встаю утром, иду на свою глупую работу, возвращаюсь домой, смотрю телевизор или читаю какой-ни-

будь роман. Потом ложусь спать, утром снова встаю, и процесс повторяется до бесконечности. До посинения. По сути, я не человек, а какой-то автомат.

— Я не знаю, как измениться, — сказала я. — Так, чтобы все опять не оказалось бессмысленным.

— Что вы так уцепились за смысл? — сказал он. — Разумеется, ни в чем нет смысла. Смириться с мыслью, что жизнь бессмысленна, — вот первый шаг к освобождению.

— Если все бессмысленно, то какой смысл меняться? — спросила я.

Разговор становился все более интересным.

Бретуэйт поднялся со стула и принялся расхаживать по кабинету с наигранным раздражением.

— Я понял, в чем ваша проблема, Ребекка. Вы много думаете, но мало делаете. Вы сами себя искалечили.

— И что мне делать? — спросила я.

— Перестать ждать, что кто-то другой будет подсказывать вам, что делать.

Я ответила, что за пять гиней в неделю я все же могла бы рассчитывать на какой-то совет.

— Если я вам скажу прыгнуть под поезд, вы пойдете и прыгнете? — спросил он.

— Вы мне советуете прыгнуть под поезд?

— Я ничего вам не советую. Вы должны сами решать, что вам делать.

— А если я все-таки брошусь под поезд?

— Никуда вы не броситесь. Чтобы прыгнуть под поезд, нужна сила воли, а ее у вас нет.

— Я могу прыгнуть просто назло вам, — сказала я.

— А вам не кажется, что это будет пиррова победа?

Бретуэйт замер на месте и отодвинул стул в сторону, причем с такой силой, что уронил его на пол. Он уселся на пол вплотную ко мне, так что его грудь почти касалась моих колен.

— Забудем о смысле, — сказал он. — Жизнь — это не смысл. Это опыт.

Вельветовые бороздки на бедрах его брюк были заметно истерты. Уж при его-то почасовой ставке он мог бы позволить себе новые брюки.

— Представьте, что вы гуляете в парке, — мягко проговорил он. — Летний солнечный день. Вы идете вдоль берега озера Серпентайн. Ощущаете кожей солнечное тепло. Вы снимаете туфли. Трава приятно щекочет вам ноги.

Он говорил медленно, давая мне время прочувствовать каждый образ. Его голос звучал

гипнотически.

— Вы покупаете мороженое. — Он изобразил пантомимой, как держит рожок. Потом высунул язык и лизнул воображаемое мороженое. Сделал мне знак повторить. Его лицо оказалось буквально в нескольких дюймах от моего. Я поднесла к губам руку, сжатую в неплотный кулак, и лизнула воздух над ней.

— Вкусно? — спросил Бретуэйт.

— Да, очень. — Я еще раз лизнула воздух.

— У вас какое мороженое?

— Ванильное.

— А у меня пломбир с изюмом и ромом, — сказал он. — Хотите попробовать?

Он протянул мне свой рожок. Поскольку опасность инфекции от воображаемого мороженого была минимальной, я взяла у него рожок и высунула язык. (Сейчас, когда я об этом пишу, получается как-то глупо. Но тогда это казалось вполне нормальным.)

— Вкусно, — сказала я, возвращая ему невидимый рожок.

Он запихал в рот оставшееся «мороженое» и вытер губы тыльной стороной ладони. Я уронила руку на колено.

— Вы испачкали блузку, — сказал Бретуэйт. Он

потянулся к столу, взял бумажную салфетку и вручил ее мне. Я послушно вытерла воображаемое пятно. Все это было настолько абсурдно, что я рассмеялась и снова подумала, что Коллинз Бретуэйт — человек очень умный и может заставить любого делать все, что он хочет.

После этого глупого эпизода настроение переменилось. Что-то произошло между нами. Я дышала ровно и очень медленно. Дождь прекратился. Было тихо и почти темно. У меня возникло странное ощущение, будто время остановилось. Мы сидели в молчании. В другой ситуации я закурила бы сигарету, но сейчас мне совсем не хотелось курить. Так прошло несколько долгих минут. В конце концов Бретуэйт поднялся и сказал, что будет ждать меня на следующей неделе.

— Если вы к тому времени не покончите с собой, — добавил он со смешком.

Он наблюдал, как я собираюсь на выход. Когда я уже подходила к двери, он окликнул меня, достал из кармана брюк шиллинг и протянул его мне со словами:

— Купите себе мороженое.

— Может быть, и куплю, — сказала Ребекка. Я вдруг с ужасом поняла, что она с ним заигрывает. Уже на улице я напомнила ей, что сейчас

ноябрь и погода явно не располагает к покупке мороженого. Я закурила. Ребекка сказала, что она до сих пор чувствует на языке вкус пломбира с изюмом и ромом, которым ее «угостил» Бретуэйт. Я ответила, что она легко поддается внушению. Неужели она не понимает, что он ею манипулирует? Она спросила, почему я всегда ищу в людях какие-то скрытые корыстные мотивы? Почему я не могу просто радоваться мелочам? Потому что такой бездумный гедонизм обязательно доведет до беды, отрезала я. Она очень точно скопировала мамин голос: «Нам не нужен еще один «Вулворт», да?»

Я пожала плечами. Я уже начала думать, что ее привлекает Бретуэйт.

— А если и так, что с того? — отозвалась она.

Интересно, подумала я, применял ли Бретуэйт свою уловку с мороженым с Вероникой? Вряд ли она поддержала бы эту игру. Она никогда не была восприимчивой к чужому влиянию. И никогда не любила мороженое. В мой день рождения, когда мне исполнилось десять лет, мы ходили гулять в Ричмонд-парк, и Вероника отказалась от мороженого. Папа ее уговаривал, а она возражала с ее всегдашней неопровержимой логикой, что есть мороженое в жаркий день совершенно

нерационально, потому что оно быстро тает, и приходится поглощать его быстро, пока оно не растеклось. Если любишь мороженое, его надо есть, когда холодно, чтобы оно дольше не таяло и можно было продлить удовольствие. И в любом случае мороженое — это детское лакомство, сказала она, быстро взглянув на меня. Папа ответил, что мороженое любят все: не только дети, но и взрослые тоже. Веронику это не убедило.

Я побрела в сторону Примроуз-Хилл в смутной надежде снова встретить мисс Кеплер. Бретуэйт был прав, когда высмеял мою склонность впадать в рутинный режим в минимальные сроки. Однако в установившемся распорядке есть одно неоспоримое достоинство: он избавляет от необходимости думать. Ты просто делаешь то же, что делал всегда. В знакомых, привычных действиях ты обретаешь уверенность и покой. И все же мне было тревожно. Я рассеянно вертела в пальцах шиллинг, лежавший в кармане пальто, но думала вовсе не о совете Бретуэйта купить мороженое. Я думала о его прямом, грубом вопросе: «Что вам мешает?» А действительно, что? Никто не будет оплакивать мою смерть. Папа уже нашел мне замену в лице миссис Ллевелин. Мистер Браунли, конечно, заметит, что я не пришла на работу,

но он даст объявление в газету, и очень скоро на мое место найдутся другие желающие. Меня легко заменить. Я не умная, не талантливая, не смешная. Не красавица и не дурнушка. Во мне нет ничего, что привлекает внимание детишек на улице. Я совершенно обычная, заурядная посредственность. Если меня вдруг не станет, никто этого и не заметит.

Я ощутила чье-то присутствие у себя за спиной. Я сказала себе, что Эйнджер-роуд — оживленная улица, и если какой-то прохожий идет в ту же сторону, это уж точно не повод для беспокойства. И все-таки у меня было стойкое ощущение, что за мной следят. Потому что, несмотря ни на что, я ужасно мнительная. Мне всегда кажется, что всякие действия посторонних людей, так или иначе, нацелены на меня. Я не ускорила шаг и не стала оглядываться, чтобы подтвердить свои подозрения. Я отдалась на волю судьбы. Звук шагов приближался. Тяжелых, мужских шагов. Я расслабила плечи в ожидании тупого удара в затылок. В голове промелькнуло слово «дубина», тяжеловесное англосаксонское слово. Я повторила его вслух, тихим шепотом себе под нос, и приготовилась к неизбежному.

Чья-то рука легла мне на плечо.

Это был Том. Конечно, это был Том (или как его звали).

— Ребекка, — сказал он. — Я тебе звонил.

Я повторила за ним это имя, как будто оно ничего для меня не значило.

— Это я, — сказал он.

Наверное, у меня был растерянный вид. Мой пустой взгляд уперся ему в грудь. Верхняя пуговица его пальто висела на одной нитке. Я чуть было не предложила ее пришить (я всегда ношу с собой иголку и нитки), но Ребекка меня удержала: Тому неинтересны хлопотливые хозяюшки. Он пустился в пространные объяснения, как пытался мне позвонить, но я, наверное, ошиблась в цифрах, когда записывала номер. Женщина, которая взяла трубку («какая-то злющая старая грымза»), сказала, что никакая Ребекка Смитт здесь не живет. Ему пришлось устроить мне засаду. Да, он сам понимает, что как будто навязывается. Обычно он так не делает.

Я изумленно уставилась на него. Его всегдашняя самоуверенность сменилась горячечным подростковым смущением. Сегодня он надел кепку наподобие матросской фуражки, но из-за слишком густых волос она не натягивалась на голову, как положено, а торчала колом на макуш-

ке и смотрелась нелепо. Он смотрел на меня с какой-то странной тревогой. Я поняла, что, вроде бы дав ему от ворот поворот, я обрела над ним некую власть (хорошо, пусть не я, а Ребекка). Такой красавчик, как Том, наверняка не привык, чтобы с ним так обращались. И каков результат этой невольной жестокости? Он стоял передо мной как проситель, готовый омыть мои ноги слезами.

— Это, наверное, миссис Ллевелин взяла трубку, — сказала я. — Мне так часто звонят, что иногда я прошу ее говорить, что они якобы ошиблись номером.

— Ага, — сказал Том, словно это было вполне убедительное объяснение. — Мне было бы неприятно осознавать, что ты нарочно дала мне неправильный номер. — Прояснив волновавший его вопрос, он как будто стряхнул с себя всю неловкость. — Ну, раз уж мы встретились, может быть, зайдем в паб и чего-нибудь выпьем?

Я пожала плечами. Почему бы и нет? Мы развернулись и направились в сторону «Пембриджского замка». Асфальт под ногами был скользким после недавнего дождя. Том шагал, держа руки в карманах. Я обхватила рукой его локоть. Мне было приятно идти с ним под руку.

Я прикасалась щекой к грубой, шершавой ткани его пальто — колючей, как папина однодневная щетина. Мы, наверное, напоминали влюбленную пару из рекламы освежителя для полости рта или плащей-дождевиков, подходящих «и для него, и для нее».

Том спросил, как прошел мой сеанс с Брету-эйтом.

— Давай не будем об этом, — сказала я.

Он серьезно кивнул:

— Да, конечно.

Я спросила, чем он занимался. Он принялся рассказывать о своих недавних проектах, но я слушала вполуха. Я как будто застряла где-то на середине между собой и Ребеккой. Я пыталась понять, кто такая Ребекка. Мы с ней, конечно, очень похожи. Она носит мою одежду. Говорит моим голосом. Хотя у нее более четкая, более резкая манера речи (я сама часто мямлю, так что люди не слышат, что я говорю). Ее мысли, по большей части, мои мысли. Разница в том, что она не боится высказывать их вслух. Я не уверена, что она мне нравится. Она слишком дерзкая и, как я понимаю, не признает никаких приличий. Если бы с ней познакомился мой отец, он не проникся бы к ней симпатией, я уверена. Но она, кажется,

нравится Тому. Это Ребекку он караулил на улице. Это Ребекку он пригласил в «Пембриджский замок». Он хочет Ребекку, а значит, Ребекку он и получит.

Мы перешли через Риджентс-парк-роуд и приблизились к пабу. Том распахнул передо мной дверь и сделал вычурный жест рукой, словно приглашая принцессу Маргарет в бальный зал. Я вошла в бар. Одинокий мужчина с газетой сидел за тем же столиком у двери, перед ним стоял бокал с пивом, точно такой же, как в прошлый раз. Двух солиситоров у барной стойки сменила похожая парочка. Один из них был очень толстым, с густыми бакенбардами и в котелке, лихо заломленном на затылок. Бармен Гарри стоял за стойкой, сцепив пальцы на животе. Столик, за которым мы сидели в прошлый раз, занял мужчина, решавший кроссворд. В левой руке он держал дымящуюся сигару. Когда мы вошли, он на миг оторвался от газеты и посмотрел в нашу сторону. Кроме меня и Ребекки, женщин в пабе не было. Я решила, пусть Том сам выбирает, где нам сесть. Он выбрал укромную кабинку в глубине зала, провел меня туда, а сам пошел покупать «чем смазать горло», как он это назвал.

Кабинка, располагавшаяся в углу справа от

барной стойки, была надежно защищена от посторонних глаз панелями из матового стекла с эмблемами паба. Там было два столика, оба свободные. Я села за стол у окна. Эта уютная кабинка представляла собою частичное убежище от окружающего декаданса, и в то же время ее уединенное расположение наводило на мысли о вероятных попытках домогательства. В зале было немало свободных столов, и я поневоле задумалась, почему Том решил усадить меня именно здесь. Разумеется, я была в курсе общепринятой догмы, что мужчинам нужно от женщины только одно. Однако я уже убедилась на собственном опыте, что от меня им такого не нужно. Возможно, сегодня что-то изменится. Том не только звонил мне домой, но и приложил усилия, чтобы меня разыскать. Вряд ли он стал бы искать со мной встречи, если бы не надеялся чего-то добиться. У меня засосало под ложечкой. Кажется, я крепко влипла. Я сняла перчатки, убрала их в сумку и попыталась прикинуть, успею ли я сбежать до его возвращения. Из кабинки мне было не видно, что происходит у барной стойки. Хотя, может быть, все не так страшно. Может, я выпью один джин-тоник и спокойно уйду. Ребекка велела мне заткнуться. Иначе я все испорчу. Мне самой,

может быть, и не хочется, чтобы Том меня трогал, а вот ей как раз хочется. Она собиралась напиться до невменяемого состояния. И если Том пожелает раздвинуть ей ноги, она, черт возьми, будет не против. Я, может быть, и согласна умереть дряхлой целкой, но она не согласна. Так что мне надо сидеть и молчать, а говорить будет она. Она сама обо всем позаботится. Я начала возражать, и она обругала меня нехорошими словами. Потом попыталась ко мне подольститься. Почему все всегда должно быть по-моему? Почему ей нельзя хоть разок поразвлечься? Я уже собиралась сказать, что она мне противна, но нас прервал Том, вернувшийся с напитками. Ребекка одарила его лучезарной улыбкой и напомнила мне, что Том даже не подозревает о моем существовании.

Он снял пальто, небрежно бросил его на банкетку и уселся напротив меня. Он так и остался в своей глупой кепке.

— Тут уютно, — заметил он.

— Да, уютно, — сказала Ребекка. — Только не вздумай распускать руки. В кабинке не опасен суд молвы, но там не обнимаются, увы! [25] — игриво

---

[25] Примечания: 25

Чуть переиначенные строчки из стихотворения Эндрю Марвелла «К стыдливой возлюбленной»: «В могиле не опасен суд молвы, Но там не обнимаются, увы!» (Перевод Г. Кружкова).

добавила она.

Она хорошо понимала, что запрет распускать руки лишь заронит эту мысль в голову бедняги Тома. И предельно ясно даст ему знать, что подобные мысли приходили в голову и ей самой. Том поднял руки, словно сдаваясь, и поклялся, что они все время будут на виду.

— Если кто-то из нас двоих и соберется распустить руки, это буду не я, — сказал он со смешком. Потом поднял свой бокал, и мы чокнулись через стол.

Ребекка пустилась в пространный монолог о том, какой ужасный у нее был день. В театре Шафтсбери не хватает хористок. Джон Осборн недоволен актерским составом для своей новой пьесы. Мистер Браунли бросил корабль в обеденный перерыв и напился на пару с этим старым развратником Теренсом Реттигеном. Я слушала этот бред, не в силах вмешаться. Но Том жадно впитывал каждое слово.

— Как интересно, — заметил он.

— Да что тут интересного? — отмахнулась Ребекка. — Мужчины, они как дети. Я себя чувствую нянечкой в детском саду. Неудивительно, что я посещаю психотерапевта.

Тому, похоже, и вправду было интересно. Ребек-

ка лихо отпила половину своего джина с тоником и зашлась в приступе кашля.

— Давай урежемся до беспамятства! — предложил Том, старательно изображая аристократический акцент.

— Давай! — согласилась Ребекка. Она была неисправима. Том залпом допил пиво и пошел за добавкой.

Я ничего не сказала. Ребекка, надо отдать ей должное, умела развлекаться. Возможно, она и права. Почему бы и не отдать ей главенство на сегодняшний вечер? Может быть, Том и есть то мороженое, которое надо отведать? Я закурила. На столике стояла пепельница с рекламой виски «Джонни Уокер». Почти чистая, не считая окурков двух сигарет, которые выкурила Ребекка. На рекламной картинке был изображен шагающий джентльмен в цилиндре, черных высоких сапогах, белых бриджах для верховой езды и красном фраке. В одной руке он держал трость, в другой — лорнет на длинной ручке. Я представила себя в таком же наряде. Или, скорее, не себя, а Ребекку: как она неспешно идет по Чаринг-Кросс-роуд и машет тростью, отгоняя назойливых беспризорных мальчишек.

Паб наполнялся народом, со всех сторон слы-

шался гул разговоров. Том взял себе пинту пива и порцию виски, а мне — еще один джин с тоником. На этот раз он сел рядом со мной. Меня встревожила эта явная эскалация боевых действий, но Ребекка ни капельки не смутилась.

— Нам надо как-нибудь вместе сходить в кино, — сказал Том. — В «Рокси» сейчас идет новый фильм Годара. Тебе нравится *nouvelle vague*? [26] — спросил он. — Мне уже как-то поднадоел наш британский кухонный реализм.

Я понятия не имела, о чем идет речь, но Ребекка ответила очень находчиво:

– *J'adore Paris* [27].

Она даже произнесла эту фразу с французским акцентом.

— Я никогда не был в Париже, — сказал Том. — Но хочу побывать.

– *C'est magnifique. Très romantique* [28], — отозвалась она, почти исчерпав все запасы моего школьного французского.

Том серьезно кивнул.

---

[26] Примечания: 26
Новая волна (*фр.*).

[27] Примечания: 27
Я люблю Париж (*фр.*).

[28] Примечания: 28
Он прекрасный. Очень романтичный (*фр.*).

— Обязательно съезди, — сказала она. — Там такие красивые девушки!

Том пожал плечами, словно его совершенно не интересуют красивые девушки.

— Я бы поехал с тобой, — сказал он. — Тем более что я даже не говорю по-французски. Тебе придется водить меня за ручку.

— Я только и делаю, что вожу всех за ручку, — улыбнулась Ребекка. — И французы, конечно, заметно нас опережают. В смысле секса, вот я о чем.

Том надул щеки и медленно выдохнул. Провел ладонью по лбу. Отхлебнул пива и запил его виски. Ребекка отпила джин-тоник. Мы с ней полюбили этот незамысловатый коктейль. Вот что нас объединяет. Нам обеим нравится вкус джина. Джин нас сближает. После двух бокалов я перестала на нее сердиться. Я находила ее забавной и восхищалась ее язвительными остроумными замечаниями. Не надо быть гением, чтобы понять, что моя к ней неприязнь происходит от зависти. Сказать по правде, мне хотелось быть ею. И она тоже стала ко мне терпеливее. Может быть, потому, что я сидела тихо и не вмешивалась в разговор. Ребекка любит, когда ее слушаются. И она любит блистать. В этом смысле мы с ней

очень разные. Так часто бывает с подругами. Два экстраверта недолго продержатся вместе, а двум интровертам просто не хватит ресурсов, чтобы подружиться по-настоящему. Я отпила еще джина. Я не забыла, как меня вывернуло в прошлый раз, но теперь я, похоже, уже начала привыкать к алкоголю. Во всяком случае, я пока не ощущала никаких негативных воздействий.

Том рассуждал о разных французских фильмах. Я не видела ни одного, но Ребекка авторитетно высказывалась о каждом из них. Да, она тоже любит Трюффо, но Шаброль, как ей кажется, скучноват. Теперь нога Тома прижималась к ее бедру, но она не пыталась от него отодвинуться. Она потребовала третий джин-тоник. Пока Том ходил к барной стойке, Ребекка освежила помаду, глядя на себя в зеркальце в пудренице. В качестве завершающего штриха она провела языком по губам, чтобы они влажно блестели.

Том вернулся с напитками и наконец снял свою кепку. Волосы у него на макушке так и остались примятыми. Он сделал шумный глубокий вдох и посмотрел на меня, пытаясь вспомнить, о чем мы только что говорили. Молчание затянулось. А затем Ребекка сделала нечто немыслимое. Подняла правую руку и зарылась пальцами в густые

волосы Тома. Я попросила ее прекратить, но она запустила пальцы еще глубже, до самой кожи.

— У тебя шикарные волосы, — сказала она.

— Не моя заслуга, — ответил он. — Они мне достались от дедушки, португальского моряка. Это португальские волосы.

Ребекка убрала руку. Ее пальцы стали слегка маслянистыми. Том посмотрел на нее. Он действительно был невероятно красив. Ребекка надула губы и скромно опустила глаза. Прошло две-три секунды. Том тихонько присвистнул и отпил пива. Удивительно, как в него столько влезает. Пиво — очень мужской напиток. В нем все мужское: тяжелая кружка с ручкой под крупную руку, грязноватая пена, мутно-коричневый цвет, горький вкус. Я сама никогда бы не стала пить пиво, тем более из большой кружки. Но мне нравилось наблюдать, как пьет Том. Жадно, со смаком. Как дикий зверь на водопое.

Рискну предположить, что в эти мгновения между Ребеккой и Томом что-то произошло. Они оба думали об одном. Но Ребекка, хотя была той еще Иезавелью, все же придерживалась неких принципов, а Тому — бедному тугодумному красавчику Тому — не хватило смелости перейти к действиям. Теперь момент был упущен, и его

бездействие создало между ними барьер. Ребекка была разочарована в нем. Он сам был разочарован в себе. Глупый, ничего не значащий разговор, который, как они оба знали, был всего лишь прелюдией к этому решающему мгновению, теперь уже выдохся. Радостное, приподнятое настроение сошло на нет. Неуютное молчание затянулось. Они были словно актеры, внезапно забывшие слова. Зрители в зале беспокойно заерзали на местах. Том посмотрел на Ребекку и издал тихий смешок. Ребекка натянуто улыбнулась и отпила джина.

— Ну, в общем, вот, — произнес Том в жалкой попытке разбавить сгустившуюся тишину.

— Да, — сказала Ребекка. — В общем, вот.

И хотя она лишь повторила его слова, в ее исполнении они наполнились новым смыслом. Она говорила так тихо, что Тому пришлось наклониться еще ближе к ней, чтобы расслышать. Его ухо оказалось буквально в двух дюймах от ее губ. Она произнесла каждое слово так, словно оно заключало в себе великую ценность. Было сразу понятно, чего она добивалась, но, если бы ее обвинили в кокетстве, в письменном протоколе с места происшествия были бы зафиксированы только четыре коротких, совершенно невин-

ных слова. Теперь Тому оставалось лишь чуть повернуть голову, чтобы его губы оказались в непосредственной близости к ее губам. Ребекка прикоснулась к верхней губе кончиком указательного пальца, и, прежде чем я успела принять превентивные меры, эти двое уже целовались. От Тома пахло пивом, но само прикосновение его губ было до неприличия приятным. У меня между ног пробежала сладкая дрожь. Потом его язык проскользнул в рот Ребекки и коснулся кончика ее языка. Они напомнили мне двух собак, которые тычутся друг в друга носами. Том положил руку на колено Ребекки. Его пальцы проникли под подол ее юбки и коснулись бедра. На секунду я превратилась в Констанцию Чаттерли. Я хотела всего и сразу. Хотела униженно распластаться под тяжестью его жаркого тела. Его большая крепкая рука обхватила меня за плечи. Он притянул меня ближе к себе. Я уперлась рукой в его грудь и оттолкнула его от себя. Мое дыхание стало хриплым и сбивчивым.

Он посмотрел на Ребекку в ожидании дальнейших поощрений.

— Я хочу, чтобы ты целовал *меня*, — сказала я.

Его взгляд заметался из стороны в сторону.

— Так я тебя и целую.

— Не Ребекку. *Меня*.

Моя рука по-прежнему упиралась ему в грудь. Я чувствовала, как она вздымается и опускается, словно морская волна. Он озадаченно хмурился. Ребекка мысленно выругалась.

Я назвала ему свое имя. Он недоуменно его повторил.

— Нет никакой Ребекки, — сказала я. — Есть только я.

Том растерянно заморгал и убрал руку с моих плеч так поспешно, словно я была заразной.

— Я придумала Ребекку специально для встреч с доктором Бретуэйтом, — пояснила я. — Ее не существует. Это просто вымышленный персонаж. Я не сумасшедшая. Ребекка — да, а я — нет. Я абсолютно нормальная.

Том смотрел на меня так, словно я была *очень* далека от нормы.

— Но, Ребекка, — пробормотал он. — Я никогда и не думал, что ты сумасшедшая. Не настоящая сумасшедшая. Но даже если бы и настоящая, я бы не возражал. Я люблю сумасшедших.

— Я не Ребекка и не сумасшедшая, — твердо произнесла я.

Я потянулась к нему, чтобы поцеловать, но он меня оттолкнул. Униженная и оскорбленная, я

схватила свой недопитый бокал с джин-тоником и выплеснула его содержимое в лицо Тома. Даже не глядя по сторонам, я знала, что посетители паба наблюдают за этой маленькой драмой через вход в кабинку. Гул разговоров затих. Том ошарашенно замер. Потом высунул язык и слизнул джин с верхней губы.

Ребекка внятно обозвала меня мелкой безмозглой дубиной. Я все испортила. Я принялась лихорадочно рыться в сумке, но, кроме своих замшевых перчаток, не нашла ничего, чем можно вытереть лицо Тома.

— Не слушай ее, — сказала я, промокая перчаткой его мокрую щеку. — Это была просто глупая шутка. Никакой Ребекки не существует.

Том оттолкнул мою руку.

— Очень смешно, — сказал он.

Я огляделась по сторонам. Теперь вход в кабинку напоминал раму с картиной Брейгеля. Какой-то узколицый мужчина в круглых очках старательно объяснял опоздавшим, что сейчас произошло. Еще один очевидец предлагал свою версию событий, и они с узколицым затеяли шумный спор. Над стеклянной перегородкой показалось встревоженное лицо бармена. Он спросил, что случилось.

— Ничего, Гарри, — сказал ему Том.

— Как-то оно не похоже на «ничего», — возразил бармен и спросил у Ребекки, все ли в порядке.

— Да, все хорошо, — сказала я.

Но все было плохо. Том поднялся и надел пальто со всем возможным достоинством, на которое был способен. Толпа расступилась, готовясь пропустить его к выходу. Он извинился, если вдруг чем-то меня обидел. Я была весьма тронута. Потом он сразу ушел.

Ребекка окликнула его умоляющим голосом, но он даже не обернулся.

Я уже пожалела, что выплеснула весь джин Тому в лицо. Мне отчаянно требовался алкоголь. Тут я заметила, что Том не притронулся к своей второй порции виски. Не задумываясь о том, наблюдают за мной или нет, я схватила бокал и осушила его залпом. Крепкий напиток обжег мне горло, и я сильно закашлялась, но ощутила какое-то странное облегчение. Я закурила, старательно делая вид, что меня ни капельки не взволновала произошедшая сцена. Казалось, фигура на донце пепельницы глядит на меня осуждающе. Я затушила окурок прямо на лице негодующего джентльмена. Когда я выходила из паба, завсегдатаи шептались, подталкивая друг

друга локтями. В такси по дороге домой Ребекка ругала меня последними словами и не слушала моих извинений. Замшевые перчатки из «Хитона» были безнадежно испорчены. Это была моя любимая пара.

Бретуэйт IV: Переполох на Эйнджер-роуд

17 августа 1968 года, в шестом часу вечера, на Эйнджер-роуд прибыл наряд полиции в связи с жалобой на беспорядки. Соседи слышали громкие возмущенные голоса, звуки ударов и женские крики. В официальном отчете о происшествии говорится, что на вызов приехали констебли Чарли Кокс и Роберт Пендл. Крики и звуки борьбы не затихли даже тогда, когда молодая женщина по имени Анджела Карвер впустила в дом полицейских. Мисс Карвер осталась в прихожей, а полицейские прошли в гостиную на первом этаже. Хотя день был солнечным, все шторы были задернуты. В гостиной шла драка между хозяином дома Бретуэйтом и его гостем, Ричардом Аароном. Когда вошли полицейские, двое дерущихся держали друг друга за шею, но отвлеклись на шум у двери, потеряли равновесие и рухнули на журнальный столик, повалив на пол напитки и пепельницу. Они упали, сцепившись, и продолжали бороться уже на полу. Аарон, оказавшийся сверху, пытался бить Бретуэйта кулаком по го-

лове. Полицейские оттащили Аарона и увели в кухню в глубине дома. Бретуэйт поднялся на ноги. Его рубашка была разорвана на груди, из разбитой губы лилась кровь. Он был босиком, в закатанных до середины икры вельветовых брюках горчичного цвета. Вторая девушка, Рейчел Симмонс, сидела сгорбившись на диване и безучастно наблюдала за происходящим. Как отмечено в полицейском отчете, одной из девушек было девятнадцать лет, второй — двадцать один год. Рейчел Симмонс «была полураздета» и находилась «в состоянии опьянения». В комнате сильно пахло марихуаной.

Ричард Аарон пребывал в боевом настроении, нецензурно ругался и швырялся посудой. Констеблю Пендлу пришлось вывести его в крошечный садик на заднем дворе, чтобы он успокоился. Чарли Кокс вернулся в гостиную. Бретуэйт, которого как будто и не беспокоили полученные в драке травмы, заявил, что справился бы с Аароном и без помощи доблестных служителей закона. Кокс спросил, что тут произошло. Бретуэйт ответил, что они с Аароном затеяли дружеский борцовский поединок. Кокс возразил, что со стороны их поединок не казался особенно дружеским, и, если Бретуэйт не смо-

жет дать удовлетворительного объяснения, ему придется его арестовать. Бретуэйт рассмеялся и сказал, что ему надо развлекать гостей. Рейчел Симмонс, чья голова безвольно клонилась набок, явно не жаждала развлечений. Анджела Карвер, стоявшая у двери, спросила, можно ли ей уйти. Кокс сказал, что нельзя. Ее будут опрашивать как свидетельницу. Потом он спросил у Анджелы, употреблялись ли тут запрещенные наркотические вещества. Бретуэйт попросил констебля не вмешивать девушку в это дело и добавил, что если полиция ищет наркотики, то так бы сразу и говорили. Если бы он вел себя не так нагло, все можно было бы уладить на месте, но в итоге всех четверых забрали в полицейский участок на Холмс-роуд в Кентиш-Тауне.

Тридцативосьмилетний Ричард Аарон был известным актером, не так давно получившим хвалебные отзывы критиков за роль в пьесе Гарольда Пинтера «День рождения», поставленной в театре «Олд Вик». До этого он сыграл в «Отвращении» Романа Полански и в «Досье «Ипкресс» вместе с Майклом Кейном. На допросе в полицейском участке он заявил, что Бретуэйт изнасиловал его жену, актрису Джейн Грессингем. Узнав об этом, он, разумеется, пришел в ярость

и помчался к Бретуэйту, чтобы «избить мерзавца до полусмерти». Теперь он признал, что это было неправильное решение, и ему следовало бы обратиться в полицию. Тем не менее после подобного заявления обычная драка на бытовой почве обрела новый, зловещий смысл.

В 1963 году Джейн Грессингем была «модной девушкой» в лондонских богемных кругах. Она начинала как фотомодель, но позже снялась в эпизодах «Летних каникул» и «Из России с любовью». Как актриса Грессингем была никакая. Впрочем, ее мелкие роли не требовали гениальных актерских умений. Ей надо было лишь принимать элегантно-загадочные позы. Когда ей приходилось произнести пару строк диалога, результат получался, мягко скажем, деревянным, но ее угловатые черты этакой девочки-сорванца и тяжелые припухшие веки вполне соответствовали духу времени, и ее лицо украшало обложки журналов «Вог» и «Харперс базар». Она познакомилась с Ричардом Аароном на съемках давно позабытого комедийного мюзикла «Ах эти лондонские девчонки!» весной 1964 года, и уже через несколько месяцев после знакомства они поженились. Безусловно, их пара была самой модной в Лондоне в тот период, когда Лондон

становился самым модным городом на Земле. Грессингем прекрасно осознавала, что ей не хватает актерского мастерства, и записалась на курсы при Королевской академии, но ее карьера окончилась пшиком. Бесконечные вечеринки и громкие лондонские премьеры вскружили ей голову. Алкоголь и наркотики сделали свое черное дело. Последней каплей стал случай, когда ее со скандалом уволили со съемок «Фотоувеличения» за то, что она «постоянно является на работу или пьяной, или обкуренной, или и то и другое вместе». Ричард Аарон рвал и метал, поскольку именно он убедил Микеланджело Антониони дать ей роль в этом престижном проекте.

По-настоящему Джейн Грессингем звали Сюзанной Кеплер. Она была дочерью немецко-еврейского эмигранта Альфреда Кеплера, художника по декорациям, бежавшего от нацистского режима в 1938 году, и костюмерши Дорис Вон. Мать Альфреда и его две сестры погибли в Освенциме в 1944 году. Сам Альфред утонул в Темзе в 1948-м. Подлинная причина его смерти так и осталась невыясненной, но представляется вполне вероятным, что он покончил с собой. Грессингем тогда было девять лет.

Выслушав заявление Аарона, констебль Пендл

передал дело инспектору уголовной полиции Гарольду Скиннеру, который возглавил расследование. Бретуэйту сообщили, что у него есть право вызвать адвоката, но он отказался. Следствию требовалось свидетельство Грессингем, и за ней отправили служебную машину. В те времена полицейские не гнушались заработать несколько лишних фунтов, сообщая журналистам о готовящихся сенсациях, и когда стало известно, что Ричарда Аарона и Коллинза Бретуэйта доставили в полицейский участок в Кентиш-Тауне, к означенному участку тут же примчалась толпа газетчиков. Сейчас трудно поверить, но Грессингем подвезли к главному входу и провели внутрь через парадную дверь. На следующий день почти во всех лондонских газетах появились крупноплановые фотографии Джейн Грессингем, пытающейся прикрыть рукой синяк под левым глазом, вкупе со снимками Аарона и Бретуэйта на врезках поменьше. «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК РАСПАЛСЯ», — сообщала передовица «Дейли экспресс». «О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ!» — сокрушалась «Дейли мейл». В каждой сопроводительной статье упоминалось о «потасовке» в квартире Бретуэйта, но в остальном публикации состояли из слухов и домыслов. Только в «Лондон стэндарт»

промелькнуло упоминание о «предполагаемом изнасиловании».

Джейн Грессингем, которая даже не знала о том, что приключилось на Эйнджер-роуд, сопроводили в приемную, предложили ей чашку чая и провели в кабинет для беседы с инспектором Скиннером. Он попросил рассказать, что произошло у них с мужем сегодня. Поначалу Грессингем отвечала уклончиво. Похоже, она находилась под воздействием седативов или каких-то других наркотических препаратов. Инспектор Скиннер заверил ее, что никто не собирается ее арестовывать или предъявлять ей какие-то обвинения. Он спросил, откуда у нее синяк под глазом. Она ответила, что не помнит. Скиннер выразил удивление: синяк был явно болезненным и появился недавно. Он спросил, уж не супруг ли нанес ей побои. Она сказала, что да, но это была не его вина. Скиннер стал давить дальше, и Грессингем призналась, что они с мужем крупно поссорились из-за ее отношений с Коллинзом Бретуэйтом. Скиннер долго ходил вокруг да около, а потом все-таки сообщил Грессингем о заявлении Аарона. В ответ на вопрос, есть ли в этом хоть доля правды, Грессингем неохотно призналась, что она действительно так говорила. По ее версии

событий, когда муж вернулся домой, она была сильно пьяна. Они поругались, и Аарон заявил, что ее визиты к Бретуэйту два раза в неделю не дают никаких положительных результатов. Грессингем ответила, что ходить к Бретуэйту гораздо приятнее, чем жить с таким мужем, как Аарон, и что Бретуэйт — настоящий мужчина, в отличие от некоторых. Она призналась, что спала с Бретуэйтом, и вот тогда Аарон ее и ударил. Она упала на пол, испугалась, что он ударит ее еще раз, и сказала, что спала с Бретуэйтом не по собственной воле. «Он тебя изнасиловал?» — проревел Аарон. Грессингем кивнула, и Аарон в ярости выскочил из дома. Скиннер спросил, точно ли она вступила в интимную связь с Бретуэйтом по взаимному согласию, и Грессингем подтвердила, что да.

Бретуэйту были предъявлены новые обвинения, и он охотно признал, что неоднократно вступал в половую связь с Грессингем, но отрицал, что в их отношениях имело место какое бы то ни было принуждение. Всех задержанных отпустили около одиннадцати вечера. Аарону не предъявили никаких обвинений за избиение Грессингем.

Несмотря на отсутствие обвинений, ущерб репутации все-таки был нанесен. Пресса никогда

не любила Бретуэйта и теперь жаждала крови. В течение нескольких дней газетчики буквально осаждали дом на Эйнджер-роуд. Самому Бретуэйту они вроде бы и не мешали. Он приходил и уходил, когда ему вздумается, и даже не раз останавливался у входа поболтать с репортерами. В «Я сам и прочие незнакомцы» он писал: «Я не сделал ничего плохого. С чего бы мне было прятаться?»

Однако клиенты перестали ходить к нему на консультации. Может быть, именно из-за газетчиков: людям, посещающим психиатра, обычно не нравится, когда их фотографируют на подступах к кабинету психотерапии. Может быть, по каким-то другим причинам. Как бы там ни было, Бретуэйт не особо тревожился, полагая, что это лишь временное затишье, и тратил внезапно возникшее свободное время в «Колони Рум» и других питейных заведениях Сохо. Кажется, он наслаждался своей печальной известностью.

Подобное отношение, разумеется, не одобрялось ни прессой, ни полицией. На следующей неделе в «Новостях со всего света» появилась большая статья с пикантными рассказами бывших клиентов «шарлатана из Примроуз-Хилл». По словам этих клиентов, Бретуэйт сидел за столом в одном исподнем; лежал на полу, напевая

какой-то мотивчик, пока клиент излагал ему свою проблему; курил с клиентами марихуану; трогал себя в паху; задавал малопристойные, неуместные вопросы с сексуальным подтекстом. Одна из клиенток (в ответ на вопрос, почему она терпела подобное поведение) призналась, что она никогда прежде не общалась с психиатром и думала, что так и должно быть. 24 августа в «Дейли экспресс» Коллинза Бретуэйта, автора «Убей себя [sic] в себе», назвали «пропагандистом самоубийства». Газета опубликовала подробное интервью с молодой женщиной, утверждавшей, что, когда она рассказала Бретуэйту о своих суицидальных мыслях, он в ответ грубо поинтересовался, что ей мешает покончить с собой, а под конец заявил, что если она все-таки соберется наложить на себя руки, то пусть не забудет оплатить счет за уже состоявшуюся консультацию.

Британская медицинская ассоциация призывала исключить Бретуэйта из своих рядов, что было затруднительно, поскольку он никогда не имел медицинской квалификации и не состоял ни в каких ассоциациях. В те времена любой мог повесить на дверь табличку, объявив себя психотерапевтом. «Я никогда не пытался изображать из себя какого-то гуру, — писал Бретуэйт в «Я сам

и прочие незнакомцы». — Если люди настолько глупы, что приходят ко мне за советом, кто я такой, чтобы им отказать?» Как почти все, что Бретуэйт писал о себе, эти слова соотносятся с правдой только отчасти и служат исключительно для самооправдания. Он действительно никогда не называл себя психотерапевтом и не заявлял о наличии медицинских дипломов, однако не поправлял тех, кто считал его дипломированным психиатром. И хотя он утверждал, что просто откликнулся на запросы страждущих, тем не менее он специально открыл кабинет на Эйнджер-роуд, чтобы расширить свой терапевтический бизнес.

Со свойственным ему высокомерием Бретуэйт предположил, что все уляжется уже через несколько дней. Он ошибся. Хотя ему не предъявили никаких обвинений, слово «изнасилование» все же мелькнуло в печати и стало своего рода клеймом. Если раньше считалось престижным посещать консультации «самого опасного человека Британии», то теперь его популярность стремительно падала.

Дальше все стало еще хуже. Эндрю Тревельян, отец Элис, бывшей подруги Бретуэйта в Оксфорде, с большим интересом читал публикации в прессе. К тому времени Тревельян получил звание

королевского адвоката и работал в Королевской государственной прокуратуре по уголовным делам. Он позвонил инспектору Скиннеру и запросил материалы по делу Бретуэйта. Скиннер ответил, что дело не возбуждалось, поскольку не было предъявлено никаких обвинений. Тем не менее Тревельян настоял, чтобы ему все-таки показали протоколы допросов, и в тот же вечер приехал в полицейский участок на Холмс-роуд. Скиннер принял его с прохладцей. Он сам был мальчишкой из Ист-Энда, который пришел к своему нынешнему положению из самых низов и недолюбливал титулованных «крупных шишек», особенно если они собирались вмешаться в его епархию и предположительно не одобряли его решение не возбуждать уголовное дело. Тревельян ознакомился с показаниями всех пятерых свидетелей, сделал какие-то выписки и заявил, что ему надо поговорить с Коксом и Пендлом. Позже он посетил Анджелу Карвер и Рейчел Симмонс по адресам, указанным в протоколах допросов. Симмонс, студентка художественного факультета, жила на съемной квартире в Камдене вместе с тремя сокурсницами. Она познакомилась с Бретуэйтом в баре, и он пригласил ее в гости. Сказал, что можно прийти с подругой.

Они слушали музыкальные записи, курили марихуану, и Рейчел переспала с Бретуэйтом. С ее точки зрения, это было «в порядке вещей». Она говорила, что Коллинз — крутой мужик и у него всегда есть трава. До происшествия 17 августа она была незнакома с Анджелой Карвер и с тех пор ее больше не видела.

Анджела Карвер была дочерью одного из клиентов Бретуэйта, Мервина Карвера, ресторатора и владельца ночного клуба. Она познакомилась с Бретуэйтом на вечеринке в доме родителей на Сент-Энн-террас в Сент-Джонс-Вуде. Тревельян приехал по этому адресу, и дверь открыла жена Карвера, Беатрис. Тревельян вручил ей свою визитную карточку и сказал, что ему надо поговорить с ее дочерью. Анджела вышла в гостиную, и Тревельяну пришлось постараться (применить все свое знаменитое красноречие), чтобы уговорить миссис Карвер позволить ему побеседовать с ее дочерью наедине, в кабинете мистера Карвера. Тревельян объяснил девушке, что ее никто ни в чем не обвиняет. Ему просто нужно задать ей несколько вопросов о происшествии на Эйнджер-роуд. Анджела, чье имя не фигурировало в газетах, заметно нервничала и все время поглядывала на дверь кабинета. Родители убьют ее,

если узнают, что она была у Бретуэйта. Тревельян заверил ее (и обманул, как потом оказалось), что их разговор будет строго конфиденциальным.

Анджеле было не девятнадцать, как она сообщила полиции, а всего лишь семнадцать. Она познакомилась с Бретуэйтом на вечеринке по случаю папиного дня рождения. С ним было легко и приятно общаться, он интересовался ее учебой и расспрашивал, чем она думает заниматься по окончании школы. Бретуэйт угадал ее знак зодиака (Весы), они говорили об астрологии и свободе воли. Никто из взрослых никогда не разговаривал с ней так серьезно, и ей польстило его внимание. Через пару дней ей позвонила секретарша Бретуэйта и пригласила ее на дружескую вечеринку у него дома. Анджела приняла приглашение, ничего не сказав родителям. В ту субботу, в два часа дня, она приехала на Эйнджер-роуд и с удивлением обнаружила, что кроме нее там была только одна гостья, девушка чуть постарше по имени Рейчел. Бретуэйт уверил Анджелу, что остальные гости вот-вот придут. Он предложил ей бокал вина, и она не стала отказываться. Сам Бретуэйт курил папиросу с марихуаной, но Анджеле не предложил. Время шло, другие гости так и не появились, и ей стало тревожно. Бретуэйт включил

музыку и принялся танцевать (он был в рубашке, расстегнутой до пупа). Он то и дело сворачивал папиросы или бегал на кухню за добавкой вина. Анджела выпила два или три бокала и пошла танцевать с Бретуэйтом. Рейчел уговаривала ее выкурить косячок, но Бретуэйт сказал, что не надо. Анджела — еще ребенок. Тревельян спросил, не пытался ли Бретуэйт ее домогаться. Анджела сказала, что нет. Но он целовался с Рейчел на диване и пришел в возбуждение. Она сама отошла в уголок и рассматривала книжные полки. Она была почти рада, когда в дом ворвался Ричард Аарон.

Тревельян сообщил Скиннеру, что выпишет ордер на обыск у Бретуэйта, поскольку есть подозрение, что он хранит дома наркотики. Хотя Бретуэйт не произвел благоприятного впечатления на Скиннера, тот считал, что задерживать битников за курение травки — уж точно не дело уголовной полиции, но у него не было выбора, и пришлось подчиниться. Через два дня Скиннер в сопровождении Кокса и Пендла явился с обыском на Эйнджер-роуд. Было изъято большое количество марихуаны, и Бретуэйта арестовали по обвинению в хранении с целью сбыта. Однако сбыт доказать не удалось, и обвинение в итоге

свелось лишь к хранению. Сейчас за подобную провинность предусмотрена только административная ответственность, но в то время хранение легких наркотиков считалось уголовно наказуемым преступлением, так что риск угодить в тюрьму был очень даже реален. В том же году Кита Ричардса из «Rolling Stones» приговорили к двенадцати месяцам тюремного заключения за то, что он устроил у себя дома «притон» для курения марихуаны. Впоследствии приговор отменили по апелляции, но Бретуэйт, в отличие от Ричардса, вряд ли мог бы рассчитывать на общественное сочувствие в случае аналогичного приговора.

Суд проходил в здании Королевского суда Внутреннего Лондона на Ньюингтон-Козуэй. Галерея для публики была до отказа заполнена журналистами и любопытными гражданами. Вопреки совету своего адвоката, Бретуэйт настаивал на своей невиновности. Эндрю Тревельян лично возглавил судебное следствие. Анджела Карвер и Рейчел Симмонс выступили свидетельницами. Бретуэйт не отрицал, что наркотики принадлежали ему, но заявил, что не признает юрисдикции государства в вопросах о том, какие именно вещества человек вводит в свой

организм. Подобная линия защиты могла найти одобрение среди представителей контркультуры, но не произвела впечатления на мировую судью Джун Эйткен. И была полностью безосновательной с точки зрения закона. Высокомерие Бретуэйта и его неуважительное отношение к суду (во время заключительной речи Тревельяна он снял ботинки и принялся ковыряться между пальцами ног) возмутили присяжных. Тревельян заявил, что этот судебный процесс имеет важное символическое значение. Есть люди, которые считают, что известность ставит их выше закона, так началась его речь. «Возможно, обвиняемый полагает, что закон бессмыслен сам по себе, — продолжал он, — но это не дает ему права над ним насмехаться». По данным газеты «Дейли экспресс», Тревельян «так распалился, обвиняя Бретуэйта во всех смертных грехах, что миссис Эйткен пришлось вмешаться и напомнить ему, что говорить надо строго по делу, исходя только из фактов». Подводя итоги, она предупредила присяжных, что суд рассматривает не личность подсудимого как таковую, а его противоправные действия; и что принять меры, предусмотренные законом, следует только на основании представленных доказательств. Присяжные совещались

пятнадцать минут и признали Бретуэйта виновным. Выслушав приговор, Бретуэйт насмешливо поаплодировал присяжным за «поддержку собственного репрессивного аппарата». Миссис Эйткен приговорила его к шестидесяти дням тюремного заключения и сама не сдержалась и вынесла ему порицание за неподобающее поведение во время судебного разбирательства.

В своей автобиографической книге «По обе стороны судейской скамьи» Тревельян пишет, что в пору студенчества у Бретуэйта был короткий роман с его дочерью, которая в результате «попала в больницу». Эта формулировка благоразумно скрывает правду о попытке самоубийства Элис и как бы подразумевает, что Бретуэйт совершил над ней физическое насилие. Судебное преследование, которое он возбудил в отношении Бретуэйта, выспренно пишет Тревельян, происходит не из желания отомстить, а из стремления защитить общество от «опасного шарлатана». Он много лет с нарастающим ужасом наблюдал за восхождением Бретуэйта, «потрясенный наивностью, с которой другие, казалось бы, умные люди принимали его вздорную ахинею за некое священное писание хиппи».

Ронни Лэйнг, который спустя десять лет сам

будет арестован и обвинен в незаконном хранении ЛСД, принял эту новость с восторгом и сказал своему другу Джону Даффи, что этого «одиозного прощелыгу» уже давно надо было изолировать от общества.

Бретуэйт отсидел сорок дней в тюрьме Уормвуд-Скрабс. Позже он писал, что общество заключенных оказалось «гораздо разумнее общества по ту сторону тюремной решетки [...] За шесть недель в тюрьме я узнал о человеческом поведении больше, чем за шесть лет среди оксфордских «джентльменов».

Выйдя из тюрьмы, Бретуэйт обнаружил, что его выселили из дома на Эйнджер-роуд. Его мебель, архив, одежду и книги упаковали в коробки и перевезли на склад в Актоне. Он временно поселился в Ноттинг-Хилле, в доме у Зельды Огилви и ее нового сожителя, писателя-драматурга Джо Картера, однако Зельда сразу же объявила, что не потерпит его у себя дольше нескольких дней. В итоге Бретуэйт задержался на месяц, причем все это время он пил и беззастенчиво курил траву. В конце концов Картер нашел ему небольшую квартирку в Финсбери-Парк и перевез его туда «чуть ли не силой».

Бретуэйт не пытался возобновить практику.

Он все еще получал авторские отчисления за две книги и рассказывал всем, кто был готов слушать, что устал выслушивать, как «привилегированные посредственности муссируют свои кризисы идентичности». Пришла пора взяться за третью книгу. Лэйнг в то время путешествовал по Америке и Европе и читал лекции в крупных университетах. Бретуэйт, который никогда не выезжал дальше Франции, жаждал действий. Когда он все-таки уломал Эдварда Сирса пригласить его на обед, тот не проникся его идеей. Сирс предложил Бретуэйту написать художественный роман. «Роман? — фыркнул Бретуэйт. — Кому нужны идиотские романы?» Когда Сирс отказался отправиться после обеда в ближайший бар, чтобы пьянствовать до позднего вечера, Бретуэйт заявил, что предложит свою книгу другому издательству. Сирс оплатил счет и пожелал Бретуэйту удачи.

Пятая тетрадь

Я уже две недели не хожу на работу. Недомогание, приключившееся со мной в самом начале этого непродуманного предприятия, никак не проходит. Я чувствую себя совершенно подавленной. Надо было держать свои мрачные мысли под семью замками. Какая глупая. Глупая. Глупая. Вчера я весь день пролежала в постели. Я совершенно не занимаюсь собой. Мои волосы спутались колтунами, мое бедное лицо уже несколько дней не видало ни капли косметики. Кожа стала сухой, как бумага. Я знаю, что даже короткая прогулка на свежем воздухе меня бы взбодрила, но у меня нет сил даже раздвинуть шторы, и я запретила миссис Ллевелин их открывать. Не хочу, чтобы что-то мне напоминало, что мир продолжает существовать за пределами моей комнаты.

На прошлой неделе мистер Браунли звонил мне три раза, но я не стала брать трубку. Миссис Ллевелин сказала ему, что мне нездоровится, но ее тон явно давал понять, как именно она относится к моей «болезни». Два дня назад я по-

лучила письмо от мистера Браунли, в котором он выражал всяческое сочувствие, но сокрушался, что ему не обойтись без меня. Если я не сообщу ему точную дату, когда вернусь на работу, он с сожалением будет вынужден искать мне замену. Это письмо разбивает мне сердце. Мистер Браунли мне симпатичен, и я точно знаю, что он привык на меня полагаться. Я с грустью думаю, что Великий Дандо будет скучать по моим аплодисментам, пока ползает по полу в поисках упавшей «волшебной» монетки. Ребекка подсказывает, что я зря трачу время на таких недотеп. Мистер Браунли — такой же театральный агент, как Великий Дандо — иллюзионист. Они такие же неудачники, как и все легковерные бездари, которые обращаются в агентство в поисках ангажемента. Она, конечно, права. Ребекка всегда права. Но все равно я скучаю. И по мистеру Браунли, и по Великому Дандо. Скучаю по поездкам на автобусе на работу. По прогулкам вдоль Чаринг-Кросс-роуд. По обеденным перерывам, когда можно рассматривать витрины и наблюдать через окна кофеен за битниками и красивыми девушками с густо подведенными тушью глазами. Мне не хватает притворства, что я тоже часть мира, хотя я всегда знала, что мир — отдельно,

а я — отдельно. Ребекка мне показала, что я все время жила как-то не так.

Позавчера меня все-таки уговорили спуститься на ужин. Я даже не сообразила, что надо одеться, и уселась за стол в несвежей ночной рубашке. Бедный папа не знал, куда деть глаза. Миссис Ллевелин принесла мой халат, и я надела его, вдруг застыдившись, что выскочила из спальни почти неодетой. Папа осторожно спросил, как я себя чувствую. Я видела, что он искренне переживает, и сказала, что мне уже лучше. Больше мы ни о чем не говорили, и ужин прошел в тишине. Я съела лишь несколько жалких кусочков, да и то только для виду. И каждым давилась.

После ужина миссис Ллевелин отвела меня в спальню и велела раздеться. У меня не было сил возражать. Она набрала для меня ванну и сама вымыла мне голову. Сидеть в теплой воде было приятно, и я совсем не стеснялась своей наготы. Потом я стояла на коврике и дрожала, как ребенок. Миссис Ллевелин ласково вытерла меня полотенцем и заставила надеть чистую ночную рубашку. Мы вернулись в мою комнату, она усадила меня перед трюмо и расчесала мне волосы. Я была благодарна ей за доброту и заботу, тем более что она воздержалась от комментари-

ев и назиданий. Она уложила меня в постель и пожелала спокойной ночи. Надо было сказать ей «спасибо», но я не смогла выдавить из себя ни единого слова.

И все это время Ребекка неустанно язвила в мой адрес. Я сто раз ей сказала, что и без нее знаю, что я — никчемное ничтожество, но ей, кажется, нравилось изобретать все более изощренные способы, чтобы донести до меня эту мысль. Но сильнее всего меня задевало ее обиженное возмущение. Я тяну ее вниз. Без меня она бы вовсю наслаждалась жизнью. Если бы не я, она уже давно завалилась бы в койку с красавчиком Томом (иногда она выражается очень грубо). Я извиняюсь и обещаю, что в следующий раз буду молчать. Она отвечает, что из-за моего идиотского выступления следующего раза уже не будет и что без меня ей было бы лучше. Я не возражаю. Мне самой без меня было бы лучше. Этот внутренний диалог продолжается постоянно, лишь с незначительными вариациями. Сон — мое единственное убежище от ее непрестанных нападок. Я ее ненавижу, и, хотя не говорю об этом прямо, она как будто читает мои мысли. «Ты думаешь, что ненавидишь меня, а на самом деле ты ненавидишь себя, глупая бесхребетная курица». Она

регулярно доводит меня до слез, что лишь дает ей дополнительный повод для насмешек. Кажется, остается единственный способ избавиться от нее — последовать ее совету и покончить с собой. Червь, поселившийся у меня в голове, питается этими мыслями. Как червяк, обосновавшийся в яблоке, он растет и жиреет.

Если что-то меня и спасает, так только моя всегдашняя лень. Мне не хватает силы воли, чтобы взяться за дело. Любое дело. Летаргия, однако, не может служить уважительной причиной для того, чтобы не покончить с собой. Продолжать свое существование лишь потому, что тебе слишком лень его завершить, — в этом нет ни романтики, ни благородства. Кажется, я оказалась в безвыходном положении: у меня нет ни сил, ни желания жить, но нет и необходимых ресурсов, чтобы покончить с жизнью. Даже в такой беспросветной апатии меня смешит эта ирония судьбы. Жизнь продолжается по умолчанию. Без насильственного вмешательства извне жизнь продолжается, как если бы она была неким объектом, существующим независимо от своего хранителя. Чтобы прервать жизнь, нужна немалая сила воли. Самоубийство (будем называть вещи своими именами) требует определенной решимости. Оно

требует тщательного планирования. У меня нет этих качеств. Самоубийство — не для слабаков, а я всегда была слабой. Вот еще одно отличие между мной и Вероникой. Вероника была способна выбрать курс действий и следовать ему до конца. Жалко, что я не такая.

В понедельник или, может, во вторник я заставила себя встать с постели. Мне потребовалось столько усилий, чтобы просто умыться и одеться, что я искренне поразилась, как же я раньше совершала все эти подвиги даже не задумываясь. Гораздо проще дождаться, когда вода стечет из ванны и сама испарится с кожи, чем взять полотенце и заставить себя вытираться. Я сидела перед зеркалом, пуховка для пудры в моей руке была тяжелой, как камень.

Папа обрадовался, когда я вышла к завтраку.

— Как хорошо! Тебе уже лучше! — воскликнул он.

— Да, папа. Гораздо лучше.

Папа заметил, что мистер Браунли будет рад моему возвращению на работу. Они с миссис Ллевелин за меня беспокоились.

Я улыбнулась бледной улыбкой, которая, я уверена, его не обманула. Я знаю, что папа и сам пребывает в печали. Он старается этого не

показывать, но я замечаю, как он временами мрачнеет лицом, каким усталым и грустным иной раз становится его взгляд. Я намазала тост маслом и джемом и потихонечку убрала его в сумку, когда папа отвлекся на утреннюю газету.

Разумеется, я вовсе не собиралась идти на работу. Но для видимости побрела в сторону автобусной остановки на Элджин-авеню. Уже на подступах к остановке все мои силы иссякли. Я завернула в «Лион» и села за столик, ближайший ко входу. Когда подошла официантка, я вздрогнула, словно меня разбудили от глубокого сна. Это была худенькая девчонка не старше восемнадцати лет, с каштановыми волосами, заколотыми невидимками, чтобы не лезли в глаза. Она говорила с ирландским акцентом. Интересно, подумалось мне, как далеко простираются ее амбиции. Точно ли обслуживание столиков в «Лионе» — это предел ее мечтаний, или, подобно тем провинциальным девицам, что осаждают агентство мистера Браунли, она согласилась бы покрасоваться перед скучающими мужчинами в клубах Сохо? Она была вполне симпатичной, но недостаточно фигуристой. Скорее всего, она найдет себе великодушного парня, которого не отпугнет ее плоская грудь, выйдет за него замуж

и променяет свои честолюбивые устремления на пожизненную домашнюю рутину. Она спросила, что я буду заказывать, и я так долго не отвечала, что у нее на лице появилось встревоженное выражение. Она широко распахнула глаза и чуть вытянула вперед шею. Может быть, она решила, что я иностранка и не говорю по-английски. Вспомнив, что надо делать в подобных случаях, я слегка тряхнула головой, словно разгоняя мечтательность, и заказала чайник чая. Только теперь я заметила, что сижу у окна, выставляя себя на всеобщее обозрение. Можно было не опасаться, что мимо пройдет папа (он сейчас редко выходит из дома), но миссис Ллевелин могла бы заметить меня по пути в магазин, и тогда моя хитрость была бы раскрыта. Но теперь уже поздно перебираться за столик в глубине зала. Официантка наверняка удивится, что я пересела, и мне придется выдумывать какое-то объяснение. А если я ничего не скажу, она посчитает меня высокомерной «принцессой», которая полагает необязательным удостоить скромную официантку вежливым объяснением.

В такой ранний час почти все столики пустовали. Не было слышно привычного звона столовых приборов и звяканья фарфоровой посуды. Офи-

циантки скучали в ожидании посетителей. Одна рассеянно теребила верхнюю пуговицу на блузке. Другая поглядывала на себя в зеркало над прилавком и украдкой поправляла прическу. Под ножку соседнего столика была подложена картонка, чтобы он не шатался. То ли сама ножка была короче, чем нужно, то ли пол был неровным. Я положила ладони на края своего столика и попробовала его покачать. Он стоял крепко. Столики были стандартными, как во всех заведениях «Лиона». Значит, все дело в неровности пола. Которая, кстати, отнюдь не давала повода опасаться, что зданию грозит неминуемое обрушение. Но я почему-то представила, как это будет. Все начинается с легких толчков, в посудных шкафах дрожат чашки и блюдца. Официантки испуганно переглядываются. Посетители отрываются от своих сдобных булочек. По потолку разбегаются трещины. На пол падают куски штукатурки. Один — прямо на голову какой-то женщине, и она валится лицом на стол. Толчки становятся все сильнее. Разбиваются оконные стекла, рушится весь потолок. Официантки кричат и бегут к выходу. Здание оседает. Я теряю сознание, и меня погребает под обломками каменной кладки. На следующий день во всех крупных газетах появля-

ются снимки последствий. Из-под завалов торчит женская нога. Папа видит этот снимок, но у него нет причин подозревать, что погибшая женщина — его дочь, поскольку я в это время должна была быть на работе.

Официантка, даже не подозревавшая о нависшей над ней катастрофе, принесла мне заказанный чайник чая и чашку на блюдце. Она заметила, что сегодня прекрасная погода.

— Да, — ответила я. — Прекрасная не по сезону.

Однако последнее слово как будто застряло между нёбом и языком и заглохло на последнем слоге. Девушка улыбнулась дежурной улыбкой, поскольку моя неспособность договорить даже самое элементарное предложение подтвердила ее догадку, что я иностранка, а значит, меня можно лишь пожалеть. Когда официантка ушла, я тоскливо огляделась по сторонам. Заняться было решительно нечем. Я забыла взять книжку. Будь я мужчиной, я попросила бы официантку купить мне газету, но я никогда не проявляла особенного интереса к текущим событиям в стране и мире, и сейчас было явно не самое подходящее время, чтобы это исправлять.

Женщина в жутком бордовом пальто, сидевшая

за три столика от меня, то и дело поглядывала в мою сторону. Она отломила кусочек булочки и отправила его в рот. Крошка упала ей прямо на шарф. На ее верхней губе осталась капля варенья, похожая на кровящую ранку. Она что-то сказала своему спутнику, продолжая жевать, и мне было видно, как кусок булочки у нее во рту превращается в размокший мякиш. Как удачно, что я не позавтракала. Иначе меня бы стошнило. Я отвела взгляд. Часы на дальней стене показывали двадцать минут десятого. Все было приглушенным, как бывает, когда лежишь в ванне и погружаешь голову в воду. Я вдруг застеснялась. Мне казалось, что все на меня смотрят. Что я скажу, если меня спросят, почему я тут сижу? Какое может быть правдоподобное объяснение? Я живу близко отсюда. Зачем я вышла из дома, где есть запасы отличных чаев, и сижу в одиночестве в этом кафе, заказав чайник чая за три шиллинга и шесть пенсов, который мне совершенно не хочется пить?

Я взяла чайник и налила себе чаю. От него исходил легкий пар и слабый аромат. Я наклонилась поближе к чашке и сделала глубокий вдох. Я люблю чай, но конкретно сейчас желтовато-бурая жидкость показалась мне не более привлекательной, чем моча. Я напомнила себе, что это

просто чашка чая. Привычная, уютная вещь. Я подлила в чай молока из крошечного кувшинчика с эмблемой «Лиона» и принялась наблюдать за слиянием двух жидкостей, взвихренных движением моей ложки. Да, вполне неплохой чай. Выпей чаю, сказала я себе. Выпьешь чаю, и все сразу наладится. Но это, конечно, был самообман. Я поднесла чашку к губам. Удивительно, как я раньше пила эту жуткую смесь, причем не только охотно, но и с удовольствием.

Я решила, что буду смотреть в окно. Если уж я не могла пересесть за другой столик, то уж точно могла бы следить, не появится ли снаружи миссис Ллевелин. Утренний поток конторских служащих, спешащих на работу, уже успел схлынуть. Настал черед домохозяек, неспешно бредущих в мясную лавку за отбивной мужу на ужин. Домохозяйкам не надо спешить. Их задача на сегодняшний день: купить отбивную. Позже все купленные отбивные будут пожарены и поданы с гарниром из картофеля и капусты. Домохозяйки накроют стол и станут ждать, когда их дорогие мужья вернутся из внешнего мира. Но до вечера еще далеко, а между «тогда» и «сейчас» — ничего. Пустота. Возможно, кто-то из них решит прогуляться по парку или побаловать себя чайником

чая в «Лионе». Кто-то сядет читать, кто-то закроет дверь на цепочку, ляжет в супружескую постель и примется ублажать себя руками, вперив взгляд в потолок. Все эти маленькие кратковременные удовольствия преследуют лишь одну цель: хоть как-то отвлечься от тоскливого хода времени.

Из окна была видна телефонная будка, откуда я звонила по объявлению мистера Браунли. Рядом с ней остановился мужчина, проверил мелочь в карманах и вошел внутрь. Защемил дверью подол плаща и резко дернул его, чтобы освободить. Ему было лет тридцать пять. Шляпа сдвинута на затылок, словно он ее приподнимал, чтобы вытереть пот со лба, и забыл вернуть на место. Он казался взволнованным. Я наблюдала, как он снял трубку, поднес ее к уху и зажал между плечом и щекой. Правой рукой набирал номер, а левую держал наготове у прорези для монет. Видимо, он звонил кому-то знакомому, потому что помнил номер наизусть. Набирал его без бумажки. Потом взял трубку правой рукой. В ожидании соединения он огляделся по сторонам, как бы желая убедиться, что за ним не следят. За ним не следили. Никто не обращал на него внимания. Он ждал с трубкой у уха. Возможно, он звонил жене — проверить, дома она или нет.

Возможно, любовнице — договориться о тайном свидании. Как бы там ни было, где-то в городе в чьей-то квартире в эту минуту настойчиво звонил телефон. Может быть, в комнате никого не было. Или какая-то женщина медлила у аппарата и решала, взять трубку или не взять. Я начала ощущать нарастающее напряжение. Мужчина в будке опустил в прорезь монетку. Я прочитала по его губам слово «алло». Он повторил его трижды, но, очевидно, ответа не было. Он убрал трубку от уха, сердито уставился на нее, словно она была виновата, что ему не удалось дозвониться, и несколько раз с силой ударил ею по наборному диску. Затем аккуратно повесил трубку на рычаг и поправил воротник плаща. Вышел из будки, огляделся по сторонам, словно чтобы убедиться, что его маленький акт вандализма остался незамеченным, и зашагал прочь. На подоле его плаща (в том месте, где его прищемило дверью) осталось грязное пятно.

Мой чай остыл. Я поднесла чашку ко рту и притворилась, что пью. Я забыла надеть часы, но все равно взглянула на запястье, сделав вид, что мне надо следить за временем, чтобы не опоздать на назначенную встречу. Меня охватило какое-то странное оцепенение. Я боялась

подняться из-за стола. Боялась, что опрокину его и поднимется шум. Официантки засуетятся. Наверняка позовут управляющего, и мне придется платить за разбитую посуду. Весь перед моей юбки пропитается холодным чаем. Прохожие за окном будут отводить взгляды, ускорив шаг. Чем дольше я сидела за столиком, тем сильнее закостеневала. Я смотрела в окно и пыталась решить, сколько времени можно сидеть в кафе с одним мелким заказом, не нарушая приличий. Миссис Ллевелин так и не появилась, и никаких маленьких драм в телефонной будке больше не произошло. Наконец я поняла, что больше не выдержу. Я достала из сумочки кошелек. Он весь измазался мармеладом от тоста, который я припрятала в сумке за завтраком. Я отсчитала монетки на нужную сумму и оставила их на оловянном подносе, предусмотренном специально для этих целей. Я решила не оставлять чаевых. Пусть это маленькое упущение спишут на то, что я иностранка и не знаю здешних обычаев. Как следует сосредоточившись, я сумела подняться из-за стола без происшествий. Когда я вышла на улицу, у меня закружилась голова. Я заставила себя пройти несколько ярдов, надеясь, что со стороны я похожа на человека, который не просто

так бродит по улицам, а торопится в определенное место с конкретной целью. Через дорогу я перебежала, не глядя по сторонам, почти надеясь, что меня собьет автобус. Я представила, как лежу на асфальте, а вокруг суетятся прохожие. Симпатичный молодой человек встанет рядом со мной на колени, возьмет меня за руку и скажет, что надо держаться, что «Скорая» уже едет и все будет хорошо. Я улыбнусь ему слабой улыбкой, закрою глаза и усну вечным сном.

Я шла по улице как в тумане. Мешала прохожим. У меня в ногах запутался поводок чьей-то собаки. Мне хотелось пнуть это мелкое лохматое чудище. Сама мысль о том, что мне придется слоняться по городу еще много часов, была невыносима. Я присела на скамейку в сквере на Рэндольф-Кресент. Чуть позже на ту же скамейку уселась какая-то старушка. Улыбнулась мне и сказала, что сегодня чудесное утро. Можно было и не отвечать на такое банальное замечание, но я все же заставила себя улыбнуться в ответ и выдавила короткое: «Да». Она сцепила пальцы в замок у себя на коленях и уставилась прямо перед собой. На голые деревья и задние стены ближайших домов. Она носила обручальное кольцо, но было ясно, что ее мужа давно нет в живых. Навер-

ное, эта старушка ходила в сквер каждый день. Возможно, в какие-то дни ей попадались более общительные собеседники, чем я. Мне даже стало немного неловко, что я так невежливо ответила на ее замечание о погоде. Хотелось встать и уйти, но не хотелось обижать ее еще больше. Да и идти было некуда. Через пару минут она достала откуда-то из-под пальто большой бумажный пакет. В пакете лежали хлебные крошки, которые она принялась рассыпать по земле. Буквально через секунду нас окружила стая голубей, как ватага уличных мальчишек, дерущихся за монетку. Они слетались со всех сторон, словно их «наколдовал» Великий Дандо. Я незаметно задвинула ноги подальше под скамейку, стараясь, чтобы мое беспокойство не слишком бросалось в глаза. Голуби, сбившись в плотную кучу, торопились склевать угощение. Один особенно грязный, потрепанный экземпляр застыл на самом краю, не в силах пробиться в толпу собратьев. Он поджимал одну лапку, похожую на усохшую руку. Его перья были взъерошены и казались какими-то маслянистыми. Я легонько качнула ногой, чтобы вспугнуть голубей. Они безразлично и вяло раздались в стороны и снова сбились в тесную кучу почти у меня под ногами. Я отвернулась.

Старушка наблюдала за птицами без всякого интереса. И без видимого удовольствия. Она просто сыпала крошки, голуби просто клевали. Каждый занимался своими делами. Чуть погодя она заглянула в пакет и перевернула его вверх дном, высыпая на землю последние крошки. Последняя вспышка активности — и кошмарные птицы исчезли так же быстро, как появились. Остался только взъерошенный голубь с усохшей лапкой. Он стучал клювом в асфальт на дорожке, но все было тщетно. Ему не оставили ничего.

Вчера или, может быть, позавчера миссис Ллевелин тихонько постучалась в дверь моей спальни. В последнее время она относится ко мне с добротой, которую я уж точно не заслужила своим поведением по отношению к ней. Я считаю, что это знак. Она знает, что мне недолго осталось жить в этом мире. Я дала ей разрешение войти, и она сообщила, что пришел доктор Элдридж и хочет со мной побеседовать. Вряд ли доктор Элдридж пришел сам, его наверняка вызвал папа. Но я все равно согласилась его принять. Он выждал минут пять перед тем, как войти. Видимо, чтобы дать мне время привести себя в порядок. Я села в постели, подложив под спину подушку, и расчесала пальцами волосы, чтобы

придать им какое-то подобие прически. Мне было неловко за мой жуткий вид и за царивший в комнате беспорядок. Я давно не проветривала, и воздух был затхлым. Доктор Элдридж вежливо сделал вид, что ничего не заметил. Он вошел и спросил, не могла ли бы я уделить ему пару минут. Когда я кивнула, он закрыл дверь и прошел чуть дальше в глубь комнаты. Доктор Элдридж был нашим семейным врачом с тех пор, как родители вернулись из Индии. Вполне вероятно, что он присутствовал при моем появлении на свет (мама неустанно мне напоминала, что это были трудные роды), и, наверное, он будет рядом, когда я покину сей скорбный мир. За все время, что я его знаю, он ни капельки не изменился. Не постарел ни на день. Даже его костюм-тройка из темно-серого твида, кажется, был тем же самым, что и в тот раз, когда меня пятилетнюю привезли к нему в клинику с подозрением на свинку. Я не из тех, кто бежит к врачу из-за малейшего чиха. Нас воспитывали в убеждении, что болезнь — это слабость, которой нельзя потакать. Детские простуды считались легким недомоганием, а всякие жалобы на плохое самочувствие неизменно рассматривались как притворство. Вот почему я так мало общаюсь с доктором Элдриджем. Однако его

присутствие вселяет уверенность. Я ни капельки не сомневаюсь, что, если скажу ему о своих мыслях о самоубийстве, он только подожмет губы и неодобрительно поцокает языком.

Он подошел к окну.

— Давайте-ка впустим немного света, — сказал он и раздвинул шторы.

Я удивилась, что на улице так светло. Я потеряла всякий счет времени.

Он присел на краешек кровати.

— Ваш отец говорит, что вам нездоровится.

Я притворилась, что не понимаю, о чем он говорит.

— Это просто усталость. Обычные женские недомогания. У меня всегда так, каждый месяц.

Доктор Элдридж лишь тихо фыркнул. Если я думала смутить его упоминанием о ежемесячных женских недомоганиях, то я просчиталась.

— В любом случае, раз уж я здесь, то давайте я вас посмотрю. Мы же должны убедиться, что все в порядке, да?

Он положил пальцы мне на запястье. На то самое место, по которому я никогда не решусь полоснуть бритвой. Он достал из кармана часы и дождался, когда секундная стрелка дойдет до двенадцати. Мне было приятно ощущать легкое

прикосновение его пальцев. Я с трудом подавила желание накрыть его руку ладонью. Секунд через тридцать он отпустил мою руку и молча кивнул своим мыслям. Потом достал из большой кожаной сумки какой-то прибор с широкой брезентовой лентой, какими-то трубками и коробочкой с круглой шкалой. Сказал, что сейчас мы измерим давление. Затем обернул мою руку брезентовой лентой, закрепил ее на липучке и принялся накачивать воздух, сжимая и разжимая резиновый шарик на конце одной трубки. Лента надулась, плотно сжав руку.

— Будет немного давить, но вы уж потерпите, — пробормотал доктор Элдридж. Пока лента сдувалась, он безучастно смотрел на измерительную шкалу. Затем снял с меня ленту, убрал прибор в сумку, достал стетоскоп и попросил меня расстегнуть на груди ночную рубашку. У меня из-под кожи торчали ребра. Доктор вставил стетоскоп в уши и прижал к моей груди металлическую головку. Она была очень холодной. Его лицо оказалось буквально в нескольких дюймах от моего. Я видела сетку лопнувших сосудов у него на щеках. Ощущала на коже тепло его дыхания. От него пахло крепким табаком и карболовым мылом. Его лицо оставалось таким безмятежным,

словно он слушал концерт Шопена. Моя рука так и лежала на одеяле ладонью вверх. Я повернула ее и легонько коснулась кончиками пальцев плотной брючной ткани у него на бедре. Он попросил меня сделать глубокий вдох. А потом, будто очнувшись от дремы, резко выпрямился и подался назад.

— Хорошие новости: вы еще живы, — объявил он.

Я издала сдавленный звук, который, наверное, был похож на смешок.

— Можно мне послушать? — спросила я.

Он чуть склонил голову набок и поднял брови, но все же снял стетоскоп с шеи и вручил его мне. Как только я вставила его в уши, все доносившиеся с улицы звуки затихли. Доктор Элдридж снова прижал металлическую головку к моей груди. Я накрыла его руку ладонью и услышала, как стучит мое сердце. Оно билось как ни в чем не бывало. Я затаила дыхание и слушала его ровный, убаюкивающий стук. Я так любила его, свое бедное сердце. Оно все-таки билось, оно выполняло свою работу, несмотря на никчемность своей хозяйки. Оно не заслуживало такой доли. Ему нужен кто-то получше, чем я.

Доктор Элдридж за мной наблюдал. Наверное,

только совсем маленькие детишки просят его дать «послушать в трубочку». Я вернула ему стетоскоп. Не знаю, почувствовал он или нет, что за эти секунды между нами что-то произошло. Это моя всегдашняя проблема. Почему-то мне кажется, что другие должны чувствовать то же, что чувствую я. Но у меня никогда не получалось понять, точно ли они что-то чувствуют. Хотя с доктором Элдриджем все было ясно. Для него это обычная рутина. Он проводит привычные процедуры, которые проводил уже тысячи раз. Он убрал стетоскоп в сумку, но остался сидеть.

— Теперь что касается вашей усталости, — сказал он, причем произнес слово «усталость» чуть ли не по слогам, словно это было иностранное слово, которое он никогда раньше не слышал. — Расскажите о ней поподробнее.

Я не стала ему говорить, что, когда просыпаюсь с утра (или днем, или вечером, или когда бы то ни было), одеяло кажется таким тяжелым, что у меня просто нет сил его сбросить. Я не стала ему говорить, что вся моя жизнь лишена цели и смысла и вряд ли что-то изменится в будущем. У меня нет никаких перспектив. Я не стала ему говорить, что, когда я представляю (с трудом), как приятно мне было бы в последний раз ощутить

кожей солнечное тепло, при одной только мысли о том, чтобы выйти на улицу, меня сразу же одолевает невыносимая слабость.

Я сказала, что все не так страшно. Просто я глупая и к тому же ленивая. Со мной все в порядке. Уже через пару дней я буду свеженькая, как огурчик (я действительно употребила этот идиотский фразеологизм). Я извинилась за беспокойство. Мне очень жаль, что ему пришлось ехать ко мне, бросив другие дела. Доктор Элдридж уверил меня, что я не причинила ему никакого беспокойства. Он смотрел на меня доброжелательно и спокойно. Мне хотелось, чтобы он сказал, что я говорю ерунду. Мне хотелось, чтобы он сказал, что я серьезно больна и поэтому нуждаюсь в длительном и непрерывном лечении. Доктор Бретуэйт сразу распознал бы обман. Но доктор Элдридж не распознал. Он поджал губы и медленно кивнул. Потом подхватил свою сумку и поднялся на ноги.

— Старайтесь больше двигаться, — сказал он. — Ходите гулять. Мы все временами испытываем усталость. Но не следует целыми днями валяться в постели. И вам надо есть. Вы очень худая.

С тем он и ушел. Мне хотелось, чтобы он остался. Я разрыдалась, уткнувшись лицом в подушку, чтобы никто не услышал. Ребекка прошипела

мне на ухо, что я жалкая курица. Теперь уже поздно лить слезы. Меня никто не услышит.

Я представила, как тревожится папа. Сидит внизу как на иголках, ждет заключения врача. Доктор Элдридж скажет ему, понизив голос, что не нашел у меня никаких признаков заболеваний, по крайней мере, с физиологической точки зрения. Он задаст ряд вопросов, и папа ответит, смущаясь от моего имени. Нет, она не выходит из дома. Она почти ничего не ест. У нее нет подруг. Через пару минут внизу хлопнула входная дверь. Значит, доктор ушел.

Я решила еще раз сходить к доктору Бретуэйту. В последний раз. Это была идея Ребекки, и у меня не хватило сил ей возразить. Когда я проснулась сегодня утром, Ребекка пребывала в боевом настроении. Ее терпение лопнуло. Я, может быть, и махнула на себя рукой, но она — нет. Так просто нечестно, сказала она. Я была с ней согласна. И вправду нечестно. Почему Ребекка должна страдать из-за моих ошибок?

Она пыталась меня растормошить, вывести из оцепенения. Я напомнила ей, как она меня обзывала плохими словами. Она извинилась. Она тогда говорила со зла. Но ее тоже можно понять. Она же привязана к такой мямле, как я. Кому

такое понравится?

Я отбросила одеяло и села, опустив ноги на пол. Шершавый ковер неприятно царапал босые стопы. Я надела халат, валявшийся на полу у кровати. В нос ударил противный запах из моих собственных подмышек. Я подошла к окну и раздвинула шторы. Снаружи шел дождь. Ну и что? — сказала Ребекка. Маленький дождик еще никому не навредил. Она велела мне принять ванну. В коридоре мне встретилась миссис Ллевелин. Она удивленно уставилась на меня и вдруг улыбнулась. Ребекка вежливо попросила ее набрать ванну. Раньше они никогда не встречались, но миссис Ллевелин подчинилась без возражений.

— Конечно, милая, — сказала она.

Я сидела на унитазе с опущенной крышкой, пока миссис Ллевелин набирала для меня ванну, периодически проверяя температуру воды рукой, как для ребенка. Когда все было готово, Ребекка поблагодарила ее таким тоном, что сразу стало понятно: ее присутствие больше не требуется. Я разделась и забралась в ванну. Положила на лицо мочалку и погрузилась в воду по уши. Вода была теплой, приятной. Можно было бы легко соскользнуть еще ниже, уйти под воду с голо-

вой, но Ребекка заставила меня сесть, намылить мочалку и как следует растереться. Особенно в зоне подмышек и интимных местечек. Ребекка следила за своей внешностью. В отличие от меня она бы никогда себя так не запустила. И она вовсе не собиралась нежиться в теплой мыльной воде. Она велела мне выйти из ванны и так яростно растерла меня полотенцем, что у меня покраснела кожа. Я подумала, что миссис Ллевелин наверняка сказала папе, что я встала с постели. Я решила составить ему компанию за завтраком. Надела халат и спустилась в столовую. Папа сидел на своем обычном месте во главе стола и очищал вареное яйцо.

— Доброе утро, — сказал он, увидев меня. — Рад, что ты встала. Как я понимаю, нам уже лучше?

— Гораздо лучше, — ответила ему Ребекка.

Говори за себя, мысленно огрызнулась я.

— Прекрасная погода для уток, — добавила она.

Папа удивленно взглянул на нее. Он посолил очищенное яйцо и принялся намазывать маслом тост. Ребекка сказала, что тоже будет яйцо. Даже два. Я сама никогда не ела на завтрак вареные яйца, но папа тут же выскочил из-за стола, бросил салфетку на сложенную газету, подошел к двери

в кухню и велел миссис Ллевелин сварить еще два яйца.

Ребекка, не знавшая о том, как трудно нам с папой поддерживать разговор, была не готова к напряженному молчанию, воцарившемуся за столом на все время варки яиц. Впрочем, она не особенно тяготилась этим молчанием. Она намазала маслом тост, разрезала его на четыре треугольных кусочка и начала есть. Папу, кажется, вовсе не удивило столь нехарактерное для меня поведение. Ребекка спросила, какие у него на сегодня планы.

— Планы? — переспросил он. — Утром я собирался разобрать почту, ответить на письма.

— Очень важно, когда тебе есть чем заняться, — сказала она.

Несомненно, это замечание было адресовано мне.

Папа согласно кивнул. Я сказала Ребекке, что, если она не уймется, я сейчас же вернусь в постель. Прежде чем она успела мне возразить, миссис Ллевелин принесла яйца. Отличный повод прервать натужную светскую беседу. Ребекка очистила яйца, густо намазала маслом еще два тоста, выложила на каждый по яйцу и размяла их вилкой. Ребекка, как я понимаю, совсем не

тревожилась о своих бедрах. Папа смотрел на нее с явным недоумением. Она улыбнулась ему и откусила большой кусок тоста с яйцом. Жидкий желток капнул ей на халат, но она даже и не заметила. Я взяла салфетку и попыталась вытереть пятно.

После завтрака мы с Ребеккой вернулись в нашу комнату. Ребекка сказала, что сама выберет мне наряд. Я с облегчением передала ей командование. Она начала было меня упрекать, что я одеваюсь как клуша, и совершенно не слежу за модой, но тут же умолкла, вовремя сообразив, что она все еще сильно зависит от моей воли. Она по-дружески объявила, что в ближайшее время нам надо будет пройтись по магазинам вдвоем. Я ответила, что я только за. Несмотря ни на что, мне было приятно, что она хочет со мной подружиться. Может быть, я не такая уж и недотепа.

Она выбрала белую блузку и серый твидовый костюм. Я осталась довольна. Это был тот же самый наряд, который я выбрала для ее первого визита к доктору Бретуэйту. Она иногда забывает, что без меня ее не было бы вовсе, но, раз уж мы (в кои-то веки) сумели поладить, я решила, что сейчас лучше об этом не напоминать. Если бы не Ребекка, я до сих пор валялась бы в постели,

как никчемная лентяйка, которой я, собственно, и была. Пусть лучше всем заправляет Ребекка. Насчет Бретуэйта она тоже была права. В отличие от легковерного доктора Элдриджа, одурачить Коллинза Бретуэйта совсем непросто. Если я до сих пор ему сопротивлялась, то исключительно из упрямства. У меня было стойкое ощущение, что мне может помочь только Бретуэйт и что надо последовать любому его совету.

Я надела белье и уселась перед зеркалом. Посмотрела на знакомые вещи, в беспорядке разложенные на трюмо: набор щеток для волос с ручками, украшенными камеями; маленькая жестяная шкатулка, купленная на каникулах в Торки, когда я была совсем маленькой (теперь я храню в ней заколки); флакон духов «Шанель № 5», которыми я раньше душилась в надежде, что хоть какой-то мужчина хотя бы раз сделает мне комплимент, что от меня хорошо пахнет. Я расставила все аккуратнее и приступила к утреннему макияжу. Нанося пудру на щеки, я наблюдала, как я исчезаю. Немного румян — и вместо меня в зеркале появилась Ребекка. Она мне улыбнулась, и я улыбнулась в ответ. Я накрасила тушью ресницы. Накрасила губы красной помадой, которую приобрела специально для

Ребекки (для меня она слишком яркая). Ребекка, похоже, осталась довольна моими стараниями. Она выглядела потрясающе.

Она неспешно оделась и оглядела себя в большом зеркале на обороте дверцы платяного шкафа. Она была готова к выходу. Я попросила лишь об одном: дать мне десять минут, чтобы записать в тетрадь несколько строк. Мы не записывались на прием к доктору Бретуэйту, так что можно было прийти к нему в любое время. Ребекка не стала спорить. Я уселась за письменный стол и открыла ящик, где храню эти тетради. Теперь я закончила, и нам, наверное, пора выходить. Думаю, здесь это будет моя последняя запись.

Бретуэйт V: Последний побег

Последние годы жизни Бретуэйт провел в родительском доме на Уэстлендс-роуд в Дарлингтоне. После смерти его брата Джорджа в 1962 году дом пустовал, и продать его не удалось. К 1970 году авторские отчисления за продажи двух книг Бретуэйта почти полностью прекратились, а сам Бретуэйт окончательно исчерпал запасы терпения тех, кто был готов одолжить ему денег на оплату аренды жилья или покупку спиртного. Последние месяцы в Лондоне он жил в дешевых пансионах, где приставал к женщинам с непристойными предложениями и изводил всех, оказавшихся в зоне слышимости, возмущенными речами о снобах-издателях, тухлом столичном истеблишменте и «этом мудиле Лэйнге». Его регулярно просили съехать.

В письме к Эдварду Сирсу в январе 1971 года Бретуэйт писал, что Лондон «себя исчерпал» и он собирается начать новую жизнь где-нибудь в другом месте. Он решил взяться за сочинение романа, как предлагал Сирс, и просил выплатить ему аванс. Сирс не поверил ни единому слову, но его грела мысль о предстоящем прощании с

Бретуэйтом, и он на радостях послал ему чек на 50 фунтов. Он надеялся, что на этом его общение с Бретуэйтом благополучно закончится. Бретуэйт уехал из Лондона в Дарлингтон 4 февраля 1971 года, в свой сорок шестой день рождения. Смутьян и мятежник, проповедник «вечной революции своего «я» в итоге вернулся к тому же, с чего начинал.

В 1971 году Дарлингтон и Лондон с его контркультурой, привычной Бретуэйту, разделяло не только 250 миль географического расстояния. Дарлингтон так и остался традиционным северным городом тяжелого машиностроения и трикотажной мануфактуры. Согласно планам послевоенного градостроительства в историческом центре снесли часть застройки, чтобы освободить место для новой системы кольцевых дорог, но в целом город практически не изменился с тридцатых годов. За исключением длины женских юбок, легендарные «бушующие шестидесятые» никак себя не проявляли. К новомодным идеям здесь относились с обычным северным флегматизмом. Дарлингтон как будто застыл в прошлом.

Для кого-то возвращение в родной город может стать поводом для радости, но для Бретуэйта это было «равносильно признанию поражения».

Если он опасался, что местные будут над ним насмехаться из-за столь унизительного падения после взлета, то его опасения оказались напрасными. В Дарлингтоне никто и не знал, кто он такой. У него не было ключей от дома на Уэстлендс-роуд, и, чтобы войти внутрь, ему пришлось разбить окно у задней двери. Женщина из соседнего дома, миссис Агнес Белл, позвонила в полицию с сообщением о краже со взломом. По вызову прибыл местный констебль Фред Херст. Он постучался в переднюю дверь, и ему открыл человек, с виду — вылитый бомж. «Я Артур Коллинз Бретуэйт, — объявил он. — И это мой дом». Он попросил Херста подождать на крыльце, ушел в дом и вернулся минут через десять с водительскими правами. Само по себе это еще ничего не доказывало, но, несмотря на свой неопрятный вид, Бретуэйт вел себя как хозяин, а не как посторонний грабитель, и Херст ушел восвояси. На следующий день он позвонил миссис Белл и сказал, что полиция провела надлежащую проверку и предполагаемый взломщик на самом деле является законным владельцем дома. Расстроенная своей ошибкой, она пошла к Бретуэйту, чтобы извиниться. Еще два-три года назад Бретуэйт сразу послал бы ее далеко и надолго, а теперь

выслушал с искренним любопытством, неловко переминаясь с ноги на ногу. Он представился как Артур и объяснил, что этот дом принадлежал его отцу. «Он, знаете ли, застрелился. Старый дурак».

Миссис Белл, ныне вдова, до сих пор проживает на Уэстлендс-роуд в Дарлингтоне. Я ей позвонил, и она была рада рассказать о своем бывшем соседе, которого до сих пор вспоминает со смесью нежности и жалости. Когда она познакомилась с Бретуэйтом, ей еще не было тридцати. В молодости она была стройной и вполне симпатичной. В первый день их знакомства она пришла к Бретуэйту в грязном переднике — просто не сообразила переодеться, — и под его пристальным взглядом ей стало неловко. «У него был удивительный взгляд, — вспоминала она. — Я не встречала никого с таким взглядом».

Бретуэйт уверил ее, что извиняться не надо. На самом деле это ему следует извиниться, что он ее напугал. Миссис Белл сказала, что это очень великодушно с его стороны, и пригласила его на ужин, раз уж они теперь будут соседями. Бретуэйт поначалу отказывался, но все-таки дал себя уговорить. Тем более что у него дома не было ничего съестного.

Ужин не удался. Бретуэйт принес с собой сум-

ку, набитую бутылками с темным элем, но не отдал их хозяевам в качестве приветственного подарка, а все время держал сумку у ног и потягивал пиво, что называется, в одно лицо. Агнес изо всех сил старалась поддерживать разговор. Она работала библиотекарем на полставки в младшей школе в Кокертоне. Ее муж Роберт служил бухгалтером на трикотажной фабрике «Патонс и Болдуинс» — одном из крупнейших промышленных предприятий в Дарлингтоне. У них было двое маленьких сыновей, Питер и Эндрю, которых к приходу Бретуэйта уже уложили спать. Их дом был обставлен уютно и современно. Беллы принадлежали к тому поколению, которое активно стремилось сбросить с себя добродетельный аскетизм послевоенных лет. Для них, детей Макмиллана и Уилсона, революция означала не взлом дверей восприятия, а беспрепятственный доступ к покупкам в рассрочку, ознаменовавший новую эпоху потребления. «Приобретая дорогие вещи, — довольно злобно писал Бретуэйт, — Беллы так эффективно подавляли свою экзистенциальную и сексуальную неудовлетворенность, что даже не понимали, что они оба духовно мертвы: это были самые счастливые люди из всех, кого мне довелось знать».

Агнес расстаралась и приготовила разнообразные замысловатые закуски, и Бретуэйт жадно набросился на угощение, поданное в гостиной. Также он не отказался от хереса и не стеснялся подливать себе из бутылки, стоявшей на низком журнальном столике. Когда Агнес ушла в кухню, чтобы проследить за горячим, мужчины не знали, о чем говорить. Роберт был страстным футбольным болельщиком; Бретуэйт совершенно не интересовался спортом. Роберт спросил, чем занимается Бретуэйт, и тот лишь неопределенно повел рукой. Он вообще говорил мало, но все же высказался, что Агнес «красивая баба». Роберт ответил смущенным «спасибо». Для него стало большим облегчением, когда Агнес вернулась в гостиную и объявила, что ужин готов.

Стол был накрыт в маленькой столовой, что примыкала к кухне и соединялась с ней прорезанным в стене окошком. Агнес приготовила *coq au vin*[29] и сообщила Бретуэйту, что это французское блюдо. Они с Робертом собирались свозить сыновей во Францию, когда те чуть-чуть подрастут. Очень важно, сказала она, чтобы у подрастающего поколения была возможность познакомиться

---

[29] Примечания: 29
Курица в вине (*фр.*).

с иностранной культурой. Тут Бретуэйт наконец разговорился. Может быть, потому, что поел, или выпил слишком много эля, намешанного с хересом, или просто потому, что разговор случайно коснулся темы, которая была ему интересна. Следующие полчаса Бретуэйт развлекал Беллов рассказами о своих похождениях во Франции после войны, в том числе — о многочисленных сексуальных победах. После одного особенно пикантного эпизода Роберт запротестовал, что подобные разговоры не стоит вести в присутствии его супруги. Бретуэйт посмотрел на него, изобразив искреннее изумление. «У вас двое детей, — сказал он. — Наверняка было время, когда она и сама была очень не прочь хорошо пошпилиться». Агнес разрядила обстановку, начав убирать со стола. Бретуэйт беззастенчиво разглядывал ее в упор. Она ушла в кухню готовить десерт, тихонечко напевая себе под нос. Мужчины сидели в молчании. Вернувшись за стол, Агнес завела разговор о переменах, произошедших в городе, пока здесь не было Бретуэйта. Бретуэйт сказал, что он никаких перемен не заметил.

В какой-то момент Роберт поднялся наверх, чтобы проверить, как спят сыновья. Бретуэйт повернулся к Агнес и пристально посмотрел на нее.

Она почувствовала, что краснеет. Затем Бретуэйт вроде как извинился. Он не хотел никого оскорбить или обидеть, он просто отвык находиться в вежливом обществе. Агнес уверила его, что она совсем не обиделась. Ей очень приятно принимать у себя такого образованного, искушенного гостя. Он, наверное, считает их с мужем дремучими провинциалами. Бретуэйт ответил, что нет. Он так не считает. Вечер закончился достаточно миролюбиво, но Беллы больше не приглашали к себе Бретуэйта.

Старый дом Бретуэйтов на Уэстлендс-роуд находился в запущенном состоянии. На крыше не хватало нескольких черепиц, дождевая вода просочилась на чердак, и потолки на втором этаже заметно просели. Размокшая штукатурка осыпалась на пол в коридоре, и ковер прогнил насквозь. Обои на лестничной клетке отслаивались от стен. Весь дом пропах плесенью и сыростью. Кроме родительской спальни Бретуэйт пользовался только кухней, которую обогревал примусом. В первые месяцы в Дарлингтоне он пил по-черному. Редко когда поднимался с постели раньше полудня. Завтракал сигаретой и глотком виски, бутылку с которым всегда держал рядом с кроватью и старался не допивать до конца вечером

накануне. В доме не было горячей воды, так что гигиенические процедуры сводились к минимуму. Одежду Бретуэйт не стирал никогда. Он совсем исхудал. Все вечера он проводил в пивной на Хай-Нортгейт. Сидел за столиком в дальнем углу, пил крепкое пиво, кружку за кружкой, и тупо таращился в одну точку. Он выглядел как опустившийся бомж, но у него были деньги, так что владельца питейного заведения, Брайана Армитеджа, ничуть не смущало присутствие такого клиента. Бретуэйт не проявлял враждебности по отношению к другим посетителям паба, но и не участвовал в обсуждениях новостей или местных сплетен. Его тоже никто не трогал: сидит человек, и пусть сидит. По дороге домой он запасался сардинами в банках и консервированным персиковым компотом в бакалейной лавке на Норткот-Террас. Потом сидел у себя в кухне до поздней ночи, устроившись на диване, который перетащил из гостиной, читал книги и пил виски. Иногда засыпал прямо в кухне, иногда добирался до спальни на втором этаже.

«От меня ничего не осталось, во всех смыслах слова, — писал он позднее, сравнивая себя с бестелесным голосом из романа Сэмюэла Беккета «Безымянный», потоком сознания, оторванного

от реальности физического мира. — Это было своего рода освобождение. Я не думал вообще ни о чем, кроме физического выживания. И все-таки, несмотря на все попытки утопить разум в алкоголе, он продолжал беспрестанно меня донимать. Он никак не желал отключаться».

Но весной все изменилось.

«Я проснулся однажды в апреле, — писал Бретуэйт, — и увидел луч света, проникший через неплотно задернутые шторы. Я оглядел комнату. Все вокруг было грязным. Стены в пятнах. Ковер в пятнах. Постель тоже в пятнах. Я сам весь в грязи. Я спустился на кухню. Пол заставлен пустыми бутылками. В углу свалена куча консервных банок. В мусоре копошились мыши. Мне стало противно и мерзко от себя самого. Кажется, я окончательно опустился».

В тот же день или чуть позже Агнес Белл поняла, что в соседнем доме идет генеральная уборка. Сначала в маленьком дворике перед домом появились коробки с пустыми бутылками и прочим мусором. Потом Бретуэйт вынес на задний двор всю старую мебель и разрубил ее топором. Он хотел ее сжечь, но она отсырела и не загоралась. Еще почти месяц обломки лежали на улице, напоминая обветшавшую скульптуру. Затем Бретуэйт

принялся расчищать заросший сад и часто работал с утра до вечера, почти без перерывов. Агнес подходила к забору, разделявшему их участки, и беседовала с Бретуэйтом. Иногда приносила ему чашку чая. Бретуэйт был рассеян и отвечал невпопад, но держался достаточно дружелюбно и не отпускал никаких сальных шуточек. Однажды он спросил у Агнес, знала ли она его отца, но она покачала головой. Кажется, он огорчился, когда Агнес сказала, что не помнит скобяную лавку на Скиннергейт. Она была слишком юной. «Отец гордился этим домом, и посмотри, что с ним стало теперь», — сказал Бретуэйт и продолжил срезать сорняки. Как-то утром в субботу Агнес увидела Бретуэйта на крыше. Он пытался восстановить недостающую черепицу. Она испугалась, что он упадет, и попросила Роберта подержать ему лестницу. Хоть и с большой неохотой, тот все-таки выполнил просьбу жены. «Ты пришел держать лестницу или хочешь, чтобы я грохнулся?» — крикнул ему Бретуэйт. Когда мебель на заднем дворе окончательно высохла, Бретуэйт ее сжег, а на освободившемся месте поставил маленький столик и стул.

В течение нескольких месяцев миссис Белл наблюдала, как ее сосед (часто голый по пояс) ча-

сами сидит за столом во дворе, сгорбившись над пишущей машинкой. Однажды она спросила, что он сочиняет, и он ответил: «Трагедию. Кровавую жизненную трагедию».

Машинописная рукопись «Я сам и прочие незнакомцы» составляет почти 500 страниц. Даже переживая упадок, Бретуэйт не сомневался в своей гениальности. Его падение объяснялось не собственной несостоятельностью, а исключительно происками врагов, полных решимости его уничтожить. Он утверждает, что это естественная реакция. Чтобы истеблишмент удержал свои позиции, «те, кто заинтересован в сохранении статуса, должны уничтожить всех оппозиционеров. Это справедливо, — пишет он, — для каждой тоталитарной системы, и политической, и психической».

Возможно, в этом наблюдении есть доля истины, однако оно подтверждает, что свойственная Бретуэйту завышенная самооценка никуда не делась. На самом деле все было проще: несмотря на свою кратковременную известность, он никогда не был достаточно значительной фигурой, чтобы кто-то стал затевать против него масштабную организованную кампанию, хотя он сам был уверен, что в этом крестовом походе объ-

единились полиция, пресса и государственная правовая система, а также отдельные личности вроде Эдварда Сирса, Ричарда Аарона и, конечно, Ронни Лэйнга. Никто не избежал его язвительной ярости. Дирк Богард, которому он во многом обязан своим успехом, обозначен в его мемуарах «пустым человеком, настолько тщеславным и претенциозным, что его самого как бы и не существует». Сирс — «жалкий трус, как все гомики; посредственность, нападающая на других, чтобы отвлечь внимание от своих собственных слабостей и недостатков». Но самые гадкие колкости Бретуэйт, разумеется, приберегает для Лэйнга: «Вот он восседает на своей куче навоза, как на Парнасе, и подхалимствующие приспешники лакают его мочу, словно марочное шампанское».

«Я сам и прочие незнакомцы» получилась бессвязной, местами напыщенной, полной беззастенчивых самооправданий и бесцеремонной по отношению к фактам. Тем не менее, в каком-то смысле, это лучшая книга Бретуэйта. Когда он не сводит счеты с обидчиками и не похваляется собственным интеллектом, его мемуары становятся по-настоящему увлекательными. Это прекрасный образчик так называемой беллетризованной автобиографии. Воспоминания из

детства и описания поездки во Францию очень лиричны и выразительны. Отрывки о клинике в Нетли буквально пышут негодованием, в кои-то веки оправданным. Возможно, Эдвард Сирс не зря предлагал Бретуэйту взяться за художественный роман.

Рассказывая о работе в скобяной лавке отца, Бретуэйт вспоминает не только свое раздражение, когда его постоянно шпыняли и ругали за малейшие ошибки, но и приятные тактильные ощущения: как сжимаешь в ладони слегка изогнутую рукоять топора, чувствуешь тяжесть кованой стали. «Когда держишь в руке топор, — пишет он, — сразу хочется им замахнуться. Инструменты ручного труда призывают к действию, подобающему настоящему мужчине. Махать топором — это вам не бумагу марать».

Вспоминая, как старшие братья его избивали, он им даже сочувствует: «Я совершил тяжкий грех. Я был умным очкариком, они — тупыми громилами. Вряд ли стоило ожидать, что они будут внимать гласу разума». Братья лупили его с ведома и молчаливого одобрения отца, который, «вероятно, считал, что из меня, умника, надо повыбить всю дурь».

На протяжении всей книги периодически

возникает мотив необходимости спрятаться, как в прямом, так и в метафорическом смысле. Бретуэйт утверждает, что его самое раннее воспоминание из детства было таким: он притворяется спящим в своей кроватке в спальне родителей, а его отец, вернувшись из паба, принуждает мать к близости. Она возражает, что они разбудят Артура. Но когда она тихонько зовет его шепотом, чтобы проверить, спит он или нет, он еще крепче зажмуривает глаза. Он лежит, замерев в темноте, слушает хриплое дыхание отца и чувствует себя соучастником насилия над матерью. И даже не важно, реальное это воспоминание или детская выдумка. Эпизод показателен сам по себе: даже в четырехлетнем возрасте Бретуэйт учился скрывать свое присутствие.

Однажды, когда ему было тринадцать или четырнадцать лет, он выкрал из шкафа в родительской спальне мамину ночную рубашку и унес к себе в комнату. Надел ее и занялся мастурбацией. Бретуэйт очень подробно описывает свои ощущения: аромат мягкой фланели как будто сближал его с матерью. Возможно, кому-то это покажется непристойным, но тут надо помнить, что речь идет о совсем юном мальчишке, которого бросила мать и который не знал, как еще можно дать

выход своим переживаниям. Позже он разрезал подкладку в передних карманах брюк, чтобы ему было удобней тайком мастурбировать, наблюдая за девушками на речной набережной. «Мне и в голову не приходило, — пишет Бретуэйт, — что можно было бы подойти познакомиться с кем-то из этих девушек, пригласить на прогулку или в кино, чего мне, собственно, и хотелось. Но в семье меня приучили считать себя конченым уродом, недостойным любви и участия, так что я научился скрывать свои чувства».

Когда читаешь подобные откровения, сразу становится ясно, откуда проистекают все неприятные качества Бретуэйта, развившиеся позднее: его неспособность воспринимать других мужчин не иначе как соперников; его чудовищное самомнение; его пренебрежительное отношение к женщинам. Все происходит из обычного страха быть отвергнутым.

Самые счастливые воспоминания Бретуэйта связаны с поездкой во Францию. «Жить в другой стране, говорить на другом языке, быть другим человеком… И вот тогда, став другим человеком, я впервые почувствовал себя собой». Ему нравилось ощущение товарищества, что царило в бригаде сборщиков винограда. Нравилась уста-

лость, разливавшаяся по телу после целого дня простого ручного труда. Нравилось, как солнце пекло ему спину. Нравился солоноватый вкус пота на верхней губе. Нравилось пить молодое вино за обедом и слушать французские анекдоты, которые он понимал только наполовину. И больше всего ему нравились свободные нравы и легкие связи. «Я понял, что секс — это не акт завоевательной агрессии, не что-то такое, что мужчина делает с женщиной, а обоюдно приятное действие для удовольствия двух человек, независимых друг от друга и не обязанных друг другу ничем». Когда читаешь его описания рыжевато-ржавой земли Прованса и запахов лимонов, лаванды и свежего навоза, кажется удивительным — и, возможно, трагичным, — что он вообще вернулся в Англию.

Он не пишет подробности об отдельных клиентах. Может быть, потому, что все подробности уже были описаны в «Антитерапии». Но скорее всего потому, что ему просто наскучило слушать, как состоятельные лондонские умники рассказывают о своих «дешевых экзистенциальных тревогах». «Если я чему-то и научился, — пишет он, — то только тому, что сколько бы материальных богатств ни имел человек, ему всегда всего

мало. Он всегда найдет повод для тяжких страданий. Мы запрограммированы на постоянную неудовлетворенность. Нам всегда хочется большего. Больше мебели, больше бытовых приборов, больше секса, больше любви. Мы хотим того же, что есть у соседа, а сосед хочет того же, что есть у нас. Это стимул для вечного недовольства».

Работа психотерапевта («так называемого») оказалась самой легкой на свете. «У меня не было ни единого посетителя, который не понимал бы, в чем заключается его проблема. Мне надо было лишь слушать и наблюдать, а затем изложить свои наблюдения клиенту: озвучить то, что он и так уже знал. По сути, я ничего не делал, однако все как один восхищались моей проницательностью: какой я внимательный, вдумчивый, как я все понимаю. Но я просто слушал. Когда посетитель приходит заранее уверенный, что ты — какой-то гуру, каждое твое слово уже будет наполнено глубоким смыслом. Будучи терапевтом, ты получаешь огромную благодарность за такие высказывания, за которые в пабе получил бы по морде. Когда тебе платят пять гиней в час, каждое твое слово священно. Психотерапия — это не более чем надувательство, злоупотребление доверием».

Это довольно циничная точка зрения, с которой категорически не согласятся ни традиционные психиатры, ни современные «консультанты». Также, возможно, она принижает талант Бретуэйта как психотерапевта. Нельзя отрицать, что он умел выявить корневые причины неудовлетворенности своих клиентов и не боялся говорить правду, которой другие могли бы чураться.

Когда женщина [пишет Бретуэйт] говорит, что она задыхается от своей нынешней жизни, не нужно быть гением, чтобы предположить, что эту жизнь надо менять.

— Но я не могу ничего изменить, — скажет она с отчаянием в голосе.

— Почему же не можете? — спросишь ты.

— Просто не могу. Все очень сложно. Я в западне.

— Если бы вы действительно хотели что-то изменить, вы бы взяли и изменили.

— Думаете, я смогу?

Людям — особенно женщинам — необходимо получить разрешение со стороны. Они настолько подавлены базовыми структурами семьи, приличия и ответственности, что не способны действовать самостоятельно. Им требуется внешнее дозволение для реализации собственных

желаний. А ведь всего-то и нужно, что шагнуть вперед, отказавшись от привязанности к прошлому.

Ирония ситуации — он записывал эти соображения, вернувшись в дом детства, — не укрылась от Бретуэйта. «Будь у меня лишние пять гиней, я бы потратил их на консультацию с самим собой, — пишет он. — Но у меня нет лишних денег».

Летом 1971 года, когда он писал свою книгу, Агнес Белл заметила в нем перемену. Он стал готовить себе еду, простые, незамысловатые блюда. Он набрал вес. Он по-прежнему пил, но по утрам у него не тряслись руки. Он стал уделять больше внимания гигиене. Он регулярно стирал одежду и развешивал ее сушиться на веревке, протянутой между деревьями во дворе. Если он видел, что Агнес тоже развешивает белье, он всегда ей помогал. Позже, когда Беллы купили стиральную машину, Агнес предложила Бретуэйту отдавать стирку ей, и он не стал отказываться. Взамен он выполнял для нее мелкие работы в саду, по крайней мере, в те дни, когда Роберт был на работе. Иногда, если Агнес надо было сходить в магазин или на почту, она просила «дядю Артура» присмотреть за ее сыновьями.

Временами Бретуэйт так погружался в работу, что даже не слышал, как Агнес окликала его через забор. Но чаще все-таки отрывался от пишущей машинки, закуривал и вполне дружелюбно общался с соседкой. Он рассказывал ей о своем дарлингтонском детстве. Агнес призналась, что вышла замуж за Роберта лишь потому, что забеременела. Он хороший муж и хороший отец, но она его не любит. Она много расспрашивала о Лондоне, где была лишь однажды, в свои восемнадцать лет. Бретуэйт сказал, что в Лондоне полно шарлатанов и что здесь, в провинции, ей будет спокойнее. «Но здесь так скучно, — ответила Агнес. — У меня ощущение, что я сижу в клетке». Бретуэйт сказал, что встречал многих женщин в похожей ситуации. Он спросил, что она будет делать, если клетка откроется. Агнес рассмеялась и сказала, что, наверное, запрет дверь изнутри и останется сидеть на жердочке.

Хотя они с Агнес общались довольно близко, Бретуэйт не пытался к ней подкатывать. Даже когда она призналась, что иногда у нее возникает желание завести любовника, Бретуэйт сказал, что ей никто не мешает его завести, но не предложил свою кандидатуру.

Два или три вечера в неделю Бретуэйт прово-

дил в пивной на Хай-Нортгейт. Он по-прежнему держался особняком, но иногда перекидывался парой слов с другими завсегдатаями заведения. Однажды его пригласили в барную команду по дартсу, где был недобор. Бретуэйт никогда не дружил со спортом, он проигрывал все броски — иногда и вовсе не попадал в доску, — но новые товарищи отнеслись к его проигрышам с пониманием. Он купил в комиссионке подержанную доску для дартса с набором дротиков, повесил ее на заднюю дверь в коридоре и отмерил линию броска. Он тренировался каждый день, по часу утром и вечером. Когда умер один из старожилов «пивной дартс-команды», Бретуэйт был уже достаточно подготовлен, чтобы занять его место. В одном из матчей с командой главных соперников из соседнего паба именно Бретуэйт сделал победный бросок и отпраздновал свой триумф, напоив пивом не только товарищей по команде, но и противников тоже. Брайан Армитедж даже позволил компании сидеть в заведении до утра, что случалось крайне редко. Бретуэйт вернулся домой на рассвете, пьяный в дым, но довольный. «Я уже очень давно не испытывал таких простых удовольствий, — писал он. — Такого чувства товарищества. Меня приняли в компанию муж-

чин, которые знали меня только по имени и не требовали от меня ничего, кроме способности попасть дротиком по мишени. Я вышел на новый уровень в жизни».

В ноябре 1971 года Бретуэйт отправил Эдварду Сирсу машинописную рукопись книги «Я сам и прочие незнакомцы». Со своим всегдашним высокомерием он не потрудился перепечатать рукопись начисто и не удалил уничижительные замечания в адрес Сирса. Сирс распечатал конверт с содроганием, однако честно прочел новый опус Бретуэйта и даже передал рукопись на рассмотрение одному из коллег, чтобы убедиться, что он сам отнесся к ней непредвзято из-за личного предубеждения против автора. Не желая, чтобы Бретуэйт подумал, что его книге не уделили должного внимания, Сирс выждал полтора месяца и только потом написал ответ. Это письмо от 12 января 1972 года сохранилось в архивах. Отказ принять рукопись к публикации был предельно вежливым, но твердым. После сдержанной похвалы «фирменной дерзости» и «колоритному слогу» Бретуэйта Сирс заключил, что «к сожалению, на нынешнем рынке больше нет спроса на подобную литературу». Поэтому он с благодарностью возвращает рукопись автору.

Бретуэйт, уже разъяренный задержкой с ответом, позвонил Сирсу на следующий день. Сирс устало выслушал вполне предсказуемую гневную речь. Когда Бретуэйт понял, что его бывший издатель не изменит своего первоначального мнения, он похвастался, что другие издательства готовы оторвать его книгу с руками, но он послал рукопись Сирсу «по старой дружбе, которая, как видно, уже не в цене». Сирс пожелал ему удачи с другими издательствами и бросил трубку.

Неизвестно, отсылал ли Бретуэйт рукопись кому-то еще. Если да, то вполне очевидно, что он везде встретил отказ. Книга так и не вышла в свет. Единственный экземпляр рукописи ныне хранится в архивах Даремского университета. Еще через пару недель Бретуэйт написал Сирсу с просьбой прислать ему чек с последними авторскими отчислениями за две предыдущие книги. Никаких отчислений не поступало. Весь тираж «Убей себя в себе» и «Антитерапии» был распродан, и книги больше не переиздавались. Однако Сирс — в качестве жеста доброй воли — прислал Бретуэйту чек на двадцать фунтов. Примерно в то же время Бретуэйт написал Зельде. Он поздравил ее с успехом (у нее вышло уже четыре романа, один из которых, «Короткий ливень», был экра-

низирован Льюисом Гилбертом) и попросил вернуть 50 фунтов, которые она ему якобы задолжала. Зельда не ответила на это письмо.

«Я сам и прочие незнакомцы» завершается так:

Я всю жизнь ненавидел Дарлингтон. Ненавидел дома из красного кирпича. Ненавидел булыжные мостовые и вонючие пабы. Ненавидел богатеньких щеголей из Кокертона и вульгарные толпы фабричных рабочих. Ненавидел Джозефа Пиза, глядящего со своего постамента на Хай-Роу. Ненавидел короткое прозвище города: Дарло. Дарло не был мне другом. Дарло был мне врагом. Дарло был тюрьмой, откуда хотелось сбежать. Чтобы сохранить здравый рассудок, надо было бежать. Если не убежишь, то неизбежно впадешь в маразматическую муниципальную гордыню — прибежище тех, кто застрял здесь на всю жизнь. Только теперь, вернувшись в Дарлингтон, я понял, что моя ненависть к этому городу была направлена не по адресу. Дарлингтон не лучше и не хуже любого другого места. Я ненавидел Дарлингтон лишь потому, что сам здесь родился. Я ненавидел не Дарлингтон, я ненавидел себя. От себя я пытался бежать, но не смог.

14 апреля 1972 года Бретуэйт взял в садовом сарае моток веревки и повесился на потолочной балке над первым лестничным пролетом у себя в доме. Заднюю дверь он оставил незапертой, и на следующий день его тело нашла безутешная Агнес Белл. Рукопись «Я сам и прочие незнакомцы» лежала на кухонном столе. Также Бретуэйт оставил короткую записку:

Если мое предприятие увенчалось успехом, считайте эту бумажку предсмертной запиской. АКБ.

Спустя десять дней Артура Коллинза Бретуэйта похоронили рядом с отцом и братьями на Восточном кладбище в Дарлингтоне. На похоронах присутствовали Эдвард Сирс, Агнес Белл и двое участников «пивной дартс-команды». Больше никто не пришел.

Послесловие ко второму изданию

После выхода в свет этой книги осенью 2021 года я получил большое количество корреспонденции с указанием на различные ошибки в описании Лондона 1960-х годов. Хотя в предисловии к первому изданию я сам обратил внимание на эту неточность, многие читатели сочли своим долгом уточнить, что паб, который посещает главная героиня, называется «Пембрукский замок», а не «Пембриджский замок». «Ни один житель Лондона того времени, — пишет один из читателей, — не поместил бы кафе «Лион» на Элджин-авеню». Ближайший «Лион» располагался на Сатерленд-авеню. Еще один джентльмен сомневается в правильности пешеходного маршрута от станции Чок-Фарм до Эйнджер-роуд. Президент исторического общества Примроуз-Хилл написал мне, что на вершине холма Примроуз никогда не было металлического ограждения, упомянутого в сцене встречи с мисс Кеплер. На Риджентс-парк-роуд никогда не было кафе под названием «У Глинн». Я терпеливо и вежливо

отвечал на все письма. Суть этих ответов сводилась к тому, что эти ошибки присутствовали в оригинальных тетрадях, и даже если бы я о них знал, то все равно не имел права вносить исправления. Возможно, автор тетрадей просто забыла некоторые подробности или нарочно их приукрасила.

Тем не менее количество писем наводило на определенные мысли, и я решил провести дополнительное исследование. Возможно, в своем желании поверить в подлинность тетрадей, я взял на душу грех предвзятости: видел то, что хотел видеть, и бессознательно искал подтверждения тому, во что хотел верить. Я пролистал горы подшивок «Женского журнала» в Библиотеке Митчелла в Глазго и нашел рассказ «Теплый прием» в майском выпуске за 1962 год. Рассказ за авторством (тут я язвительно улыбаюсь) Ребекки Смитт был совсем не так плох, как утверждала автор тетрадей, и я отметил явные совпадения в особенности стилистики обоих произведений. Очевидно, что это были работы одного и того же автора. Я не нашел никаких следов театрального агентства, так или иначе связанного с именем Браунли, но это еще ничего не доказывает. Поскольку автор тетрадей так упорно и тщатель-

но скрывала свою настоящую личность, было бы разумно предположить, что она изменила имена и других участников событий.

Однако, сколько бы я себя ни уговаривал, что важен дух, а не буква, и поэтому подлинность тетрадей не имеет большого значения, меня все же терзали сомнения. Я решил написать Мартину Грею. Возможно, он мог бы представить какую-то дополнительную информацию для подтверждения своей истории. В ответном письме мистер Грей сообщил, что он с интересом следит за тем, как публика принимает мой «Случай из практики», но никакой дополнительной информации у него нет. К моему удивлению, он предложил встретиться лично, когда я в следующий раз буду в Лондоне. Я как раз собирался в столицу на следующей неделе. Мистер Грей предложил встретиться в кафе «Гринберри» на Риджентс-парк-роуд у Примроуз-Хилл. Я спросил, как я его узнаю, но он велел не беспокоиться: он узнает меня сам.

Мы договорились встретиться в следующую среду в два часа дня. Тот апрельский день выдался ясным и солнечным. Я бывал в этом районе не раз, когда собирал материалы для книги, и даже однажды зашел в кафе, которое выбрал мистер

Грей, и еще тогда предположил, что оно могло быть прототипом чайной «У Глинн» из тетрадей. Я даже спросил у владелицы, в каком именно году здесь открылось кафе, но она затруднилась с ответом. На встречу с мистером Греем я пришел на десять минут раньше. Хозяйка, похоже, не помнила меня по предыдущему визиту. Я заказал кофе с молоком и стакан газированной воды и сел за столик у окна. Как я понимаю, это кафе преимущественно посещали обеспеченные молодые мамы с детишками, одетыми в модную дизайнерскую одежду. За столиком в дальнем углу сидела элегантная дама за семьдесят и пила чай, наливая его из чайника. В два часа мистер Грей не появился. Я не стал беспокоиться понапрасну (мало ли что могло задержать человека), но еще через четверть часа я начал волноваться. Возможно, я что-то напутал и встреча должна состояться в другом кафе, которых немало на этой улице? Однако не было смысла сейчас уходить и искать его по всем заведениям. По закону подлости он явится сразу, как только я отсюда сорвусь.

Я заказал еще кофе. Я не сводил взгляд с окна, присматриваясь к прохожим. Если, как предполагалось, Мартин Грей был тем самым клактонским кузеном, упомянутым в тетрадях, ему сейчас

должно быть лет семьдесят пять. Мимо прошел пожилой джентльмен. Я выскочил на улицу и окликнул его по имени, но он лишь растерянно посмотрел на меня и вежливо извинился, что он не тот, кто мне нужен. Я уныло потягивал кофе, жалея, что мистер Грей не предложил встретиться в «Пембрукском замке» на этой же улице. Я проверил почту в телефоне, но никаких писем не было. Я дал мистеру Грею свой номер мобильного телефона, но он не ответил взаимностью. Уже стало ясно, что он не придет. Я досадовал на свою глупость. Очевидно, это был розыгрыш. Мне, как сказала бы автор тетрадей, дали от ворот поворот. Я расплатился и приготовился уходить. Я уже надел куртку, и тут пожилая дама поднялась из-за столика и подошла ко мне. Она была в белой блузке, твидовой юбке длиной по колено и темном шерстяном пальто, с бирюзовым шелковым шарфом на шее. Седые волосы были собраны на затылке в свободный узел, так что несколько прядей обрамляли ее лицо. Очень светлые голубые глаза. Ясный, пристальный взгляд. Надо сказать, она выглядела очень эффектно. Может быть, из-за яркого бирюзового шарфа мне показалось, что я ее где-то видел раньше. На секунду возникло явственное ощущение дежавю.

— Вы, наверное, кого-то ждете, — сказала она. У нее был приятный мелодичный голос.

— Ждал, — сказал я. — Но мне кажется, он не придет.

— Да, он не придет, — кивнула она. — Надеюсь, вы на меня не обидитесь. Боюсь, я морочила вам голову. Я Ребекка Смитт.

Я рассмеялся:

— Ну, разумеется, это вы.

Мы на секунду застыли, глядя друг на друга. Я пытался осмыслить произошедшее. Она, как я понимаю, следила за моей реакцией.

Я хотел сесть обратно за столик и предложить ей присоединиться ко мне, но она наклонилась к моему уху и озорным шепотом сообщила, что мы идем в «Пембрукский замок». Я охотно согласился. Когда мы вышли на улицу, она взяла меня под руку. У нее был легкий шаг, удивительный для пожилой дамы. Она горделиво держала голову, как черепаха, тянущая шею к солнцу. Прохожие с восхищением поглядывали не нее, и мне было лестно, что меня видят в обществе такой интересной женщины. Похожей на постаревшую, но все еще элегантную актрису.

Благодарности

Большое спасибо:

Моему издателю и другу Саре Хант — за неустанную поддержку моих писательских начинаний, за веру в меня и заинтересованность в этой книге. Печататься в вашем издательстве — для меня радость и честь.

Моему литагенту Изабель Диксон — за моральную поддержку, хорошее настроение и полезные редакторские замечания.

Моему редактору Крейгу Хиллсли — за вдумчивость, проницательность и пристальное внимание к деталям. Да, даже к запятым.

Моему неизменному первому читателю, другу, спутнице в путешествиях Виктории Эванс. Твоя поддержка очень многое для меня значит.

Энджи Хармс и всем, кто читал мою рукопись целиком или по частям и говорил ободряющие слова, когда они были особенно необходимы. Когда автор слышит: «Пиши дальше», — это бесценно.

Отдельное спасибо Джин Каннион: без тебя не было бы этой книги. На самом деле она — для

тебя.

Также я очень признателен Международному дому писателей и переводчиков в Вентспилсе, в Латвии, где я провел замечательные и продуктивные три недели. Я искренне благодарен Дэвиду Холмсу за юридические консультации. Все неточности и ошибки в биографии Коллинза Бретуэйта — целиком на моей совести. Что касается прочих разделов, любые неточности, кроме уже упомянутых выше, остаются на совести автора тетрадей.